НИК. СУХАНОВ

ЗАПИСКИ
О
РЕВОЛЮЦИИ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН • ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА
1922

Типография Шпамера в Лейпциге

ΚΤΗΜΑ
ΕΣ
ΑΕΙ

ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

НИК. СУХАНОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН • ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА
1922

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ПЕРВАЯ КОАЛИЦИЯ ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИИ

6 мая — 8 июля

1917 г.

1. ВОКРУГ «КОАЛИЦИИ»

Революция достигла точки. — Поверхность и недра. — Коалиция и кадеты. — Коалиция и эсеры. — Коалиция и меньшевики. — Всероссийская конференция меньшевиков. — Оборонцы и интернационалисты. — Приезд левых лидеров меньшевизма. — Д. Б. Рязанов. — Ю. О. Мартов. — Горе от ума. — Раскол меньшевиков. — Коалиция и большевики. — Коалиция и Исполнительный Комитет. — Гнилые подпорки. — В Исполнительном Комитете. — Звездная палата. — Министерства и советские «отделы» — Министры-социалисты и их товарищи. — Исполнительный Комитет умирает. — Церетели — комиссар Временного Правительства при Совете. — Раскассирование редакции «Известий». — «Отчеты» министров-социалистов. — Крылатые слова и демагогия Троцкого. — Тревожные признаки.

В начале мая, в разгаре весны, когда над чудесной северной столицей совсем не сгущалась больше ночная тьма — дни революции стали гораздо короче. Это не были, конечно, ничтожные мгновенья «органической эпохи», летящие незаметно и бесследно. Это были попрежнему *дни революции*, из которых каждый неизгладимо врезывался в народную жизнь и в историю человечества. Но это уже стали дни, похожие в общем один на другой, дни без собственной у каждого «физиономии». Из них выделяются в памяти единицы. Остальные сливаются в сплошные неделимые полосы и совсем не кажутся

месяцами, ни даже неделями теперь, через три почти года.

Начиная с 6-го мая «дела и дни» семнадцатого года уже невозможно припомнить, как прежде; и не было бы никакого смысла в том, чтобы их с прежней подробностью описать. Новое содержание прибавлялось к истории революции теперь уже не днями, а разве только неделями — и то небольшими дозами, сравнительно с предыдущими эпохами, из коих первая была эпохой единого демократического фронта под знаком циммервальда, а вторая — эпоха образования единого буржуазного фронта под знаком борьбы с циммервальдом и с пролетарской революцией.

С появлением на свет божий коалиционного правительства события замедлили темп, утратили прежнюю головокружительность. Как ни стремительно продолжала нестись вперед история, — но революция стала топтаться на месте, увязая в болоте оппортунизма и «соглашательства», «государственности и порядка» — до самого «октября»...

Правда, события не стали менее бурны, менее красочны, менее интересны и изумительны в своем драматизме. Незабвенное лето семнадцатого года так же сверкало и переливалось всеми цветами радуги, как и ранняя весна. Но смысл этих событий, с момента рождения коалиции, уже довольно легко поддается краткому резюме. С мая по октябрь проходили огромные события, но революция не меняла фаз и составила единый период. Линия развития событий была в этот период прямa, как стрела. И две попытки переломить ее, свернуть ее в сторону — пробили бреши в этой прямой, завязали на ней узлы, но не изменили ее направ-

ление: революция немедленно и легко возвращалась в прежнее русло и после июльских дней, и после корниловщины.

Это, повидимому, означает, что к началу мая «общественные отношения» в революции вполне определились, кристаллизовались, приобрели своего рода устойчивость, дойдя до какой-то точки... Конечно, меньше всего тут может идти речь об устойчивости первого коалиционного кабинета. Нет, эта «комбинация» стала гнить уже на корню и не подавала ни малейших надежд хотя бы на самую относительную долговечность. Речь идет не об этом случайном, конкретном выражении фактического соотношения классов и сил. Речь идет о том, что к маю окончательно определились взаимоотношения общественных групп и классов в революции, определился курс каждого из них, и определилась политика революционной власти, воплощенной в «коалиции» имущих классов с мелкобуржуазной демократией. Блок крупной и мелкой буржуазии стал совершенно устойчивым, незыблемым и даже формальным — с начала мая до «октября»; а прямая линия политики единого буржуазного фронта была линией удушения пролетариата, циммервальда и всей революции. Она вела прямой дорогой к ликвидации.

Это была лицевая сторона «коалиционного» периода. Тыловая сторона была не чем иным, как огромным ростом недовольства народных масс, возглавляемых столичным пролетариатом. Измученные войной, голодом и разрухой, разочарованные политикой революционной власти, жаждущие результатов своих побед — народные массы сплачивались в борьбе за революцию и готовились к новым реши-

тельным битвам. Здесь, на тыловой стороне истории семнадцатого года, столь же рельефно обозначалась столь же прямая и неуклонная линия развития. Этой тыловой стороны не видели, не хотели видеть официальные сферы того времени, как не видел ее и обыватель... Однако, здравомыслящим людям она лезла в глаза. Кто видел политику «коалиции», тот видел и успехи Ленина. Ибо это были две стороны единой медали. И в среде подлинных революционеров, в лагере действительных работников пролетарской классовой политики — говорили уже с начала мая: «большевистский крот, ты славно роешь!»

* * *

Не стану, впрочем, рассуждать, не стану предвосхищать событий. Буду рассказывать, что помню и что вспоминаю при просмотре газет.

Чахлое дитя коалиции, появившееся на свет после трудных родов, — было встречено гораздо больше равнодушием, иронией и скепсисом, чем народным энтузиазмом. Даже те, кто ex officio бил в барабаны, не надеялись в душе на долгий век нового, кое-как сшитого кабинета. Но таких «восторженно приветствовавших» было не много. Это был, во-первых, несознательный обыватель, руководимый обывательско-бульварной прессой. А во-вторых, межеумочные, право-демократические группы, возглавляемые «Днем» или частью эсеровской печати. Все же более сознательные элементы — и справа, и слева — смотрели на дело настолько трезво, что не желали скрывать своих сомнений даже тогда, когда формально обещали новому правительству свое полное доверие и поддержку...

Как известно, вся российская плутократия вскоре после мартовского переворота консолидировалась в партии кадетов. Кадеты же, в бытность Милюкова министром, конечно, являлись вполне правительственной партией: дифференциация внутри кадетов выражалась тогда извне лишь в степени остервенения по отношению к демократии и к Совету.

После апрельских дней, с ликвидацией Милюкова, с образованием коалиционной власти — дело изменилось. Коалиция как-ни-как явилась внешним (хотя и слабым, хотя и искаженным) выражением того, как изменилось соотношение сил в революции, как далеко продвинулась революция вперед. Коалиция была создана против воли руководящих кадетских сфер. И кадеты стало быть уже по существу дела не могли быть попрежнему правительственной партией. Они были оставлены ходом вещей позади официальной власти. Они стали оппозицией справа. Они стали официально реакционной, контр-революционной силой. И дифференциация внутри кадетской партии ныне выражалась извне уже в степени оппозиции правительству.

Правда, в кабинете еще оставались члены партии — и не только кадетская белая ворона, левый Некрасов, но и совсем махровые Мануилов и Шингарев. Расстаться с официальной властью кадеты не могли и не хотели. Сейчас, когда взрыв кабинета был им уже не под силу, когда бойкот их был уже ничуть не опасен для революции, — положение обязывало кадетов цепко и до последней крайности держаться за власть. А оставив в кабинете своих членов, кадетские сферы не могли явно и открыто разорвать с новым правительством. Оппозиция их могла быть только скрытой, «дипломатично» зама-

скированной. Хотя бы и с недвусмысленно кислой миной, они **должны** были обещать новому кабинету свое доверие и поддержку. Но, по существу дела, тут не могло быть и речи о настоящей поддержке — по той причине, что не было доверия.

Новое правительство представляло ныне все основные течения и партии страны, — по крайней мере, течения и партии «государственные». С формальной стороны, трудно было представить себе более «общенациональное» правительство, выражающее интересы не «групп и классов», а всего государства. Казалось бы, «надклассовым», «общенародным» кадетам нечего было больше желать и надлежало преклониться перед новым правительством. Но, разумеется, это пустяки. «Надклассовой» властью, способной к «беспартийной» политике, кадеты, конечно, могли признать только власть своей партии, власть империалистской буржуазии. Коалиция как-ни-как была вынуждена проводить линию политики **левее** кадетов и во всяком случае об'явила таковую программу. И центральный комитет кадетской партии, в день рождения новой власти, выпустил манифест, в котором об'явил официально, хотя и не без фиговых листков, что новую власть кадеты будут поддерживать «**постольку-поскольку**».

Фактически же — уже одни овации по адресу выброшенного за борт Милюкова на вышеупомянутом «частном совещании Гос. Думы» не оставляли сомнений в крайней подозрительности и в априорной неприязни к новой власти кадетских сфер. Через несколько дней, на втором (в революцию) кадетском партийном с'езде, Милюков, не сомневаясь в настроении своей аудитории, смело излагал историю своего ухода из правительства: он знал, что здесь он

будет принят не в качестве неприглядной жертвы грандиозных событий и собственной несостоятельности, не в качестве обломка неизбежного крушения, а в качестве подлинного героя, потерпевшего от презренных и дерзких врагов родины, государственности и порядка. Резолюция же кадетского с'езда гласит, буквально, что партия поддержит коалицию, «преодолевая внутренние сомнения». Дело совершенно ясно.

В такие отношения к коалиции стала российская буржуазия. Здесь была непреложная логика событий 17-го года, и здесь был залог того, что впоследствии получило имя корниловщины.

* * *

Кадеты — это была крупная буржуазия с услужающими ей слоями либеральных профессий. Удельный вес этой партии был, конечно, очень велик. Именно с этими слоями вступила в коалицию революционная демократия. И отношение их к новой власти, конечно, было существенно и характерно.

Самой большой партией, однако, тогда были, как известно, эсеры. Это была мелкобуржуазная демократия — мужик, лавочник, кооператор, разночинец, «третий элемент», огромные массы неимущей интеллигенции, расшевелившихся обывателей, встрепенувшихся межеумков. Интеллигентные эсеровские группы, очень громко кричавшие «земля и воля», опирались в городах на толстый слой землеробов-солдат и даже рабочих, недостаточно выварившихся в фабричном котле. А в деревне монопольный эсеровский лозунг уже монополизировал все крестьянство...

Вообще в нашей мужицкой стране эта мужицкая партия заняла свое законное место и, казалось, уже заложила основы своего будущего господства. Выросши к началу коалиции подобно огромному снежному кому, она в это время стала последним криком моды и стала далеко переливаться за свои естественные границы, захватывая сферы, совершенно не свойственные ни «социалистам», ни «революционерам». В самую большую партию потянулись и иные темпераментные крупные буржуа, и иные экспансивные либеральные помещики; а за популярнейшим Керенским, новым военным министром, в эсерство стали переходить компактные массы военных людей, кадровых офицеров и... даже генералов. Из сих последних каждый, надо думать, без колебаний собственноручно пристрелил бы или отдал бы палачу любого встречного, в ком он заподозрел бы социалиста-революционера — два с небольшим месяца тому назад. Но — Боже мой! — чего не сделают с человеком «общественное мнение» и бескорыстная преданность долгу!

И вот эта — самая большая, самая могучая партия революции в лице своего большинства, всем своим весом, и на словах, и на деле оказывала новому правительству свое доверие и поддержку... Промежуточные интеллигентские слои, как мы знаем, с первых дней революции настаивали на коалиции. Теперь их мечты сбылись, и обыватель упивался своей «победой», межеумок утопал в благодушии. Коалицию они готовы были при том поддерживать не только за совесть, но и за страх перед «анархией»...

В партии эсеров, самой большой и самой могучей, образовалось тогда два центра — более правый и более левый. Одним был Керенский, другим Чернов.

Кроме того, далеко налево, на отлете, был крошечный центрик в лице большевиствующего Камкова. Но подобные ему элементы были еще попрежнему незаметны простому глазу среди безбрежного моря эсеровской обывательщины. Первые же два центра притягивали всю эту массу к новому министерству. Ибо и Керенский, и Чернов были министрами... Самая большая партия, законно собравшая под свои знамена большинство нашей мелкобуржуазной страны, отдавала всю себя на поддержку новой власти.

Казалось бы, коалиция стоит на прочнейшем фундаменте. Казалось бы, революция — хотя бы mutatis mutandis — нашла устойчивую власть, способную, как тогда выражались, «довести страну до Учр. Собрания», способную закрепить новый демократический строй, соответствующий социальной структуре мужицкой России. Казалось бы, эту власть, ставшую на столь широкий и прочный базис, не сдвинуть ни правым («безответственным») буржуазным сферам, чающим диктатуры капитала, ни левым («безответственным») интернационалистским группам, мечтающим о диктатуре пролетарского авангарда...

Увы! вожди эсеровских мелкобуржуазных масс оказались верными природе своей партии. Дряблые, политически безличные, застрявшие между могучими жерновами капиталистического общества — они растерялись среди головокружительных событий и не понимали их смысла. Став во главе господствующей партии, став во главе революции — они ни на ноту не усвоили необходимой программы своего собственного класса. Колеблемые бурей, скованные традициями и узами капиталистической дик-

татуры — они трусливо отказались от этой минимально-необходимой программы и отдали себя, с революцией и с народными массами в придачу, на милость буржуазии. Но тогда-то они и растеряли народные массы, которые бросили и втоптали в грязь своих вождей, ибо заведомо не могли бросить своей минимальной программы: мира, земли и хлеба. Когда массы увидели воочию, что вожди не ведут вперед, что вожди не способны, что вожди изменяют, — тогда мелкобуржуазная государственность масс превратилась в мелкобуржуазную стихию. И, сломя голову, те же массы бросились в открытые об'ятия большевиков.

Партия эсеров была тогда самой большой и могучей. Но это был колосс с глиняной головой. И не ему было стать действительно прочным базисом для новой власти. Партия эсеров отдала коалиции всю себя, отдала все, что имела. Большего не могла бы дать даже самая красивая девушка Франции. Но отдать все — не значит дать достаточно. И, в конце концов, не помогла коалиции миллионная селянско-обывательская паства Керенского и Чернова.

* * *

Совсем не так просто и ясно решался вопрос об отношении к коалиции в партии меньшевиков... Правда, меньшевики дали новому кабинету также двух министров — и при том одного очень крупного, а другого очень бойкого. Но здесь, конечно, не могло быть ни того простодушия, ни того ликования, ни того простецкого доверия и поддержки, какими встретили коалицию мелкобуржуазные на-

родники. Я уже рассказывал о том, как во время мучительного появления на свет нового правительства, за завтраком в ресторане, а затем и с трибуны — Скобелёв тщетно апеллировал к своему горячему сердцу и лишь под неотразимым давлением своего холодного рассудка был вынужден принять министерский портфель. Церетели, можно сказать, уже прямо уступил силе и, став министром почт и телеграфа, почитал себя жертвой неожиданного стечения обстоятельств, против его воли сложившихся. А председатель Совета, меньшевик Чхеидзе, как мы знаем, упирался до последней крайности и смирился только перед лицом уже совершившегося факта.

Лидеры тогдашних меньшевиков, связанные международно-социалистическими традициями, были в общем не прочь уклониться от всего этого сомнительного предприятия. И, пожалуй, главной причиной этого были сомнения в том, как будут приняты социалдемократические портфели меньшевистскими партийными массами. Сомнения были основательны. Ибо меньшевистская часть правящего советского блока имела как-ни-как свою особую, отличную от эсеров физиономию и свою особую судьбу.

Правда, мы знаем, что с началом революции в партию меньшевиков, как и эсеров, нахлынула масса обывательского элемента, бывших людей, случайной «публики», не имеющей ничего общего с пролетарским движением. Но, не в пример эсерам, меньшевики все же были до известной степени забронированы своей репутацией классовой пролетарской партии и своей связью с интернационалом. Наплыв явно буржуазного и реакционного элемента в эту партию был все же значительно меньше. А

ее пролетарское ядро, дававшее до революции огромный перевес циммервальдскому течению в меньшевизме, — было несравненно больше. И мы знаем, что после революции циммервальд продолжал господствовать в меньшевистской партии до самых апрельских дней. До сих пор, уже при коалиции, обе столичные организации (и в Петербурге, и в Москве) были левыми, интернационалистскими в подавляющем своем большинстве. И только провинциальные митлейферы, а особенно «марксисты»-прапорщики равнялись по Церетели и успели затащить многие организации в трясину «патриотизма» и «соглашательства»... Я упоминал, что циммервальдская вначале «Рабочая Газета» с половины апреля стала хромать на обе ноги и все больше вдаваться в оппортунизм. Ко времени коалиции меньшевистский центральный орган стал совсем беспринципным и «болотным». Но окончательной победы мещанина над социалдемократом констатировать было еще нельзя.

Отношение меньшевизма к коалиционному правительству и к факту принятия портфелей членами партии — было еще не ясно и внушало опасения самим меньшевистским министрам.... Решающее слово должна была сказать всероссийская конференция меньшевиков, которая открылась в Петербурге 9-го мая, в здании коммерческого училища, где-то около Фонтанки, у Чернышева моста.

Конференция имела вид очень внушительный. На ней присутствовало 88 делегатов с решающим голосом и 35 с совещательным, причем, как всегда, главными действующими лицами были именно «совещательные голоса». Делегаты представляли 45 организаций, раскинувшихся по всей стране. В

организациях же к началу мая числилось до 45 тыс. членов. Разумеется, при таких условиях меньшевистская партия была тогда огромной силой. Но ее львиная доля была приобретена, конечно, за два с небольшим месяца революции — главным образом, за счет наплыва случайного и во всяком случае неиспытанного элемента.

Впрочем, и не все представленные организации были строго меньшевистскими. Целая половина их, идейно примыкая к тогдашним меньшевикам, считала себя «просто социалдемократической» или «об'единенной». Иллюзии об'единения с большевиками еще не были изжиты — даже после вышеописанной большевистской конференции, где Ленин одержал блистательную победу над своей партией, дотоле не признававшей его анархо-синдикализма. Меньшевистских (и по настроениям, и по историческому происхождению) на конференции было только 27 организаций из 54. Но эта половина оказалась не лучше и не хуже другой: «об'единительные» иллюзии ничуть не изменили дела.

Конференция начала с места в карьер, и в первом же утреннем заседании, 9 мая, покончила с гвоздем всей сессии, с отношением к коалиции и к вступлению в министерство членов партии. Докладчиком выступил известный Горев (брат Либера), в общем довольно левый человек в пределах будущего правого оппортунистского большинства партии, редактор «Рабочей Газеты», уже потерявшей под собой интернационалистскую почву. Доклад был неустойчивым и носил печать растерянности. Не этот доклад решил дело. Внимание конференции монополизировали сенсационные выступления самих популярных министров-меньшевиков. Им на долю достались не

одни овации. По ним было выпущено не мало острых стрел, попавших в больные места, — больше всего со стороны петербургской делегации, возглавляемой Ю. Лариным. Прения были горячие, удары на обе стороны сыпались увесистые. Но результаты были убийственные.

Резолюция, одобряющая вступление меньшевиков в коалицию и сулящая новому кабинету полное доверие и поддержку, была принята большинством в 44 голоса против 11 при 13 воздержавшихся. В резолюции между прочим говорится, что «отказ революционной социалдемократии от активного участия во Вр. Правительстве на основе решительной демократической платформы в области внутренней и внешней политики грозил бы распадом революции». Вступление же в правительство меньшевиков «должно явиться крупным фактором в деле ликвидации войны в интересах международной демократии». А посему конференция «призывает рабочий класс и партийные организации к планомерной и активной работе над укреплением власти нового революционного правительства»...

Все точки над и были, стало быть, поставлены. Меньшевистско - эсеровско - либеральный блок был окончательно оформлен. Меньшевики, подобно эсерам, окончательно и официально стали правительственной партией... И при том, несмотря на страстную атаку меньшинства, конференция справилась с этой основной своей задачей очень легко и быстро. Окончательно и официально — гегемония оппортунизма и капитуляторства в меньшевистской партии была утверждена в каких-нибудь 2—3 часа.

И еще в утреннем заседании, того же 9-го мая, Дан успел сделать следующий центральный доклад

о войне и, после прений, провести свою резолюцию. Понятно, ничего нового, незнакомого нам по речам доблестного Церетели, эта резолюция уже не дала... «Пока войне не положен конец усилиями международного пролетариата, вся революционная демократия обязана всемерно содействовать укреплению боевой мощи армии»... а «содействуя защите страны от военного разгрома, необходимо развернуть самую широкую и энергичную борьбу за всеобщий мир». Как же превратить в дело эти хорошие слова? Верховный орган меньшевиков отвечал устами Дана: «Необходимо обратиться к пролетариату всех воюющих стран с призывом оказать энергичное давление на свои правительства и парламенты с целью побудить их присоединиться к программе российского Вр. Правительства и тем сделать возможным как пересмотр союзных договоров, так и открытие мирных переговоров»... Комментировать все эти негодные «отписки» (после всего сказанного на этот счет в предыдущей книге) было бы слишком скучно.

* * *

К вечернему заседанию в тот же день я также отправился на меньшевистскую конференцию. В то время я попрежнему не состоял с этой партией ни в каких формальных отношениях. Правда, присутствовать хотя бы в качестве публики на заседаниях, где решалась судьба меньшевизма в революции, было далеко не безынтересно. Но все же не этот интерес повлек меня на конференцию. Я пошел за тем, чтобы увидеть Мартова, с которым не виделся ровно три года.

Мартов приехал в этот же день, часа в два. С ним приехала довольно большая группа лиц, среди которых были выдающиеся вожди нашего движения и будущие видные фигуры революции: Аксельрод, Луначарский, Рязанов, Чудновский, Лапинский, Астров, Семковский, Феликс Кон. Приехал с ними еще и знаменитый циммервальдец, швейцарец Роберт Гримм, также получивший своеобразную известность в нашей революции...

Вслед за Лениным, все они, спустя более месяца, приехали через Германию, в «запломбированном вагоне». С начала революции прошло уже больше двух месяцев, но путь в Россию «нежелательным эмигрантам» был все еще закрыт. Наша революционная власть до сих пор не умела и не хотела добиться свободного пропуска русских интернационалистов через союзные страны. И попрежнему, как при проезде Ленина, «патриотическая» пресса пыталась завести знакомую песню насчет немецких милостей врагам отечества. На этот раз, правда, песня не имела того успеха: люди как-ни-как были менее одиозные, чем Ленин, а мотив был изрядно истрепан. Но что можно было сделать, то, конечно, сделали честные перья...

В наших, в советских кругах, «негодование» по поводу запломбированного проезда успело почти совсем рассосаться. Во-первых, Аксельрод и Мартов это — не Ленин и Зиновьев; во-вторых, прошел вот уже еще месяц, а проехать естественным путем все-таки нельзя. И советские мамелюки стали даже допускать, что дело тут не без греха со стороны революционного правительства. Но все же я помню не мало гримас и не мало разговоров об «ошибке», допущенной «уважаемыми товарищами»...

Вождям меньшевизма, как и лидерам других партий, на Финляндском вокзале была устроена торжественная встреча. Но несмотря на все мое желание, по случаю дневных часов приезда мне на этот раз не удалось быть на вокзале. По той же — надо думать — причине встреча, как говорят, вышла менее многолюдной и импозантной, чем у эсеров, а особенно у большевиков. Мне было немного досадно за Мартова — не только по случаю моей стародавней личной к нему слабости, но и по случаю несомненного, об'ективного удельного веса этого деятеля на ряду с иными триумфаторами... К тому же, в ожидании его приезда, я уже несколько дней злобно и ревниво косился на советских министериабельных заправил меньшевизма, которые без особого восторга и нетерпения, скорее с тревогой и недоброжелательством ждали появления признанного идейного вождя меньшевиков на арене революции.

Было известно и не раз засвидетельствовано в течение последних недель, что Мартов занимает попрежнему последовательную интернационалистскую позицию, резко враждебную советскому правящему блоку. И было несомненно, что партийный лидер станет в резкую оппозицию к участникам коалиции, к проповедникам «полного доверия и поддержки»... Поистине, этот гость был не ко времени.

Сейчас, когда на конференции решается основной вопрос и когда соотношение сил еще не ясно — Бог весть, куда может повернуть партийный корабль влияние этого старого, испытанного, авторитетнейшего и популярнейшего кормчего!... Во всяком случае министерский вопрос оказался настолько экстренным, до такой степени неотложным, что

подождать с его обсуждением и с решающим вотумом, ровным счетом три часа — оказалось совершенно невозможным. Основатель российской социалдемократии Аксельрод и ее вождь Мартов были поставлены конференцией перед совершившимся фактом, — так же, как сама конференция была поставлена перед совершившимся фактом «коалиции». Как не вспомнить латинскую юридическую грамоту: beati possidentes!...

Я опоздал к вечернему заседанию и явился уже во время перерыва. Обширный зал и его кулуары были наполнены густой толпой. Внешний вид конференции был весьма внушительным, — не то стало у меньшевиков через два года... Такого гостя, как я, легко могли и не пустить в залу заседания. Однако, хоть и без большого радушия, все же пустили. Но около Мартова была сплошная стена; «повидаться» явно не удавалось, приходилось ограничиться рукопожатием и несколькими словами — в надежде на возобновление прежних дружественных отношений.

Оказалось, что Мартов уже выступал и уже отчитал советское, а ныне и партийное большинство — и за соглашательство, и за коалицию. Как и в своих телеграммах из-за границы, он решительно отстаивал непримиримую пролетарскую позицию, позицию классовой борьбы, а не классового соглашения, позицию действительной борьбы за мир, а не сахарно-лицемерного лепета о мире... Но, во-первых, большинство конференции и притом огромное, вполне устойчивое — уже вполне определилось; во-вторых, Мартову, поставленному перед совершившимся фактом, пришлось говорить о принятых уже резолюциях, по вопросам уже обсужденным и поконченным.

Несмотря на страстную поддержку меньшинства, изолированность Мартова от компактной группы меньшевистских вождей, его бывших единомышленников, друзей, учеников, а вместе с тем разрыв Мартова с партийным большинством, — определились тут же с полной рельефностью. Традиции мешали сторонникам Дана и Церетели взять Мартова прямо в штыки. Это еще предстояло в недалеком будущем. Но преобладающее враждебное настроение уже вполне кристаллизовалось. И внешняя холодность отношений уже была очевидна при первой же встрече...

Мартов, родоначальник меньшевизма, его несравненный, почти монопольный идеолог, его самый авторитетный и популярный вождь — уже не был ныне лидером своей партии. Мещанские идейки и их выразители увели от Мартова меньшевистскую партию — увели далеко, не больше, не меньше, как в стан классовых врагов, в лагерь буржуазии. С Мартовым осталась лишь небольшая группка. Это была катастрофа.

Она не поколебала Мартова. На своей позиции, с небольшой группкой он оставался без старой меньшевистской партии до «октября». С «октября» началось обратное завоевание Мартовым меньшевистской партии. Через год после «октября» Мартов вернулся в свое обычное состояние и снова стал общепризнанным вождем меньшевизма. Но было поздно...

На конференции было уже скучно. Шли приветствия (с которых обычно начинаются с'езды), выступали приехавшие иностранцы, затем начались какие-то мелкие препирательства. Я сетовал на Ларина, затащившего меня в первые ряды и усадившего среди левых петербургских делегатов.

Выбравшись в шумные кулуары, я получил гораздо больше удовольствия, познакомившись с одной из интереснейших фигур революции, с одним из самых «располагающих» среди известных мне людей, Д. Б. Рязановым. Это будущий большевик, но очень сомнительный большевик, недоброкачественный, маргариновый — «хуже иного меньшевика». Впоследствии он вошел в большевистскую партию, потом вышел из нее, потом опять вошел; а тогда, по приезде из-за границы, он числился вне партий и фракций. И будучи большевиком старого типа по духу, явился первым делом на меньшевистскую конференцию.

С Рязановым, заслуженнейшим участником нашего революционного движения и с «самым ученым человеком» в большевистской партии (аттестат Луначарского), мы встретимся в дальнейшем много раз, и сейчас я не буду нарушать естественный ход изложения более близким знакомством с ним... Я, только что покинув гимназическую скамью, в 1903 году, встречал на многих собраниях в Париже эту почтенную, профессорского вида фигуру, ничуть не изменившуюся с тех пор; впоследствии мне приходилось его почитывать, а он также хорошо знал мою журналистскую деятельность и особенно мои «пораженческие» брошюры военного времени. Мы с удовольствием познакомились лично и не в пример тому, как обстоит дело со многими другими большевиками, не прерывали этого знакомства до сих пор.

Заседание кончилось. Я поехал в автомобиле с Мартовым. Он мягко и по дружески, но совершенно недвусмысленно атаковал меня слева, упрекая за поощрение коалиции в «Новой Жизни». Решитель-

нее, чем наша газета, Мартов был склонен ставить и вопрос о борьбе за мир, усматривая оборонческие ноты в готовности поддержать боеспособность армии. Я защищался и утверждал, что Мартов признает нашу правоту на русской почве. Я звал его немедленно в советские сферы. Но Мартов не сразу появился в Исп. Комитете.

* * *

Мартов — это большая тема. Я не буду пытаться основательно разработать ее, имея в перспективе постоянные встречи с Мартовым, постоянное его участие в моем рассказе в течение всей революции: мы работали с ним бок о бок и до и после октября. В моем рассказе, на деле — мы увидим все шуйцы и все десницы Мартова, которые скажут сами за себя. Но все же очень соблазнительно сейчас, предварительно — наметить основные черты, установить, так сказать, общий тип этого выдающегося деятеля не только нашего, но европейского рабочего движения. Сделать это мне тем более соблазнительно, что Мартова сравнительно мало знают, сравнительно мало интересовались им в революции. Он не играл, волею судеб, выдающейся роли в событиях последних лет, а между тем он был и остается звездой первой величины, одной из немногих единиц, именами которых характеризуется наша эпоха.

Впервые я увидел Мартова в том же Париже, в том же 1903. Ему тогда было 29 лет. Он состоял тогда, вместе с Лениным и Плехановым, в редакции «Искры» и читал пропагандистские рефераты в заграничных колониях, выдерживая жестокие бои с

входившими в силу эсерами. Он был уже знаменит среди колониальной публики, жил где-то на Олимпе, среди подобных ему светил, и, при встрече с его худощавой, ковыляющей фигурой, люди из русской колонии толкали друг друга локтями...

Не будучи в те времена ни в какой мере им распропагандированным, я все же хорошо помню то огромное впечатление, какое я испытывал от его эрудиции, от силы его мысли и диалектики. Я был, правда, совсем не оперившимся птенцом, но я чувствовал, что выступления Мартова заливают меня с головой новыми идеями; и, не сочувствуя ему, я видел, что он выходит победителем в схватках с народническими генералами. Подвизавшийся тогда наряду с Мартовым Троцкий, несмотря на всю свою эффектность, не производил и десятой доли того впечатления и казался не более, как подголоском.

В те же времена Мартов обнаружил и свои о р а т о р с к и е свойства. Эти свойства Мартова довольно оригинальны. У него нет ни малейших в н е ш н и х ораторских данных. Совершенно не импозантная, угловатая, тщедушная фигурка, стоящая по возможности в полоборота к аудитории, с несвободными, однообразными жестами; невнятная дикция, слабый и глуховатый голос, охрипший в семнадцатом году и остающийся таковым доселе; не гладкая вообще, отрывающая слова, пересыпанная паузами речь; наконец — абстрактное изложение, утомляющее массовую аудиторию. Таким Мартова слышали и такое сохранили от него впечатление десятки тысяч людей. Но все это совсем не мешает Мартову быть замечательным оратором. Ибо о свойствах человека надлежит судить не по тому, что он обычно делает, а по тому, что он у м е е т сделать. А

Мартов-оратор, конечно, умеет заставить забыть о всех своих ораторских минусах. В иные моменты он поднимается на чрезвычайную, дух захватывающую высоту. Это — или критические моменты или моменты особого возбуждения среди живо реагирующей, прерывающей, активно «участвующей в обсуждении» толпы. Тогда речь Мартова превращается в блестящий фейерверк образов, эпитетов, сравнений; его удары приобретают огромную силу, его сарказмы — чрезвычайную остроту, его импровизации — свойства великолепно разработанного художественного произведения... В своих мемуарах Луначарский признал и отметил, что Мартов — несравненный мастер «заключительного слова». Это может подтвердить всякий, хорошо знающий Мартова-оратора. Я помню еще в Париже ту изумительную находчивость, какую он проявлял во время заключительного слова, — когда не в пример другим привычным и выдающимся ораторам, не выносящим вторжения в свою речь, он заявлял, обращаясь к аудитории: «Я позволяю прерывать себя»...

В те времена я не был знаком с Мартовым. Потом, в 1904—5 г. г., сидя в московской «Таганке» и основательно штудируя «Искру», я познал и другие свойства Мартова — как замечательного литератора, публициста, а когда нужно и фельетониста. Наша заграничная, нелегальная, социалдемократическая пресса, числившаяся «за бортом» русской публицистической литературы, выдвинула целую группу первоклассных писателей — Плеханова, Мартова, Троцкого, — пожалуй, Ленина. Все они, конечно, должны стать в первый ряд в истории нашей публицистики. Но едва ли не Мартову надо предоставить среди них пальму первенства. Ибо

никто, как он, так не владеет пером в полном смысле этого слова, никто не является таким полным его господином, не распоряжается им так, по своему полнейшему произволу, — умея, когда нужно, придать ему и блестящее остроумие Плеханова, и ударную силу Ленина, и изящную законченность Троцкого. Мартов — первоклассный литератор, божьею милостью...

И не мудрено, что в начале 1914 года, организуя заново «внефракционный» «Современник», я мечтал о Мартове в качестве постоянного публициста журнала. Я мечтал о нем, как о несбыточном идеале...

Мартов жил тогда в Петербурге и вел, вместе с Даном, ликвидаторскую «Рабочую Газету». Я был чужд ликвидаторству и меньше всего был склонен подчинять журнал особому влиянию этой фракции. Стало быть, весь Мартов не подходил для «Современника»: журнал мог воспользоваться только частью его. И уже потому мечты о Мартове казались несбыточными. Да и вообще залучить первосортных представителей фракций, обычно имеющих собственные органы, для постоянного участия в межфракционном журнале с неопределенной платформой, с неопределенным составом сотрудников, с мало известной редакцией — было делом очень трудным. Многие громкие имена, правда, были обещаны; в том числе очень любезное и сочувственное письмо прислал из-за границы Плеханов. Но дальше дело шло туго.

Однако, в один прекрасный день именитый марксистский аграрник П. П. Маслов привел Мартова в редакцию «Современника» — уже после того, как вопрос об его сотрудничестве был обсужден у ликвидаторов. Мы покончили в два слова, несмотря на

то, что не только не обошли молчанием, но до конца разобрали все трудности, с какими было связано постоянное сотрудничество Мартова и для редакции и для него самого... Мартов сам предложил приемлемую форму, какую я с своей стороны не рискнул бы предложить ему. И, действительно, он стал постоянным работником журнала, а вместе с тем душой нашего кружка — в течение ближайших месяцев, до моей высылки из Петербурга и до своего от'езда за границу перед самой войной.

С того времени, когда мы еще далеко не были единомышленниками, начались наши дружественные отношения. А с первым громом войны, с новыми группировками в Интернационале, мы стали единомышленниками... Во время войны я прилагал все усилия к тому, чтобы каждая доходившая до меня строчка, написанная Мартовым за границей, увидела свет в России — на страницах сначала «Современника», потом «Летописи». Но в подавляющем большинстве случаев результат был один: статьи Мартова целиком выбрасывались цензурой, а оба журнала все более компрометировались этими попытками в глазах начальства.

Основное свойство фигуры Мартова очень рельефно выступает и в его писаниях. Но в писаниях оно, пожалуй, не кажется ни основным, ни из ряда вон выходящим. При личных же встречах с Мартовым оно немедленно бросается в глаза — будь то на общественно-деловой или же на приватной почве. Это свойство — и н т е л л е к т необычайной силы и развития... Мне посчастливилось на моем веку встречать не мало замечательных современников — представителей науки, искусства, политики, с мировыми именами. Но никаких сомнений у меня ни на минуту

возникнуть не может: Мартов — самый умный человек, какого я когда-либо знал.

Было выражение про наших древних колдунов: «он под тобой на три аршина в земле видит». Это вспоминается постоянно применительно к Мартову... Будучи несравненным политическим аналитиком, он обладает способностью понимать, предвосхищать, оценивать психологию, ход мыслей, источники аргументации собеседника. И, конечно, не только собеседника вообще, но и противника, в частности. Беседа с Мартовым, поэтому, всегда имеет особый характер, как ни с кем другим на свете, и всегда доставляет своеобразное наслаждение — как бы ни была иной раз неприятна ее тема, как бы остры иногда ни были разногласия и ядовита взаимная полемика. В беседе с Мартовым не может явиться мысли, что не будешь понят; здесь, как никогда, чувствуешь себя свободным от всяких сомнений по этой части. Здесь можно не думать о правильности, об элементарной точности выражений; здесь достаточно самого грубого намека, жеста, чтобы вызвать ответ, бьющий в самый центр вопроса и предупреждающий дальнейшие аргументы по его периферии.

Мартов — несравненный политический мыслитель, замечательный аналитик, обязанный этим своему исключительному интеллекту. Но этот интеллект так доминирует над всем обликом Мартова, что начинает напрашиваться неожиданное заключение: этому интеллекту Мартов обязан не только своей десницей, но и шуйцей, не только своим наличным, благоприобретенным, отточенным, высоко культурным мыслительным аппаратом, но и своей слабостью в действии...

Конечно, в этой неприспособленности, непригод-

ности Мартова для практических, боевых задач нельзя винить один его всепоглощающий интеллект. Много надо отнести за счет других, общих свойств его натуры. Но все же, говоря о Мартове, кажется очень соблазнительным и было бы вполне правильным основательно развить тему: «горе от ума»... Во всяком случае к Мартову это может относиться в гораздо большей степени, чем к герою Грибоедова...

Прежде всего, все понять — все простить. И Мартов, который всегда исчерпывающе понимает противника, в значительной степени этим самым пониманием обречен на ту мягкость, на ту уступчивость к своим идейным противникам, какая ему свойственна. В значительной степени именно «широта взглядов», именно «антишовинизм» Мартова связывают ему руки в идейной борьбе и обрекают его на роль вносителя коррективов, на роль присяжного оппозиционера — то слева, то справа...

Затем, продолжая это, надлежит сказать, что с тех пор, как родился на свет знаменитейший из аналитиков, датский принц Гамлет, анализ, как преимущественное свойство натуры, вообще не разлучен с гамлетизмом. То-есть доминирующий надо всем интеллект является источником размягчения воли, нерешительности в действиях... У Мартова, который есть по преимуществу мыслительный аппарат, слишком сильны задерживающие центры, чтобы позволять ему свободные, «беззаветные» боевые действия, революционные подвиги, требующие уже не разума, а только воли.

— Я знал, — говорил мне Троцкий много спустя, уже незадолго до писания этих строк, — я знал, что Мартова погубит революция!

Троцкий выражается слишком категорически и слишком односторонне. Слова его, собственно, означают: в революции Мартов не мог занять места, соответствующего его удельному весу, по причинам, лежащим в самом Мартове. Это не так. Причины, лежащие вне Мартова, имели тут гораздо большее значение. Но верно то, что сфера Мартова это — теория, а не практика. И когда наступила эпоха сказочных подвигов, величайших в истории дел, то первоклассная величина подпольного периода, равновеликая Ленину и Троцкому, померкла даже при свете сравнительно малых светил, как Дан и Церетели. Причин тому несколько, — мы увидим это в дальнейшем. Но опять-таки среди них выделяется та же парадоксальная причина: Мартов слишком умен, чтобы стать первоклассным революционером.

Его непомерный, все поглотивший мыслительно-анализирующий аппарат — не помогает, а иногда вредит в огне битвы, среди невиданной игры стихий. И дальше мы увидим даже в моем изложении — в изложении его единомышленника, соратника, «подручного», — на какие «преступные деяния» (или на какое преступное бездействие) обрекали не раз Мартова его гамлетизм, его тончайшая кружевная аналитическая работа — в моменты, требующие действия и натиска. Эти моменты — критические моменты! — когда Мартов оказывался «в нетех», останутся для меня навсегда горчайшими воспоминаниями революции. Последствия же его ошибок в эти критические моменты были огромны — если не для всей революции, то во всяком случае для его партии и для него самого.

Мартов для меня, однако, не только деятель революции. Это, помимо всего сказанного, просто

обаятельнейшая личность, близостью к которой — правильно говорит Луначарский — не дорожить нельзя. И трудно сказать, чему больше обязан Мартов своим влиянием, своей огромною популярностью среди сотен и тысяч людей, которым пришлось иметь с ним дело, — своему общественно-политическому облику или своим личным свойствам... Две эти стороны, не в пример многим другим деятелям, у Мартова не сливаются воедино.

Политик прежде всего и больше всего это — продукт настолько высокой культуры, что анализом его психологии остались бы вполне довольны самые придирчивые, самые наивные поклонники «гармонической личности». И они, не в пример ужасно умным и серьезным носителям «пролетарского духа», вероятно оценили бы по достоинству не только его свойства, но и его слабости. Однако, распространяться сейчас на подобную тему я решительно не имею оснований и умолкаю на полуслове.

* * *

Меньшевистская конференция дала победу мелкобуржуазному, соглашательскому советскому большинству и превратила меньшевиков в правительственную партию. Но разногласия внутри партии были слишком велики: интернационалистское меньшинство конференции, во главе с Мартовым, стояло, можно сказать, по другую сторону баррикады — бок о бок с партией Ленина. О подчинении меньшинства большинству не могло быть и речи. В партии произошел раскол.

Он был, правда, больше фактическим, чем фор-

мальным и он проявился, главным образом, в крупных центрах, оставаясь мало известным и неясным многочисленным прозелитам глухой провинции. Но тем не менее раскол стал фактом. Уже при окончании работ конференции 17 ее членов с решающими голосами огласили такого рода заявление:

«Ряд решений настоящей конференции меньшевистских и об'единенных организаций продолжает политическую линию, проводившуюся меньшевистским центром втечение последних двух месяцев, и во многих существенных пунктах отступает от принципов классовой борьбы и интернационализма. Торжество этой линии грозит парализовать российскую и международную социалдемократию в борьбе за мир, свести на нет политическую самостоятельность пролетариата и уронить в глазах Интернационала влияние и престиж социалдемократии. Таким образом, работы конференции не создали условий для нормальной организационной жизни меньшевизма, ибо за утвержденную конференцией политическую линию интернационалистская часть российских меньшевиков не может нести ответственность и не будет связывать себе рук в своей деятельности теми из решений конференции, которые будут сталкиваться с жизненными интересами пролетариата».

Центральный комитет, разумеется, был избран соглашательский. Однако, его решения ровно ни к чему не обязывали не только партийное меньшинство, но и самих его (двух-трех) интернационалистских членов. Влиятельнейшая и крупнейшая петербургская организация была целиком в руках интернационалистского меньшинства и резко враждовала с центральным комитетом. Оборонческое меньшинство в столице, лойяльное центральному комитету, было враждебно петербургскому комитету и не признавало его. В советской фракции интернационалисты были в меньшинстве и составили совершенно независимую группу. Эта группа всегда

голосовала с крайней левой против Дана и Церетели, предводительствовавших большинством; она вносила свои самостоятельные резолюции — иногда об'единенные с большевиками. И вся линия советской борьбы — борьбы об'единенной крупной и мелкой буржуазии с пролетариатом — проходила в то время именно между меньшевистским большинством и меньшевиками-интернационалистами.

Для окончательного, формального раскола не доставало только выхода интернационалистов из центрального комитета и образования всероссийского интернационалистского центра. В петербургской организации в течение всего лета шли бесконечные прения об окончательном расколе. Но боязнь провинции затягивала дело в среде меньшинства. Кроме того, меньшинство было, вообще говоря, в довольно «выигрышном» положении. Оно теряло только от полемических упреков в том, что находится в формальной связи с Церетели. Но оно, сохраняя возможность борьбы «внутри партии», вместе с тем действительно пользовалось полнейшей свободой действий и не подчинялось никаким решениям большинства. Напр., сплошь и рядом в советской фракции интернационалисты боролись за текст резолюции и вносили в него поправки, причем иногда основательно «портили» оборонческий текст, а потом вносили в пленум свою собственную резолюцию... Положение, конечно, было совершенно нелепое и ложное, но фактически невыносимо оно было именно для большинства. Там тоже шли перманентные прения об исключении интернационалистов, но все не исключали.

Вся эта канитель нестерпимо надоела и левым, и правым. Более решительные интернационалисты

вели энергичную агитацию за раскол. С приездом Мартова, после конференции, я лично был убежден, что окончательный раскол есть дело самого близкого будущего. Однако, Мартов, поселившийся у своей сестры, у жены Дана, хотя ни на йоту не уступал по существу интернационалистских позиций, но был против раскола. В мягкой и осторожной форме, под флагом «преждевременности», он отстаивал существующий противоестественный статус. А Дан говаривал в те времена:

— День и ночь работаю на оборону. Каждую ночь, до четырех часов утра с Мартовым разговариваю...

Через несколько дней после конференции, в предвидении окончательного раскола меньшевиков, я, наконец, покончил с моим уже давно тяготившим меня положением «дикого» и «записался» в петербургскую организацию меньшевиков-интернационалистов. Моим крестным, «рекомендовавшим» меня членом партии был, конечно, Мартов.

* * *

Итак, кадеты, эсеры, официальные меньшевики — одни за страх, другие за совесть, одни с искренним пафосом, другие с кисло-пренебрежительной улыбкой — принесли к колыбели коалиции свое «доверие и поддержку».

Меньшевики-интернационалисты, при особо сильном желании подчеркнуть всенародную преданность новому правительству, могли быть сброшены со счетов, в качестве простого партийного меньшинства. В семье ведь не без урода...

Но оставались, к несчастью, еще большевики. Это был, впрочем, также, во-первых, заведомый урод, а — во-вторых — урод, стоящий вне семьи, вне «общества», о котором неприлично и не стоит говорить. Так утешалась в те времена верная коалиции пресса, думая, что она отмахивается от шайки злоумышленников, а не от непреложного хода истории...

Как относились большевики к новому правительству, это само собой понятно. Их «Правда», как и вся их партия, не уделяла большого внимания коалиции. Когда же приходилось касаться образования и действий новой власти, то большевистский центральный орган неизменно развивал одну тему: — ничего не случилось, все осталось по старому. Только советская «контактная комиссия» отныне перенесена для постоянного пребывания в Мариинский дворец. Власть осталась, как была, буржуазной и держится попрежнему глупостью соглашателей.

В «наказе», составляемом для выборов делегатов в Совет, большевистские вожди так формулировали свое отношение к власти (7-го мая ст. ст.): «вся власть в стране должна принадлежать только советам рабочих, солдатских и пр. (?) депутатов, к которым надо прибавить советы (особые? Н. С.) железнодорожников и других служащих. Соглашение с капиталистами, оставление у власти господ капиталистов — затягивает войну и ухудшает наше положение внутри страны. Никакого доверия «новому» правительству, ибо оно остается правительством капиталистов, ни копейки денег ему. Никакого доверия к оборонческим партиям, проповедующим соглашение с капиталистами и участие в правительстве капиталистов!..»

Если не с положительной программой, то с отрицанием коалиции у большевиков все обстояло просто и ясно.

* * *

«Вся нация, вся страна, кроме кучки большевиков», — так утешались бульварные газеты. «Вся революционная демократия, кроме большевиков и полубольшевиков», — так утешались советские лидеры... Однако, — независимо от большевиков — дело с коалицией обстояло неважно. Тогда же, в первой половине мая даже самые наивные советские оптимисты (из «мамелюков») отлично чувствовали, что власти настоящей, твердой, устойчивой, окруженной «всеобщим доверием», опирающейся на «всенародную поддержку» — этой власти попрежнему нет. Уже тогда было очевидно, что крики о доверии и поддержке не помогают: они явно не убеждают масс.

Конечно, массы были бы не прочь идти попрежнему за прежними вождями — по линиям меньшего сопротивления. Они были бы не прочь считать убедительными речи о «поддержке», исходящие от их прежних лидеров. Но для этого массы должны были все же увидеть, что нечто (хоть что-нибудь!) действительно изменилось...

Прошло два с половиной месяца революции. Первоначальный пыл стал в массах остывать. А прежние тяготы, война и голод, давили прежним нестерпимым гнетом. Надо было, чтобы хоть что-нибудь изменилось. Криков о полной поддержке было мало.

Но ведь мы знаем, что полная капитуляция совета перед плутократией стала фактом еще до коалиции;

и самая коалиция была также капитуляцией. Поэтому измениться на деле ничто не могло. Советские вожди, давно сменившие борьбу на соглашение, а ныне ставшие властью — естественно ничего не могли изменить ни в общей политике, ни в положении масс. И, естественно, вместо того, они должны были ограничиться криками о поддержке старой политики и ее носителя, «нового» правительства.

* * *

В заседании 12 мая в Исп. Комитете было постановлено обратиться с воззванием к европейским социалистам по поводу вступления в правительство наших советских людей. А внутри России — начать по тому же поводу агитационную кампанию, открыть серию митингов...

Митинги о коалиции, на заводах и в общественных местах, начались в большом числе. Но итоги кампании были более чем сомнительны. В рабочей аудитории столицы интернационалисты (большевики и меньшевики), выступавшие против коалиции, имели определенно больший успех... Исп. Комитет тогда выпустил официальное воззвание на всю Россию — с требованием поддержки нового правительства. Но и это не помогало.

В самом Совете и в Исп. Комитете было вполне благополучно. Но за их стенами старания «соглашателей» разбивались о такое равнодушие масс, какое было не лучше прямой враждебности. Конечно, и в рабочих кварталах удавалось проводить резолюции о доверии. Но они довольно правильно чередовались с постановлениями такого рода:

«Мы, рабочие ново-механической мастерской Путиловского завода, заслушав доклад члена Сов. Р. и С. Д. о коалиционном правительстве, протестуем против вступления членов Совета Р. и С. Д. в коалиционное министерство». Или: «Мы, рабочие и работницы фабрики «Невка», обсудив в общем собрании вопрос о вступлении меньшевиков и народников в коалиционное министерство, считаем это вступление идущим вразрез с интернациональным пролетарским движением. Мы считаем правильным способ борьбы с продовольственным кризисом и за скорейшее прекращение братоубийственной войны не вступлением в буржуазно-империалистическое правительство, а передачею всей власти в руки Совета Р. и С. Д.... Мы требуем, чтобы представители демократии вышли немедленно из буржуазного правительства».

Не всегда «лойяльны» были и провинциальные Советы. Будущий большевистский вельможа Крестинский, тогда корреспондент «Новой Жизни» с Урала, телеграфировал, что в Екатеринбургском совете, большинством двух третей голосов, принята резолюция против вступления социалистов в правительство. В Тифлисе такая же резолюция была принята по докладу меньшевистского столпа Жордания... И даже, когда местные советы посильно выполняли задания столичных лидеров, их резолюции звучали иногда так кисло, так двусмысленно, что воскрешали целиком одиозное «постольку-поскольку». Районный советский с'езд в Нижнем-Новгороде... «считает необходимым активно поддержать новое правительство в его шагах, направленных на проведение в жизнь требований революционной демократии... Вместе с тем, С'езд считает, что истинным выразителем мнения русского революционного народа являются советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которым и принадлежит право руководительства и контроля над действиями Вр. Правительства»... Не поздоровится от такой

«активной» поддержки ни Терещенке, ни Церетели. И перспективы коалиции не покажутся блестящими тем, кто имеет глаза и уши.

* * *

К Совету и к Исп. Комитету, во всяком случае, можно было применить слова «Правды»: — там ничего не изменилось.

Отношения определились окончательно — об этом нечего и говорить. Исп. Комитет распадался на резко враждебные крылья, которые не сходились никогда и ни в чем, и из которых одно всей тяжестью, по диктаторски, беспощадно подавляло другое. Моменты единодушия и действий «всем Советом» вызывались совершенно исключительными обстоятельствами и, можно сказать, были не в счет. Так, — единодушно, энергичным натиском была проведена в первой половине мая кампания о Фридрихе Адлере, приговоренном к смертной казни за убийство австрийского министра. Устная и печатная агитация всеми советскими партиями (чуть ли не до эсеров) продолжалась до самой отмены смертного приговора. Но этот случай единодушия был вероятно единственным за всю «коалицию», до самой корниловщины.

Вообще же в Совете в это время были поставлены все точки над диктатурой «соглашательского» меньшевистско-эсеровского президиума. Это было не ново и только завершало давно начавшийся процесс. Но сейчас, после коалиции, этот процесс завершился уже некой формальной кристаллизацией диктатуры тесного кружка оппортунистов.

Во-первых, президиум Совета из органа внутреннего распорядка, каковым ему надлежало быть, окончательно превратился в суррогат Исп. Комитета и стал заменять его в исполнительных и в законодательных функциях. «Передать в президиум» — сплошь и рядом слышались предложения и в пустяковых, и в важных случаях, — причем большею частью эти предложения сыпались со стороны самой «группы президиума».

Во-вторых, «группа президиума» отныне сконцентрировалась в постоянно действующее, почти официальное, хотя и закулисное учреждение, получившее имя «звездной палаты». Она состояла не только из членов президиума, но — как полагается в таких случаях — и из своего рода камарильи, из приближенных Чхеидзе и Церетели и верных им людей. Я был тогда уже настолько далек от этих правящих сфер, что не знал точно и до сих пор не знаю, кто именно входил в эту «звездную палату». Сами официальные члены президиума, Чхеидзе и Скобелев, конечно, входили в нее, — но больше ex officio и, разумеется, не были ее руководящими персонажами. Ее душой, ее главой был, конечно, Церетели. Стало быть, половина советского «диктаторства» и вся соответствующая этому честь, и весь одиум — должны быть отнесены на его долю.

Я не знаю, каково было фактическое участие и каково было непосредственное влияние в «звездной палате» буржуазных сфер, людей из Мариинского дворца. Не знаю, часто ли приходилось бывать в ней Керенскому, который несомненно все же участвовал там и оказывал сильное давление, являясь рупором «общественных» кругов, ему близких, а

Церетели (лично) далеких... Кроме того, есть все данные предполагать (если не утверждать), что в «звездную палату» заезжал и Терещенко, заслуживший без большого труда «полное доверие» и дружеские чувства не столь зоркого, сколь темпераментного Церетели.

Но самой центральной фигурой «звездной палаты» после ее лидера был, конечно, Дан. Если Церетели был больше вдохновителем и инициатором «комбинаций», то Дан был главным деловым воротилой и исполнителем. За вычетом влияния Керенского и чисто буржуазных сфер, вся остальная честь и весь одиум, после Церетели, кажется, должны быть отнесены на долю Дана.

Из «самой большой» партии, кроме Керенского, членами «звездной палаты» были Гоц и Чернов — насколько я знаю, больше Гоц, меньше Чернов... Чернов был еще лев и ненадежен. Вместе с тем его положение обязывало соблюдать декорум независимости, самостоятельности. Надо предположить, что он не особенно тяготел к компании, где ему было естественно участвовать по своему положению, но где ему постоянно приходилось быть в оппозиции и в меньшинстве, если не в одиночестве. А, с другой стороны, самой палате было предпочтительно держать Чернова в отдалении, насколько это было возможно.

Другое дело не мудрствующий лукаво Гоц. В «звездной палате» он должен был себя чувствовать, как рыба в воде. Никакие его идеи не могли ни помешать кому-либо, ни сами потерпеть никакого ущерба — хотя бы по той причине, что идей у Гоца не было. Вместе с тем Гоц был крайне нужен, даже необходим, как технический проводник чужих спа-

сительных идей в «самой большой партии». Отлично совпадая с ее большинством в своем настроении, Гоц, председательствовавший в советских эсеровских фракциях, отлично «управлял» их действиями — сообразно «видам» «звездной палаты». Но, в конечном счете, во главе советской мелкой буржуазии, во главе эсеровской массы, определявшей советскую политику, стояли оппортунисты марксистского происхождения, Церетели и Дан.

Не знаю, были ли членами «звездной палаты» Либер, Войтинский и другие столпы советского большинства. Вероятно, эти приближенные бывали в ней от случая к случаю. Но основное ядро действовало постоянно. Заседания происходили систематически каждое утро в квартире Скобелева, где жил и Церетели. Подробности обо всем этом, надо думать, сообщит в своей книге Дан.

Но, повторяю, такого рода «оформление» диктаторского, повелевающего советским большинством кружка — ничего не изменило в общей ситуации.

* * *

Не изменилась жизнь Исп. Комитета и в других отношениях. И, в частности, сохранилась вся прежняя до-коалиционная его организация. «Контактная» комиссия, перенесенная ныне для постоянного пребывания в Мариинский дворец, правда, была упразднена, — то-есть, насколько помню, умерла естественной смертью без всякого особого постановления. Но, казалось бы, та же участь должна была постигнуть и некоторые отделы Исп. Комитета — поскольку министерства стали советскими.

Казалось бы, зачем отныне при Исп. Комитете существовать отделу труда или аграрному отделу, когда советские министры-социалисты должны, по-видимому, создать совершенно аналогичные официальные министерские аппараты с тем же личным составом, с теми же функциями, с той же политикой?... Упразднение некоторых советских отделов при таких условиях казалось довольно логичным. И об этом шли разговоры в Исп. Комитете. Однако, такого рода реформа «не прошла». Кажется, дело даже не дошло до официального ее обсуждения. «Советские» министерства, частью реформированные, но в большинстве созданные заново, стали работать сами по себе, а советские отделы — сами по себе. Последние работали неважно, гораздо хуже прежнего. В частности, работа аграрного отдела была почти фиктивной и состояла ныне, главным образом, в приеме ходоков, в «разборе» жалоб и в обещаниях «принять меры». Я лично, хотя попрежнему числился заведующим, почти не принимал участия в этой «работе». Ее выполняли двое или трое приглашенных товарищей — меньшевики-интернационалисты Пилецкий, Соколовский и кто-то еще.

Против упразднения «министерских» отделов была естественно настроена вся оппозиция Исп. Комитета. Она стремилась сохранить, во-первых, советский органический аппарат, а во-вторых, советский политический противовес официальным псевдо-социалистическим министерствам. Но не оппозиция помешала упразднению отделов. Помешала скорее традиция. За два с половиной месяца население уже слишком привыкло «прибегать» к Совету, и слишком связана была эта «органическая»

работа с его авторитетом. Пришлось допустить, поэтому, «параллелизм» и логическую несообразность. Отделы остались.

Новый официальный министр труда, Скобелев, получил в товарищи правейшего меньшевика Колокольникова и старого, советского министра труда, Кузьму Гвоздева, который и нес на себе попрежнему главную работу — теперь уже в Мраморном дворце. Министр почт и телеграфа пригласил себе в товарищи двух профессоров-социалдемократов, Чернышева и Рожкова. Первый из них уже давно был его консультантом и подручным в Совете, а теперь снял с плеч Церетели всю деловую работу министерства; второй же оказался вскоре политически ненадежным и ушел в отставку, а в бытность товарищем министра нередко пописывал в «Новой Жизни» противоправительственные статьи...

Министр земледелия в качестве товарища и, можно сказать, делового министра пригласил Вихляева, выдающегося статистика и агронома, который, собственно, был автором знаменитой «социализации земли» и реставратором герценовского «права на землю». А кроме того — явно от имени Чернова и явно против собственного желания — Гоц както обратился ко мне с запросом, не пойду ли я в товарищи министра земледелия. Ответ был ясен...

Товарищи остальных министров-социалистов, Керенского, Переверзева, Пешехонова, — не имели уже решительно ничего общего с советскими сферами... А в общем «антураж» советских делегатов в правительстве, по части демократизма и социализма, был еще значительно «хуже» самих министров-социалистов. Между их министерствами и советскими отделами, помнится, существовала в

результате этого некая, довольно постоянная тяжба. Это обстоятельство уже само по себе оправдывало существование «параллельных» отделов.

Ничего не изменилось со времени коалиции и в наших распорядках, в нашем обиходе. Заседали, попрежнему, раза два или три в неделю, а кроме того заседало бюро. Фактически и учреждения эти, и заседания их сливались: были одинаково многоили малолюдны, собирались примерно в том же составе, занимались теми же примерно вопросами; и участники нередко не знали, сидят они в пресловутом «однородном бюро» или в пленуме Исп. Комитета...

Новое надо, пожалуй, отметить следующее. Даже непременно надо отметить. Прежнего делового настроения, прежней интенсивности в работе (не говоря о прежнем пафосе) уже не осталось и следа. Обычно в заседании едва-едва был налицо самый минимальный кворум. Зазвать, загнать товарищей в заседание стоило огромного и чем дальше, тем большего труда. Гораздо более людно и оживленно было в это время в соседнем буфете, где кормили уже несравненно хуже и только «своих», но где было теперь гораздо больше благообразия... Открытие заседаний запаздывало на два часа и больше. То Чхеидзе сидел одиноко на своем месте, позванивая колокольчиком и грозя, что он вот-вот откроет заседание, — то исчезал президиум, и кучки членов толпились в ожидании, зевая, вяло переговариваясь, уткнувшись в газеты и по временам выражая нетерпение.

Такая перемена декорации имела основательные причины. Конечно, не только усталость: причины лежали в общей ситуации, сложившейся после обра-

зования коалиционного правительства... Я уже говорил на первых страницах: революция дошла до устойчивой точки; соотношение сил в Совете совершенно определилось; борьба внутри его уже не могла ничего дать, а стало быть не могла никого по настоящему захватить. Диктатура «звездной палаты» делала бесплодными всякие парламентские прения; и прежний парламентский аппарат стал атрофироваться. «Больших дней» в это время уже почти не бывало, словом — жизнь в Исп. Комитете стала замирать.

Ее могла бы поддержать публичность, всенародность прений, борьбы и работы. Но публичности не было. Она строго преследовалась. Людей, пишущих в оппозиционных газетах, способных дать в них «лишнее» слово информации, стали положительно не переваривать и травить лидеры, а особливо их сподручные. Кстати сказать, около того времени Богданов, в качестве заведующего иногородним отделом, распорядился из'ять «Новую Жизнь» из числа газет, распространяемых советским аппаратом.

Публичности не было; реальных результатов борьбы также быть не могло. И было просто нестерпимо скучно в полупустом (раньше битком набитом) зале, среди возгласов «передать в президиум»... Иные злые языки, — правда, предвосхищавшие события, — уже бросали изредка фразу: мертвое учреждение!... В мае это было немножко рано. Но во всяком случае тут перемены были большие, серьезные, принципиальные.

* * *

Из новых лиц — бывал, но не часто, Троцкий. Он вошел в группу «междурайонцев», вышеописанных автономных большевиков; вместе с Луначарским, еще совсем не появлявшимся в Исп. Комитете, Троцкий уже начал широко митинговать и находился в поисках литературного органа. В Исп. Комитете, на сером, тоскливом фоне, он не вызвал большого к себе интереса и еще меньше сам обнаруживал интереса к центральному советскому учреждению. У меня остались в памяти только небольшие препирательства Троцкого с лидерами большинства. Развернуться было положительно негде...

Я лично избегал тогда знакомства с Троцким, имея на то совершенно специфические причины: Троцкий имел много оснований стать в более или менее близкое отношение к «Новой Жизни», и сам он рассчитывал на это. Наше знакомство с ним предполагало немедленные разговоры с ним на эту тему. Между тем, сотрудничество Троцкого могло оказаться совсем не ко двору. Про него, не примкнувшего к большевистской партии, уже ходили неопределенные слухи, что будто бы он «хуже Ленина». Раньше, чем разговаривать о «Новой Жизни», надо было приглядеться к этой новой звезде...

Затем в советских сферах стал появляться Рязанов, производивший своими выступлениями на самые невинные темы невероятный шум. Виною тому — его темперамент и великолепный голос, огромной силы и красивейшего тембра... Рязанов, оставаясь вне фракций, немедленно ушел с головой в профессиональные дела и также забегал не часто в советские сферы.

Из эсеров промелькнул Рубанович. Он произнес было при своем появлении торжественную привет-

ственно-программно-автобиографическую речь, которая была встречена убийственным равнодушием сонных депутатов. В этой речи он выражал намерение работать в Исп. Комитете, но вместо того тут же исчез навсегда. Вообще же в эти скучные будни веселого месяца мая заграничные знаменитые вожди принимались у нас без малейшей торжественности.

Из меньшевиков тогда же появились Аксельрод и Мартов. Было даже немного досадно, что ни почтенный президиум, не в пример прошлым временам, не выдавил из себя ни полслова приветствия, ни комитетская масса не проявила никакого интереса к ним.

Кроме этих нескольких знаменитостей — в составе Исп. Комитета опять-таки ничего не изменилось. Активные участники прений во всяком случае были те же самые... Керенский попрежнему никогда не появлялся. Чернов попрежнему бывал нередко, но и не особенно часто. Пешехонов, как и раньше, почти никогда не заглядывал, а физиономии «министра-социалиста» Переверзева я, кажется, вообще ни разу в жизни не видел.

Скобелев же и Церетели — также попрежнему — бывали налицо всегда, как будто бы и впрямь «ничего не случилось». Министры-меньшевики хотели быть на самом деле «советскими» министрами, делегатами демократии. Да и Чхеидзе, боясь остаться без надлежащей базы, крепко держал их при себе...

Не в пример «чужому» Керенскому, Церетели был «органически слит» с Советом и неотлучно состоял при нем. Но смысл это имело довольно своеобразный. С той поры, как над головой Церетели окончательно воссияла благодать Мариинского дворца,

он стал, можно сказать, официально тем, чем он и раньше был фактически: он стал комиссаром Вр. Правительства при Исп. Комитете. И вся его деятельность, вся его роль, все его стремления и выступления сводились к тому, чтобы превратить Совет с его Исп. Комитетом в аппарат поддержки Вр. Правительства — «до Учредительного Собрания».

В первые дни своего министерства Церетели делал доклады, «давал отчеты» о работе правительства. Это было, конечно, очень демократично с его стороны. Но мы уже и раньше встречались с его подобными докладами, с его «отчетами» о заседаниях старой «контактной комиссии». Все это напоминало известный и довольно тривиальный анекдот о том, как один русский храбрец-солдат забрал в плен трех японцев, но не может их привести, потому что они его не «пущают». Это существо дела. Форма же была прежняя: буржуазия, кроме безответственных кругов, имеющихся и справа и слева, идет во всем на соглашение с революционной демократией.

Вначале, те левые, которым было это не особенно лень, с пристрастием допрашивали Церетели, — полемизируя, иронизируя и издеваясь. В случаях, сколько-нибудь серьезных, выражали недоумение и негодование, — почему министр не испросил предварительной санкции Исп. Комитета. Были попытки диктовать министрам-социалистам их деятельность в правительстве...

Сначала Церетели просто сердился на безответственных полемистов, неприятно злоупотребляя тем, что ему, как министру, Чхеидзе предоставлял слово в любое время, вне очереди. Но в один прекрасный день он заявил, что данное положение дел, не су-

шествующее ни в каких конституциях, он дальше выносить не намерен: если он министр, если ему дали власть, то пусть ему дадут и возможность ею пользоваться: нельзя быть связанным в каждом своем шаге; он будет отныне поступать по своему разумению, а если его действия найдут неправильными, то пусть лишат доверия и отзовут его.

Формально Церетели был прав. Исп. Комитет, конечно, признал за ним «полноту власти». Доклады и отчеты вскоре прекратились. Делать «запросы» было скучно, стало лень.

* * *

У нового правительства еще не было своего собственного официозного печатного органа. Надо было таковой создать. Им должны были быть, конечно, советские «Известия». Но там попрежнему еще сидел Стеклов, с таким подозрительным антуражем, как новожизненцы Цыперович и Авилов, и большевик (хотя и вчерашний оборонец) Бонч-Бруевич. Вот этого никак нельзя было оставить попрежнему...

Месяц назад вопрос о редакции «Известий» был разрешен посылкой Дана «на усиление» Стеклову. Но с паллиативами и недомолвками пора кончить. Мужественный Церетели поставил вопрос ребром, и в том же заседании 12 мая, в котором была решена кампания в пользу коалиции, он лично и публично допрашивал ближайших сотрудников «Известий»: разделяют ли они «линию» советского большинства? Церетели выражал «искреннее» удивление, как это люди из оппозиции могут до сих пор состоять в редакции советского официоза...

В этот же день была избрана новая редакция в составе — Дана, Войтинского, Чернышева, Гоца и Гольденберга. Правительственный официоз был создан. Фактически «Известия» редактировали с этого времени Дан и Войтинский. Курс их стал отныне вполне определенным. Но нельзя сказать, чтобы этот «орган» был интересной газетой. Его тираж неудержимо падал — не только в связи с переменой в настроении масс.

А 13-го мая министры-социалисты выступили «с отчетом о своей деятельности» и в пленуме Совета. Впрочем, конечно, не все, а только трое: Церетели, Скобелев и Чернов. Заседание было довольно любопытное. С такою степенью наивности Церетели нечасто обнаруживал свою слепоту, когда рассказывал о «больших успехах» министров-социалистов во внешней политике. Это ли не успехи? Министры-социалисты потребовали, чтобы правительственная декларация, напечатанная 6 мая, была доведена до сведения союзников, — и «это было немедленно сделано». Затем министры-социалисты беседовали с послами и спрашивали их мнение о декларации. Английский посол, оказывается, «разделяет принципы» — «конкретно же вопрос решит жизнь». — А согласны ли союзники пересмотреть договоры? Английский посол ответил: «если Россия действительно отказалась от завоеваний, то договоры, конечно, должны быть пересмотрены». — А не будет ли британское правительство чинить препятствия к сношениям русских социалистов с английскими? На это посол сказал, что он ответить не уполномочен[1])...

---

[1]) См. в любой газете о заседании Петербургского Совета 13-го мая.

Ну, разве это не успехи советских дипломатов, разве это не шаги по пути к желанному всеобщему миру?...

Скобелев, с своей стороны, не «отчитывался», не говорил о достигнутых победах, но так широко размахнулся с обещаниями будущих благ, что привел в удивление даже анархиста Блейхмана. Ну, и досталось же за это Скобелеву от «серьезной» прессы — как будто скобелевские дерзания она и впрямь приняла в серьез! В самом деле, — ведь Скобелев обещал тогда обложить прибыль капиталистов в размере до 100%!..

Напротив, был очень скромен самый левый министр Чернов. Он больше ссылался на Учр. Собрание и говорил о подготовке материалов для него. Это дало повод для безудержных демагогических выпадов Троцкого, продемонстрированных им в блестящей язвительной речи. Издеваясь над кинтальским «министром статистики» в кабинете князя Львова, Троцкий, надо думать, понял не только через два года, а понимал и тогда, что статистика — небесполезная вещь для «социалистического землеустройства»... В той же речи, говоря о Керенском, Троцкий бросил свое крылатое слово о «математической точке русского бонапартизма».

За Троцким в Совете тогда шло всего несколько десятков человек. Само собой разумеется, что после сердитых окриков по адресу Троцкого со стороны правящих партий — вся остальная советская масса голосовала вотум «полного доверия министрам-социалистам и Вр. Правительству, в составе которого они находятся»...

* * *

Обывателю, советским вождям и советским «мамелюкам» казалось, что коалиция покоится на незыблемом базисе, на действительном и сознательном доверии масс. На деле Совет уже не выражал тогда настроений и соотношений сил в петербургском гарнизоне и особенно в пролетариате.

Оппозиция, как мы знаем, уже давно настаивала на всеобщих перевыборах. И постановление об этом было, наконец, принято в Исп. Комитете. Но общие перевыборы, под разными предлогами, затягивались с недели на неделю и в конце концов так и не состоялись за ненадобностью: Совет был к августу полностью обновлен частичными перевыборами отдельных заводов и рот.

Лидеры же правящего блока (эсеровского происхождения) иногда так мотивировали ненужность и несправедливость перевыборов: пусть в Петербурге оппозиционных рабочих будет впятеро больше, чем лойяльных солдат, но ведь петербургский Совет сохраняет свое всероссийское значение, а во всей России эсеровски настроенное крестьянство, конечно, дает огромный перевес в пользу министров-социалистов. В результате — наличный петербургский Совет правильно отражает «революционную демократию». И лидеры большинства, с своей стороны, настаивали на перевыборах не Совета, а Исп. Комитета, в котором оставалась слишком большая оппозиция, не имеющая опоры в пленуме Совета... Перевыборы Исп. Комитета, однако, тоже не состоялись в виду близкого всероссийского с'езда, на котором должен был быть избран всероссийский центральный Исп. Комитет.

Между тем, были факты, были непосредственные столкновения с действительностью, которые уже в

то время могли бы несколько охладить диктаторскую группу, рассеять ее лучезарное настроение по поводу преданности масс. 14-го мая в Москве открылся с'езд почтовых служащих. Казалось бы, здесь должны быть сплошные восторги по адресу Церетели, воплощавшего в себе и высшее начальство и вождя «всей революционной демократии». Однако, министра почт и телеграфа принимали более, чем сдержанно. «Правда» писала даже, будто бы его освистали. И, отдавая дань презренному демократизму, в своей наивности, свойственной младенческому возрасту, «Правда» прибавляла: «вот что значит — хоть и министр-социалист — но не выборный!»...

Сомнительный дебют министра-социалиста среди могущественной организации почтарей, конечно, еще не особенно показателен. Можно было не придавать значения и пустому на две трети залу во время «грандиозного митинга», устроенного в честь новых министров-социалистов, с участием самих виновников торжества. Но таких фактов было бы несравненно больше уже в то время, если бы советские вожди из Мариинского дворца чаще «ходили в массы».

Советское большинство, однако, имело с массами довольно слабое соприкосновение. В массах широко развернули деятельность совсем другие элементы. И успехи «кучки большевиков» могли бы уже в мае остановить на себе внимание здравомыслящих людей. Во всяком случае непрерывные частичные перевыборы на петербургских заводах вливали в Совет, каплю за каплей одних только представителей оппозиции.

Факты начинали говорить о переломе. Мы

также поведем о нем речь в дальнейшем. Но сначала надо уяснить и оценить его об'ективные факторы, его материальную основу. Это значит — надо сначала остановиться на том, что говорило и что делало новое правительство, что происходило у нас во время первой «коалиции» — в политике и в жизни государства.

---

2. СЛОВА И ДЕЛА НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Декларация 6-го мая. — Заявления министров о задачах коалиции. — Керенский и его агитация. — Взрыв шовинизма. — «В наступление!» — Стратегия или политика. — Доблестные союзники и Талейран коалиции. — Ответные «ноты» союзников. — Очаровательный Вильсон. — Аннексия Албании. — Обнаглепие союзного империализма. — Укрепление германского империализма. — Его последние попытки втянуть Россию в сепаратный мир. — Свистопляска буржуазии. — Подвиги Тома, Вандервеладе, Гендерсона, итальянских «социалистов». — Стокгольмская конференция. — Махинации звездной палаты. — Союзники, под прикрытием коалиции, ликвидируют конференцию. — Что надо было сделать для мира? — Победы коалиции на других фронтах. — Успехи «селянского министра». — Ни журавля в небе, ни синицы в руках. — Мужички сердятся. — Чернов ведет тонкую дипломатию. — Авксентьев действует по-простацки, ради революции. — Дело о хлебе. — Экономическая программа Исп. Комитета 16 мая. — Социализм? — Уход Коновалова. — В поисках министра. — Надо сделать выводы. — Сценки в Исп. Комитете. — «Гибель промышленности» и «самоограничение рабочих». — Прочие достижения коалиции. — Авгиевы конюшни Львова и Мануилова. — Коалиция или контр-революция?

Официально, в своей декларации 6 мая, новое правительство говорило так. — «Во внешней политике, отвергая в согласии со всем народом, всякую мысль о сепаратном мире, Вр. Правительство открыто ста-

вит своей целью достижение всеобщего мира — без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов»... А конкретно? а пути? а гарантии? — «Вр. Правительство предпримет подготовительные шаги к соглашению с союзниками на основе декларации 27 марта». Больше ничего. Даже на словах, даже в голых обещаниях коалиция не идет дальше. Удовлетворяйся, кто может.

С другой стороны, «в убеждении, что поражение России и ее союзников не только явилось бы источником величайших бедствий, но и отодвинуло бы и сделало бы невозможным заключение всеобщего мира на указанной основе, Вр. Правительство твердо верит, что революционная армия России не допустит, чтобы германские войска разгромили наших союзников на западе и обрушились всей силой своего оружия на нас. Укрепление начал демократической армии, организация и укрепление боевой силы ее как в оборонительных, так и в наступательных действиях будут являться главнейшей задачей Вр. Правительства».

Это заявлял новый кабинет по первому и основному пункту непреложной, насущной, необходимой и неизбежной программы революции — по вопросу о мире.

По второму пункту — о хлебе — новое правительство говорило так: «Вр. Правительство будет неуклонно и решительно бороться с хозяйственной разрухой страны дальнейшим планомерным проведением государственного и общественного контроля над производством, транспортом, обменом и распределением продуктов, а в необходимых случаях прибегнет и к реорганизации производства»... Опять-таки ни одно слово, ни все вместе взятые не

обязывают ни к какому — не то что революционному или радикальному, а просто ни к какому конкретному мероприятию...

По третьему же основному пункту революционной программы — о земле — мы читаем в декларации следующее: «Предоставляя Учр. Собранию решить вопрос о переходе земли в руки трудящихся и выполняя для этого подготовительные работы, Вр. Правительство примет все необходимые меры, чтобы обеспечить наибольшее производство хлеба для нуждающейся в нем страны и чтобы регулировать землепользование в интересах народного хозяйства и трудящегося населения». Формулировка, как видим, может с успехом служить и сторонникам, и противникам земельной реформы; но конкретно и здесь ни одного слова; в частности, на аграрную злобу дня, на воспрещение земельных сделок, нет ни намека.

Об остальных пунктах декларации — о финансах, о самоуправлении, об Учр. Собрании, об охране труда — говорить не стоит. Но, полагаю, скупость даже на слова, даже на обещания — бросается в глаза. Это можно было бы приписать тому обстоятельству, что буржуазия, вступая в коалицию, чувствовала под своими ногами слишком твердую почву. Но дело обстояло еще хуже: я уже упоминал, что авторами декларации были сами министры-социалисты, сами советские лидеры. Они не требовали большего. Они уверяли и убеждали массы поверить в то, что правительство, подписавшее такой клочек бумаги, стоит на «решительной демократической платформе». Увы! только совсем слепые могли отыскать в этой декларации что-либо достойное полного доверия и безусловной поддержки.

Но это были официальные слова, сакраментальные формулы, которыми должна быть куплена твердая, устойчивая и полная власть Вр. Правительства. А вот послушаем дальше комментарии к этим формулам; послушаем, как собираются министры осуществлять эти формулы на деле.

«Большая пресса» 7 мая напечатала беседы со старыми и новыми министрами — под заглавием «Планы коалиционного министерства». Планы и взгляды некоторых из министров довольно любопытны. Вот глава государства, министр-президент, который прежде всего отмечает благоприятный факт: впредь не будет ответственности без власти и власти без ответственности; Совет, оставивший за собой вначале одни контрольные функции, на деле стал превращаться в управляющий орган; ныне в руках правительства будет полнота власти, и не будет ни полудоверия, ни полуподчинения... Но ради каких же основных задач?

> «Первейшею своею задачей правительство считает укрепление мощи нашей армии, как для защиты родины и революции, так и для наступательных действий, для изгнания врага, стоящего на нашей земле, для действительной поддержки наших союзников. Говоря о мире, нельзя понимать под этим пассивную оборону... Русский народ не может отнестись с бессердечным безучастием к участи Бельгии, Сербии и Румынии и забыть свой долг перед ними. Установившееся на фронте фактическое перемирие, давшее основание германскому канцлеру высказать позорное для России предположение о возможности сепаратного мира, должно быть прекращено. Страна должна сказать свое властное слово и послать свою армию в бой».

Таково первое публичное заявление скромного, уступчивого и левого представителя «живых сил» буржуазии — от имени своего кабинета. Премьера

продолжал новый министр иностранных дел, пришедший с пальмовой ветвью, с «демократическими» намерениями на место безответственного (sic?) шовиниста Милюкова. Бойкий Терещенко, поощряемый неожиданной «доверчивостью» и простотой советских людей, успел отыскать в дипломатическом словаре такие выражения:

«Программа моя кратка: скорейшее достижение всеобщего мира без аннексий и контрибуций в тесном единении с союзными демократиями запада... Есть вопрос, который волнует русскую демократию: вопрос о договорах. Немедленное опубликование договоров будет равносильно разрыву с союзниками. Необходимо избрать другой путь. На основе общения с демократиями запада должно расти взаимное доверие союзников друг к другу, которое позволит Вр. Правительству предпринять подготовительные шаги к соглашению с союзниками на основе декларации от 27 марта, и я употреблю все усилия, чтобы ускорить это. Но чтобы добиться этого, свободная Россия должна доказать, что она верно выполнит взятое на себя обязательство об'единенной борьбы и взаимной помощи. Поэтому, необходимо создание боевой мощи новой России»...

Недурно! Читатель оценил всю градацию средств, ведущих к вожделенной цели — сначала общение, потом доверие, потом подготовительные шаги — но... при условии боевой мощи и военной помощи. А вожделенная цель? «Соглашение на основе декларации 27 марта», которая согласно всем официозным раз'яснениям и согласно подлинным словам ее автора, Милюкова, ровно ничего нового в до-революционный статус не вносит и была опубликована только для околпачивания простецов[1]).

[1]) См. речь Милюкова на кадетском с'езде, где он комментирует ничтожность декларации 27 марта, и заявляет, что он «никогда не давал поводов союзникам говорить, что проливы нам не нужны» («Речь» от 10 мая).

Пресса того времени также оценила дипломатические способности Терещенки. Честная, революционная пресса тут же, при первом же его дебюте 7 мая, обрушилась на него со всем негодованием и презрением. Союзники выражали на перебой полное удовлетворение. И даже друзья Милюкова, получив сюрприз от облеченного «полным доверием» нового министра, потирая руки, приговаривали: да, из этого дипломата, пожалуй, будет прок!.. Ничего не видели и ничего не оценивали одни только советские лидеры, окружающие их межеумки-обыватели и темная мещанская масса.

А между тем министры раз'ясняли дальше: «Спасение страны от анархии и восстановление боеспособности армии — вот те главнейшие факторы текущего политического момента, которые повелительно обязывали нас идти на соглашение в деле создания коалиционного правительства», — так говорил журналистам новый министр финансов Шингарев. «Главная задача момента, — твердил старый министр просвещения, — дальнейшее ведение войны — тесно связана с укреплением власти, и с этой точки зрения новая комбинация приобретает первостепенное значение».

Повидимому, не может явиться никаких сомнений в том, как смотрело буржуазное большинство кабинета на задачи «коалиции». Все точки над «i» как будто поставлены. И при том ни один из цитированных буржуазных министров ни на вершок не вышел за пределы «платформы», составленной министрами-социалистами. Это было, во-первых, совершенно неизбежное, а во-вторых, вполне законное «толкование» и развитие правительственной демократической «платформы».

Резюме, смысл, гвоздь министерских заявлений, сделанных перед лицом всего мира, сводился, конечно, к тому, что очередная и конкретная задача укрепленной и облеченной доверием власти заключается в ликвидации «фактического перемирия» на фронте, в возобновлении активных боевых операций. Для этого требуется организационное и агитационное воздействие на армию. И к этому должны быть привлечены «все живые силы страны», составляющие и поддерживающие новое «демократическое правительство».

Но здесь главным лицом, главной надеждой, главной опорой был, конечно, новый военный министр Керенский, — все еще центральная и самая популярная фигура революции. Захочет ли он оправдать надежды «всей страны»? В этом, повидимому, не могло быть сомнений... Мы уже видели, что Керенский громогласно провозгласил эру «железной дисциплины» в войсках — раньше, чем был утвержден военным министром.

Но сможет ли что-нибудь сделать Керенский — на радость затаивших дыхание союзников и всяких «патриотов»? Вот это не ясно. Но во всяком случае тут надо не говорить, а действовать. И Керенский заявил журналистам:

> Я не буду, как то обыкновенно принято, говорить, что я пришел в новое ведомство без готовой программы. Программа вполне определенная у меня имеется. Но я предпочитаю сейчас не говорить о ней, чтобы результаты моей программы принесли плоды и стали очевидными для всех. Я уезжаю на фронт и — я уверен — буду иметь полное основание рассеять тот пессимизм, который сейчас очень распространен даже среди некоторых начальствующих лиц...

Разве можно сказать, что это неопределенно или мало содержательно? И Керенский действительно тут же, через двое суток, уехал на фронт.

* * *

А в это время в столицах и в провинции дружно, как по сигналу, началась шовинистская вакханалия, началась свистопляска газетчиков и митинговых ораторов, требовавших безотлагательно возобновления бойни. Вся «большая пресса», зная ясли своих господ, завыла по-звериному, вытягивая на разные лады патриотический лозунг — «в наступление!»... Доблестные вдохновители-союзники помогали не только золотом, но и личным участием. В нарочито устроенных тысячных митингах, рекламируемых буржуазно-бульварной прессой, вместе с Керенским и с разными поддельными «матросами»-авантюристами, участвовали союзные представители и даже послы. Агенты англо-французских бирж, Тома и вновь прибывший Вандервельде, снова стали являться в Исп. Комитет, требуя крови и мяса, и ныне входили все в больший контакт с верховодами советского большинства.

В ставке, на офицерском с'езде, верховный главнокомандующий Алексеев об'явил «правительственную» формулу — без аннексий и контрибуций — утопической фразой и требовал наступления ради полной победы.

Все это разом началось с самого дня образования нового кабинета. И все это прямо связывалось с ним. Атмосфера вдруг насытилась еще невиданным в революции шовинизмом. Милитаристские атаки, с

давно забытой наглостью, посыпались со всех сторон. 10-го мая на всероссийском крестьянском с'езде, эсеровский шовинист Бунаков, при громе аплодисментов, предавал анафеме «сепаратное перемирие, которое хуже сепаратного мира» и призывал «все вдохновение, всю волю вложить в призыв к наступлению, когда товарищ Керенский отдаст приказ». «Мы пошлем, — говорил Бунаков, — своих депутатов на фронт, чтобы они красными знаменами «Земля и Воля!» благословили нашу армию к наступлению»... Речь эту «люди земли», «подлинная демократия» — постановили напечатать и распространить в миллионах экземпляров.

А 14-го мая был опубликован «приказ» Керенского по армии — о наступлении. Собственно, это еще не был боевой приказ, а только подготовительная официальная прокламация... «Во имя спасения свободной России, — говорил в ней Керенский, — вы пойдете туда, куда поведут вас вожди и правительство. Стоя на месте, прогнать врага невозможно. Вы понесете на концах штыков ваших мир, правду и справедливость. Вы пойдете вперед стройными рядами, скованные дисциплиной долга и беззаветной любви к революции и родине»... Прокламация написана с под'емом и дышит искренним «героическим» пафосом. Керенский, несомненно, чувствовал себя героем 1793 года. И он, конечно, был на высоте героя великой французской революции, но — не русской...

Керенский проявлял в то время изумительную деятельность, сверх-естественную энергию, величайший энтузиазм. Он, конечно, сделал все, что было в человеческих силах. И не даром холодный и неблагожелательный историк, Милюков, на которого

Керенский тогда работал, — с оттенком умиления и признательности напоминает о «стройной фигуре молодого человека, с подвязанной рукой», появлявшейся то в одном, то в другом конце нашего необ'ятного фронта (казалось, во всех концах одновременно) и требовавшей великих жертв, требовавшей дани идеалистическим порывам от распущенной и равнодушной черни.

Керенский, одевший взамен пиджака, в бытность министром юстиции, темно-коричневую куртку, теперь сменил ее на светлый, элегантный, военного типа «френч». Чуть ли не все лето у него болела рука и, в черной повязке, придавала ему вид раненого героя. Что было у него с рукой — не знаю: я уже давно не разговаривал с Керенским. Но именно в таком виде помнят его десятки и сотни тысяч солдат и офицеров, к которым он — от Финляндии до Черного моря — обращался со своими пламенными речами.

Повсюду, в окопах, на судах, на парадах, в заседаниях фронтовых с'ездов, на общественных собраниях, в театрах, в городских думах, в советах — в Гельсингфорсе, в Риге, в Двинске, в Каменец-Подольске, Киеве, Одессе, Севастополе — Керенский говорил все о том же и все с тем же огромным под'емом, с неподдельным, искренним пафосом. Он говорил о свободе, о земле, о братстве народов и близком светлом будущем страны. Он призывал солдат и граждан отстоять, завоевать все это с оружием в руках и оказаться достойными великой революции. И он указывал на самого себя, как на залог того, что требуемые жертвы будут не напрасны, что ни одна капля крови свободных русских граждан не прольется ради иных, посторонних целей.

Агитация Керенского была (почти) сплошным триумфом для него. Всюду его носили на руках, осыпали цветами. Всюду происходили сцены еще невиданного энтузиазма, от описаний которых веяло легендами героических эпох. К ногам Керенского, зовущего на смерть, сыпались георгиевские кресты; женщины снимали с себя драгоценности и во имя Керенского несли их на алтарь желанной (неизвестно почему) победы...

Конечно, не малая доля всего этого энтузиазма приходилась на долю буржуазии, офицерства и обывателей. Но и среди фронтовых солдат, в самых окопах Керенский достиг огромного успеха. Десятки и сотни тысяч боевых солдат, на огромных собраниях, клялись идти в бой по первому приказу и умереть за «землю и волю». Принимались об этом резолюции.

Армия, несомненно, была взбудоражена агитацией министра — «символа революции». Командиры воспрянули духом и провожали Керенского уверениями, что теперь армия оправдает надежды «страны»...

Уже 19 мая Керенский телеграфировал министру-президенту: «доношу, что, ознакомившись с положением юго-восточного фронта, пришел к положительным выводам, которые сообщу по приезде. Положение в Севастополе весьма благоприятно»...

Были и «шероховатости», притом существенные и знаменательные. О них речь будет дальше. Но были и основания для «положительных выводов» Керенского. Вся буржуазия встрепенулась; ей вновь ударил в нос любезный запах крови, и вновь ожили уже почти оставленные империалистские иллюзии. Начало этому рецидиву шовинизма положила именно

коалиция. И положение, в связи с агитацией Керенского, становилось нетерпимым.

* * *

Конечно, наступление само по себе это есть военная «стратегическая» операция, не больше. Наступать или не наступать — это ведают командиры, «техники» военного дела. Если мы признаем существование войны, фронта, армии, если мы считаем желательной ее боеспособность, то мы признаем и возможность наступательных операций... Так, вообще говоря, рассуждали не только правые, но и интернационалисты, противники войны и нового правительства. И они, вообще говоря, были готовы, были согласны не мешать армии делать ее естественное дело, наступать против полчищ Вильгельма и Гинденбурга, — при условии одновременной борьбы на внутреннем фронте против собственного империализма, против Милюкова и Алексеева — за всеобщий мир «без аннексий».

Но это — «вообще говоря». Сейчас же, в конкретных условиях «коалиции», дело обстояло совершенно иначе. Сейчас наступлением ведали не Алексеевы и Брусиловы, а Милюковы и Керенские, не военные техники, а руководители «демократической» политики. Сейчас наступление было не «стратегической операцией», а центром политической конъюнктуры...

Вокруг наступления, — по словам самих носителей власти, — сложилась коалиция; в наступлении она видела свою центральную задачу, и только организацией наступления проявляло себя новое

правительство. Сейчас нельзя было говорить, что военные операции **не касаются** борьбы рабочего класса за революцию и за всеобщий мир; и нельзя было вести эту внутреннюю борьбу независимо от наступления на внешнем фронте.

Сейчас отделить «стратегию» от политики можно было бы только при одном условии: если бы новое правительство, независимо от выполнения своих естественных обязанностей **военными властями**, прямо и решительно пошло бы по пути демократической внешней политики... Керенский, в качестве **военного министра**, был обязан создавать боеспособную армию и был прав, добиваясь ее дисциплины и ее готовности к наступлению. Но Керенский в этой своей работе был бы неопасен для революции только тогда, если бы министр иностранных дел и вместе с ним все правительство **не отставали** бы от военного министра на другом фронте — на фронте борьбы за мир. Только в этом случае стратегия не была бы политикой, а организация наступления не мешала бы «коалиции» быть правительством мира и демократии. Сейчас же приходилось ставить вопрос (как я его и ставил в новожизненских статьях): **мир или наступление?** И приходилось отвечать: коалиция есть правительство не мира, а **наступления** и затягивания войны, правительство буржуазии, империализма и удушения революции[1].

---

[1]) Не так, впрочем, смотрел на дело министр Чернов. В заседании Вр. Правительства 17 мая ему делали допрос: будто бы на митинге он недостаточно почтительно выразился о наступлении. Чернов, по словам «Речи», на это сказал, что ничуть не бывало: наступление его, Чернова-политика, не касается, это дело стратегов на фронте.

Это приходилось утверждать уже в мае, через неделю-другую после создания нового кабинета. С первых же его шагов сгустилась старая атмосфера шовинизма и появились ощутительные признаки укрепления, торжества, обнаглениия рыцарей международного грабежа.

* * *

Уже после первой телеграфной передачи в Европу декларации нового кабинета, в английском парламенте был сделан запрос по поводу «русской формулы» мира. Депутат Сноуден предложил приветствовать отказ России от аннексий и контрибуций. Министр иностранных дел, лорд Сесиль, ответил на это крайне неодобрительно. Почти без дипломатии было заявлено: неуместно и неумно. А дипломатически было добавлено: ежели дело идет об отказе России от обязательств союзникам, то Англия знает, как надо поступить в этом случае.. Кадетская «Речь», конечно, была в полном восторге. И уже сделала вывод: ничего вы в коалиции не придумаете, кроме продолжения политики Милюкова!

Ни Львов, ни Терещенко, ни Церетели, ни даже Скобелев, действительно, ничего больше не придумали... Цитированное выше интервью нашего нового Талейрана и его почтенных товарищей, понятно, успокоило союзных правителей. Беседы с послами и всякая тайная дипломатия, казалось бы, не оставили у них уже никакого сомнения, что «русская формула», как и вся декларация, при всей своей безобидности, есть просто клочек бумаги, не стоящий внимания столь почтенных и опытных в дипломатии людей.

Но каши маслом не испортить. Терещенко не поскупился и на дальнейшие доказательства верности. К тому же было желательно подтянуться. Во-первых, газеты с тревогой сообщали и повторяли снова, и волновались в ожидании: союзники готовят нам ответную «ноту» — по поводу нашего акта 27 марта. Во-вторых, на открывшемся 8-м с'езде кадетской партии, загоняя в угол совершенно изолированного левого Некрасова, вызывая восторг всей организованной российской буржуазии, Милюков растекался речами о народной гордости и национальной политике. Революцию, — говорил он подлинными словами, — надо остановить; и, в частности, надо заставить ее продолжать внешнюю политику самодержавия. Всякая иная политика антинациональна, и никакой иной политики не могут претерпеть союзники. Перемена политики означает изоляцию России и национальный крах...

Что же мог противопоставить этому натиску «всей нации» и «всей Европы» желторотый дипломат коалиции? Все его помыслы, конечно, быстро свелись к одному: доказать, что он только продолжает политику Милюкова, — клочек же бумаги, на котором написана декларация, употребить на то, чтобы заткнуть им рты доблестных советских лидеров... Собственно, первое было совсем не трудно: надо было просто помалкивать и ничего не предпринимать. Второе же было — также совсем не трудно: советские лидеры уже все, что имели когда-то за душой, принесли на алтарь «соглашения» — до здравого смысла включительно.

Но, говорю я, каши маслом не испортишь. И Терещенко стал по временам давать все новые и новые доказательства своей верности политике Сазонова

и Милюкова. Разумеется, весь наш «дипломатический корпус», как был при царе и Милюкове, так и остался на своем месте. Ближайшими соседями, сотрудниками, советчиками Терещенки были, с одной стороны, советская «звездная палата», с другой — чуть ли не ставленники Распутина, царские черносотенные послы . . . Но вот, на фоне агитационной деятельности Керенского в армии, Терещенко затевает и непосредственные сношения с союзными правителями. Французскому премьеру Рибо он посылает телеграмму, в которой ни слова нет ни о каком-либо мире, ни о каких-либо пожеланиях со стороны нового русского правительства: одни только комплименты, одни восхищения, одни уверения в незыблемой верности всему, что было доселе.

Огласив эту телеграмму, Рибо вызвал в палате «живейшую сенсацию». Он не находит надлежащих слов для прославления русского правительства, состоящего из «выдающихся государственных деятелей, смелых и энергичных, но подвергающихся посторонним влияниям» . . . «Эти благородные люди сделали ряд заявлений, вполне удовлетворяющих Францию, так как прежде всего в них имеется в виду ввести в армии возможно более строгую дисциплину». Кроме того в этих заявлениях «русский министр сам по справедливости оценил тот софизм, с которым Германия злоупотребляет формулой «без аннексий и контрибуций», намереваясь удержать за собой провинции, некогда отторгнутые от Франции». И Рибо правильно умозаключает: ничего не изменилось к худшему, «коалиционная» Россия верна царской и милюковской. А затем, пользуясь случаем, в назидание врагам и вассалам,

подтвердил полностью всю старую, союзную грабительскую «платформу» войны.

На другой день аналогичная сцена произошла в английской палате общин. Слева спрашивали, как быть с «неблагоприятным впечатлением», полученным в России от окрика г-на Сесиля по адресу «русской формулы» мира. Но достопочтенный джентльмен раз'яснил, что (не говоря об интриганах и анархистах) никакого неблагоприятного впечатления в России не было. Совсем напротив, — все в порядке...

А Терещенко в тот же день был осчастливлен трогательной телеграммой Рибо, где говорится, что «Франция с усиленным чувством солидарности и братского единения **будет продолжать борьбу, ведению которой русский народ посвятит восстановленные силы своих доблестных армий**».

До сих пор все это носило еще некоторые следы «дипломатии». Союзные правители старались не столько **отрицать** «русские формулы», сколько должным образом «**истолковывать**» их; их признавали на словах для того, чтобы свободнее **действовать** против них. Но не дальше как через несколько дней эта «дипломатия» была оставлена. Союзный империализм, с образованием коалиции, почувствовал себя настолько окрепшим, что счел за благо откровенно сбросить со счетов русскую революцию. За две недели правления Львова-Терещенко-Церетели престиж русской революции пал так низко, как не падал при Гучкове и Милюкове.

После новых уже совершенно наглых речей г. Рибо сначала во французской палате (подавляющим большинством), а затем в сенате (единогласно) были

приняты резолюции, официально подтверждающие незыблемость всех прежних целей войны. А затем, еще через неделю, 27 мая, в Петербурге были получены и «ответные ноты» союзников. В резолюциях, как и раньше, фигурировало «низвержение прусского милитаризма», «освобождение малых народов», «гарантии прочного мира и независимости», «справедливое возмещение убытков» и проч. необходимые атрибуты гнусной фразеологии международных хищников.

В «нотах» же с удивительным цинизмом игнорируется самая мысль о ликвидации войны, вообще, и на демократических принципах, в частности; речь в них идет исключительно о восстановлении военной мощи России и об «улучшении условий, при которых русский народ намерен продолжать войну до победы над врагом» и «принять, таким образом, деятельное участие в совместной борьбе союзников».

Британская нота, кроме того, выражает «сердечную» радость, что «свободная Россия» об'явила свое намерение освободить Польшу, не только Польшу, управлявшуюся старым русским самодержавием, но равным образом и Польшу, входящую в состав германских империй... Обе ноты, в заключение, признают, что старые соглашения союзников с царем не оставляют желать большего по части идеализма, правды и справедливости; но, если русское правительство будет сильно настаивать на пересмотре соглашений, то союзники могут, без особого для себя риска, пойти навстречу этому странному желанию.

В тот же день, 28 мая, была опубликована пространная декларация американского президента Вильсона, за которым, как известно, справедливо

упрочилась слава не то что идеалиста, а, можно сказать, человека не от мира сего, можно сказать — всех скорбящих радости. Декларация эта, преисполненная беллетристики или, попросту, глупой и отвратительной болтовни, не прибавляет к содержательным англо-французским документам ничего нового.

Документы же эти бесспорно крайне содержательны. Они установили окончательно и бесповоротно, что союзный империализм преодолел силу давления русской революции, что он, наблюдая ее течение, чувствует себя ныне вполне твердо стоящим на ногах. И своими «ответными нотами» он бросает откровенный вызов и русской демократии, и пролетариату собственных стран...

Ноты говорили о том, что борьба должна развернуться немедленно, не на живот, а на смерть. И, если русская революция не найдет в себе сил немедленно и решительно разорвать с союзной империалистской буржуазией, то она обречена на близкое и позорное поражение. Момент был, несомненно, решающий. Слова были сказаны полностью; каждый день бездействия выдавал головой дело русской революции и международного пролетариата.

Заключительным штрихом, способным характеризовать успехи коалиции на поприще демократической внешней политики, может служить разве только акт четвертой, еще не упомянутой великой союзной нам державы. Это была наглая, но очень логичная выходка итальянского правительства — выходка, поставившая втупик даже дипломатов Антанты. Итальянское правительство именно в эти же дни об'явило всю Албанию «независимой и находящейся под протекторатом Италии». Т.-е., вы-

слушав предложение русского «революционного правительства» о мире без аннексий, оно безотлагательно совершило аннексию и продолжало вести войну. Этого не выдержали даже наши министры-социалисты. Они были недовольны, решительно недовольны. Что из этого вышло, мы увидим в дальнейшем... Впрочем, и сейчас ясно, что из аннексии вышла аннексия, а из недовольства Церетели и Чернова ничего не вышло.

* * *

Все эти факты, глубоко дискредитируя русскую революцию, почти ликвидировали поставленный ею вопрос о мире. Они укрепляли, конечно, не только союзный, но и австро-германский империализм, а с другой стороны — были источником величайшей депрессии среди передового пролетариата всех стран.

Откровенная формулировка старой грабительской военной программы Антанты механически ставила германские верхи на своего рода «оборонительные» позиции, укрепляла там идею «национальной самозащиты» и сплачивала вновь жаждущие мира массы вокруг Вильгельма, Кюльмана и Гинденбурга. Германским империалистам и шовинистам, возлагавшим все надежды на голую силу оружия, агрессивность и шовинизм «великих демократий» были только выгодны и притом крайне выгодны...

Разумеется, австро-германские дипломаты и военачальники не перестали быть заинтересованными в «почетном» сепаратном мире с Россией. Не перестали они и предпринимать шаги к его достижению — шаги, иногда довольно рискованные. Так, именно

в дни вотума французского парламента, один германский агент, некий Д. Ризов, болгарский посланник в Берлине, взял на себя смелость обратиться к М. Горькому с письмом, в котором он предлагает Горькому взять на себя посредничество в деле сепаратного мира; мотивировалось это выступление соображениями гуманистического порядка. Письмо Ризова, с соответствующей припиской М. Горького, было напечатано в «Новой Жизни» и вызвало величайшую сенсацию, которой питалась вся уличная пресса несколько дней...

Затем, германское командование предприняло рискованную попытку послать парламентеров на румынском фронте в штаб нашей 9-й армии; парламентеры были арестованы и в качестве военнопленных отправлены в концентрационный лагерь. Наконец, в последних числах мая много нашумело телеграфное обращение германского генерального штаба непосредственно в Совет: предлагались переговоры о сепаратном мире на довольно льготных условиях — «без отпадения от союзников», пока в виде фактической «приостановки военных действий». Совет, в лице его президиума, немедленно дал на это всенародный ответ, правильный по существу, но выдержанный в тонах Терещенки и доставивший удовольствие кадетской «Речи».

Такого рода попытки делались австро-германскими властями, пока у них еще сохранялись надежды на решительное изменение царистской внешней политики России после революции. Но вскоре эти попытки прекратились, ибо надежды иссякли. И тогда в Германии снова наступило торжество чисто милитаристских настроений: пальмовая ветвь, запасенная канцлером, была вновь спрятана, и был

снова показан России, в полной готовности, заслуженный прусский «бронированный кулак».

Поражение русской демократии в начатой ею борьбе за мир уже определилось. Через три недели работы нового правительства империализм и шовинизм торжествовали по всей Европе. Передряга, произведенная русской революцией на арене кровавой борьбы разбойников за добычу, — начала явно рассасываться. Все отношения возвращались на свои прежние места.

* * *

Интернационалистские группы и честная социалистическая пресса не оставляли беззащитной революцию. Они яростно защищали дело пролетариата и атаковали союзных империалистов, коалицию, Керенского, советских лидеров. Но — под прикрытием почтенных министров-социалистов, под защитой Совета — все шансы данного момента были на стороне обнаглевшей буржуазии. В прессе того времени разыгралась жестокая борьба. Каждое выступление слева встречалось оглушительным воем и улюлюканьем шовинистов, берущих реванш. Началась вакханалия групповой и личной травли, «разоблачений», утроенной клеветы.

Бульварная печать снова вытащила на свет имя давно притихшего Стеклова и подачу им прошения царю о перемене фамилии; травля была так упорна, что Исп. Комитету пришлось поставить это дело на обсуждение и вынести Стеклову вотум «политического доверия»; заседание было неприятное, — особенную нетерпимость проявлял Чхеидзе, бывший

при всей своей искренности, рупором Церетели. Впрочем, вотум доверия, вынесенный значительным большинством Исп. Комитета, нимало не помог Стеклову; травля продолжалась...

Перебрала затем буржуазная пресса по очереди всех большевистских лидеров, обвиняя их во всевозможной уголовщине — Ленина, Зиновьева, Радека, Ганецкого и других. Трудно сказать, чему приходилось больше удивляться, — энергии и пронырливости газетчиков или готовности их столь беззаветно лжесвидетельствовать в угоду своим господам...

На М. Горького — по поводу письма Ризова и по другим поводам, в связи с «Новой Жизнью» и вне этой связи — выливались ежедневно целые ушаты грязи. Кроме большевиков все сколько-нибудь заметные интернационалисты прямо или косвенно обвинялись в услужении немцам или в сношениях с германскими властями. Я лично стал излюбленной мишенью «Речи» и назывался ею не иначе, как с эпитетом: «любезный немецкому сердцу» или «столь высоко ценимый немцами». Чуть ли не ежедневно я стал получать письма из столицы, провинции и армии; в одних были увещания или издевательства, в других вопросы, — «говори, сколько взял?»

В последних числах мая открылся поход и на секретаря циммервальдской конференции Роб. Гримма, приехавшего вместе с Мартовым в Россию; пока газеты занялись разоблачением его «двусмысленного» (социалистического) прошлого.

Для подогревания шовинистской атмосферы в это время чрезвычайно много сделали пребывавшие в России агенты Антанты: Тома, Вандервельде и Гендерсон. Первые двое нам хорошо знакомы. О Ген-

дерсоне мы в то время этого сказать не могли, так как его программная речь в Исп. Комитете открыла нам неожиданные горизонты на его... нельзя сказать наглость, скорее единственную в своем роде наивность. Если бы это было не так, он понял бы заранее, что с подобными речами ему делать нечего даже в нынешнем Исп. Комитете. Я описывал во второй книге, как весело смеялись там некогда выступлениям Чайковского, раз'яснявшего, что такое аннексия. Теперь английский министр Гендерсон выступил с изложением военной программы английской биржи — называя вещи своими именами, до освобождения от германского или турецкого ига Месопотамии, Африки, Константинополя, Армении. Для всех этих идеальных целей он требовал от русской революции пушечного мяса и фактически самозаклания... Гендерсон говорил два часа, но — увы! только сконфузил даже «мамелюков».

Вообще же эта почтенная тройка работала, не покладая рук, и оправдывала доверие пославших. Ухватывая дух времени и стараясь попадать в господствующий тон, эти господа агитировали и в печати, и на митингах, и в передних Мариинского и Таврического дворцов. Совершали экскурсии в Москву, шныряли среди действующей армии — по следам Керенского. При помощи офицерских групп они достигали не малых успехов, требуя наступления в России ради угля и железа Эльзас-Лотарингии. Было опять-таки не без шероховатостей, — но все же Тома в один прекрасный день опубликовал в газетах, что он, подобно Керенскому, «вывел благоприятные заключения»... Не у одного меня представление об этих трех министрах ассоциировалось с образом Шейлока.

В то же время появились в Петербурге представители и еще одной доблестной союзницы, Италии. В составе делегации, кажется, не было министров; но по части «социализма» приехавшие итальянские «патриоты», Артуро Лабриола, Джиованни Лерда, Орацио Раймондо и Инноченцо Каппа — были, пожалуй, еще более сомнительны, чем вышеназванная тройка. Вместе с тем, позиция Италии в мировой войне была наиболее оголенно-грабительской. Не имея за душой ничего, кроме втравливания нейтральной Италии в войну и борьбы с честными итальянскими социалистами, эти господа, насколько я помню, решились только однажды «представиться» Исп. Комитету и «приветствовали» революцию больше в министерских сферах. Но в дело сгущения шовинистской атмосферы, своими интервью и публичными речами, и они внесли посильную лепту.

Насколько далеко зашел этот процесс кристаллизации шовинистско-наступленских настроений в обывательских «вполне доверяющих» правительству кругах, видно хотя бы по такой резолюции офицерского с'езда, принятой после долгих воплей о наступлении:

> ...Время слов прошло, нужно действие, чтобы заставить правительство Германии, всегда стремившееся к порабощению народов, принять волю свободного русского народа. Ныне на фронте необходимо немедленное и решительное наступление, в котором залог победы (!). Весь русский народ должен слиться в едином мощном порыве и принудить правительство Германии и ее союзников принять волю России и ее союзников.

Язык полностью воскрешает первую половину марта, когда гремело «ура» Родзянке, и революционные полки провозглашали лозунги Милюкова. Эти

этапы казались пройденными, и слова — забытыми. Был период, когда массовые собрания, с советским представительством, так уже не говорили... После двухнедельной работы «коалиции» этот язык вспомнили опять. «Благословения» империалистской бойни красными знаменами непрерывно слышались то там, то сям... «Речь», урывая место у «разоблачений», выражала свое особенное удовольствие.

* * *

Как известно, существенным фактором мира в те времена считалась предполагаемая международная социалистическая конференция в Стокгольме. В течение всего мая с этой конференцией продолжалась прежняя канитель и неразбериха... Я писал, что после того, как работы по ее созыву уже велись «голландско-скандинавским комитетом», наш советский Исп. Комитет «решил взять инициативу ее созыва в свои руки» и постановил 25 апреля избрать для этого комиссию. Комиссия была избрана уже после образования коалиции. В нее вошли Чхеидзе, Церетели, Скобелев, Дан, Чернов, Гольденберг, Розанов, Мартов, Аксельрод и я. Состав, как видим, был очень почтенный, но разношерстный.

Комиссия, насколько помню, заседала дважды: В первый раз, 18-го мая, она долго обсуждала где, когда созвать и кого приглашать на конференцию. Выбор был между более нейтральной Христианией, которую предпочитали британские партии, и Стокгольмом, который имел ряд других преимуществ — и был утвержден. Срок созыва был назначен на 8 июля нов. стиля. Обсуждали также вопрос о партийном и советском представительстве России

на конференции: кажется, было постановлено половину голосов предоставить соглашательскому Совету.

Но, конечно, наиболее интересным был пункт о с о с т а в е конференции. Несмотря на довольно вялое настроение Мартова, под напором левого крыла, после некоторых препирательств, было постановлено — чтобы не превращать конференцию в чисто академическую говорильню, в междуклассовый парламент, не способный ни к боевым действиям, ни к простому соглашению перед лицом международного империализма, — приглашать на конференцию только те партии и группы, которые порвали с политикой национального единения и с империалистскими правительствами своих стран. Разрыв бургфридена был признан необходимым п р е д в а р и т е л ь н ы м у с л о в и е м участия в конференции. В противном случае конференция не только должна была оказаться бесплодной, но жестоко сыграла бы на руку милитаризму, еще раз втоптав в грязь самую идею рабочего интернационала.

Теперь я уже не помню и затрудняюсь сказать, каким собственно чудом могло пройти подобное постановление в органе тогдашнего Исп. Комитета. Вообще я, надо сказать, уделял тогда стокгольмской конференции очень немного внимания и был не в курсе ее дел. Отчасти она казалась мне делом безнадежным, отчасти второстепенным. Ни одна из многочисленных статей «Новой Жизни», посвященных стокгольмской конференции, не написана мной. Но все же я хорошо помню и решительно утверждаю, что в заседании 18 мая в Исп. Комитете было решено созвать конференцию на циммервальдских началах.

В результате, однако, вышло следующее. Для составления соответствующего воззвания к социалистам Европы была избрана подкомиссия, в которую попали одни члены «звездной палаты»; или — написать воззвание было «поручено президиуму». Когда же мы снова собрались через двое суток, чтобы утвердить воззвание, то ни малейшей циммервальдской «платформы» в нем не оказалось. Вместо разрыва со своими воюющими правительствами, как предварительного условия участия в конференции, в воззвании фигурировало только признание «главнейшей ее задачей соглашение между представителями социалистического пролетариата относительно политики национального единения».

Авторы при этом настаивали, что это, во-первых, в точности соответствует предыдущему постановлению комиссии, а во-вторых, что они самые настоящие циммервальдцы. При обсуждении воззвания в пленуме Исп. Комитета, после язвительных атак Троцкого и большевиков, произошли любопытные сцены. Церетели превзошел самого себя, доказывая, что его шовинистское слепое соглашательство есть настоящая «марксистская» классовая борьба, а циммервальдизм есть не что иное, как самое последовательное оборончество. Зарвавшись дальше, чем хотели его более спокойные товарищи, Церетели стал тут же, в заседании, допрашивать присутствовавшего секретаря «циммервальдца», Р. Гримма, и тут же истолковывать его слова в противоположном смысле — крайне сердясь на собственные неудачи... Троцкий, со своей стороны, тоже допрашивал Гримма — под углом циммервальдской левой. Было очень шумно. Но большинство

Исп. Комитета равнодушно внимало академическим спорам об истинном существе циммервальдской «секты». Мужицко-обывательскому, жадному до одной земли и «патриотически» настроенному большинству, все это было безразлично. И оно зевало, зная, что в конечном счете Церетели не выдаст, как бы он ни называл себя...

Воззвание о стокгольмской конференции было, конечно, принято и вызвало громы-молнии всей «большой печати». Мало того: с официальным публичным протестом выступила славная тройка, Тома, Вандервельде и Гендерсон. И не только выступила с протестом, но — можно сказать — потребовала у Исп. Комитета удовлетворения: подрыв идеи национального единения, заявляли они, совершенно не соответствует духу предыдущих переговоров. Отчасти агенты союзных правительств были в этом правы. И они снова забе́гали в Таврический дворец, уверяя, что союзники-де, с своей стороны, полностью выполняют свои обязательства по отношению к России и т. д.... «Речь» была в восторге от их энергичного «отпора» зеленым российским «пацифистам». Но все же воззвание осталось, как было.

Мало того: до сознания «звездной палаты» дошло некоторое неудобство (чтобы не сказать абсурдность) того положения, что Исп. Комитет, призывая других к отказу от «политики национального соглашения», сам вместе с тем является опорой буржуазии и несет на себе целиком всю ответственность за «общесоюзную» политику русского правительства. Положение было явно нелепым, противоречие вопиющим. Надо было либо отказаться от созыва конференции на платформе противо-империалист-

ского мира, либо свести концы с концами перед лицом европейских социалистов.

И «звездная палата», в дополнение к воззванию о конференции, вынуждена была обратиться к социалистической Европе со специальным раз'яснением причин и целей своего участия в коалиционном правительстве. Это «раз'яснение» звездной палаты последовало (в самых последних числах мая) в виде письма нашего международного отдела секретарю международного социалистического бюро, Гюисмансу. И гласило оно так: «I. Социалистические министры были посланы Советом в состав революционного Вр. Правительства с определенным мандатом — достигнуть всеобщего мира путем соглашения народов, а не затягивать империалистскую войну во имя освобождения наций путем оружия. 2. Исходной точкой участия социалистов в революционном правительстве являлось не прекращение классовой борьбы, а, наоборот, ее продолжение при помощи орудия политической власти»...

Прижатая к стене, поднятая на смех передовыми рабочими — «циммервальдская звездная палата» была вынуждена об'явить Европе то, что решительно противоречило всем заявлениям ее лидера в течение двух месяцев. «Борьба, а не соглашение» — это был лозунг «безответственной оппозиции», отвергнутый и освистанный уже давным давно. И вдруг...

Вся «большая пресса» завыла и заулюлюкала: «измена!». Обман и вовлечение в невыгодную сделку! Вторая революция!.. Но все это, разумеется, было несерьезно. Делающие панику, конечно, не верили в опасность и не видели ее. Ведь «раз'яснение» «звездной палаты» противоречило не только

словесным заявлениям и резолюциям; оно противоречило и всей практике, всей «линии» соглашательского Совета — прошлой, настоящей и будущей. Крики «караул!» имели свои цели; но буржуазные сферы знали отлично, что от слова не станется, а Церетели не выдаст.

Со стокгольмской конференцией во всей Европе продолжалась все та же неразбериха и канитель. Движение, несомненно, было очень сильное, и надежды на конференцию многими группами возлагались большие. Созыв Стокгольмской конференции во всей Европе стал основной осью борьбы за мир. А, стало быть, правящая буржуазия всех стран единым фронтом пошла в атаку на стокгольмскую конференцию. Ее старались сорвать и печатной агитацией, и закулисными ходами, и полицейскими насильственными мерами. Ложь, клевета, грязь, золото, шовинизм — по поводу «стокгольма» — растекались густыми волнами по всей Европе.

Французские социал-патриотические делегаты, Кашен, Мутэ и Лафон, исполнили обещание, данное ими Исп. Комитету, и, вернувшись домой, настояли на участии в конференции французского социал-шовинистского большинства. Такое постановление вынес Национальный Совет французской социалистической партии. В основе его лежало стремление удержать в известных рамках, удержать от радикальных шагов, удержать в сфере влияния Антанты могущественную русскую революцию. Для этого было необходимо пойти навстречу Совету, в руках которого была армия. Почтенный гражданин Кашен, агитируя среди социалистов, старался убедить и свою правящую буржуазию обходиться с Советом, как можно деликатнее и поменьше третировать его

всенародно, как шайку бродяг и немецких агентов, — что к тому же совсем не правда, так как во главе Совета ныне стоят вполне государственные и очень патриотически настроенные люди. Для убеждения во всем этом французской правящей клики, Кашен потребовал даже закрытого заседания палаты, — чтобы французские рабочие все же не очень возомнили. Но все это не помогло. Г-н Рибо, в открытом заседании, в речи, полной отвратительных выпадов, при одобрительном вое и гиканьи ставленников французской биржи, заявил совершенно откровенно, что французское меньшинство паспортов не получит, — да и вообще встречаться с немцами где-либо, кроме поля битвы — это нарушение «патриотического» долга и измена отечеству.

То же было и в Англии. Радикальная пресса убеждала, что было бы опасно для союзников воспрещать стокгольмскую конференцию, «не заменяя ее ничем, столь же удовлетворительным для русских». Но правительство решило, что все же будет спокойнее английских социалистов на конференцию не пускать... В двадцатых числах мая в Лидсе состоялась об'единенная конференция Независимой Рабочей и Британской Социалистической партий. Больше тысячи делегатов присоединились к «русской формуле» и постановили принять участие в конференции. Это была внушительная сила, и правительству «великой демократии», перед лицом возбужденного пролетариата, было неудобно просто «не пущать». Был избран скользкий путь. Были инсценированы «рабочие демонстрации протеста» против поездки Макдональда и других делегатов в Петербург — через Стокгольм. К делу был привлечен союз матросов, отказавшийся обслуживать пароход,

на котором отправлялся Макдональд в Россию. Поездка английского рабочего меньшинства была сорвана. А большинство отказалось само от участия в «интернационале с немцами».

То же было и повсюду в Европе. Одни партии — английское и французское меньшинства, германская независимая, чешская, венгерская, австрийская, итальянская — присоединялись к русским формулам и были готовы ехать на конференцию; но их не пускали и травили за это у себя на родине. Другие партии сами не желали ехать и принимали реальное участие в травле тех, кто стремился сесть за один стол с филистимлянами. Говоря nominatim, тут Альберт Тома, Шейдеман, Вандервельде, Плеханов, Гендерсон и Артуро Лабриола были вполне солидарны между собою. И вслед за своими правителями они норовили при каждом удобном случае об'являть стокгольмскую конференцию «чисто немецкой» или «чисто английской» затеей — в зависимости от того, какому правительству они служили сами.

В таком неприглядном виде являлся тогда миру смердящий труп второго Интернационала. Немудрено, что были партии, которые отказывались принять участие в «стокгольме» — не потому, что не желали встретиться с врагами своего отечества, а потому, что не видели смысла тянуть канитель с прислужниками буржуазии, с разными сомнительными «социалистами», со своими классовыми врагами. Это были в России — партия Ленина и группа Троцкого; в Германии это были сторонники Либкнехта и Розы Люксембург.

Под натиском единого буржуазного фронта, в смрадной шовинистской атмосфере, второй Интернационал капитулировал снова, и стокгольмская

конференция не состоялась. В Стокгольме происходили только полу-приватные совещания, а больше газетные интервью отдельных заезжих делегатов и делегаций, вращавшихся вокруг «голландско-скандинавского комитета».

Кроме того, в июне, в Стокгольме же состоялась так называемая «третья циммервальдская конференция». В ней приняли участие наши интернационалистские партии (от большевиков Радек, от меньшевиков-интернационалистов — Ерманский); согласился принять в ней участие и Совет, «рассматривая ее, как подготовительную к общей конференции, и поручая своему делегату остаться на ней лишь с информационными целями до того момента, как циммервальдская конференция решит противопоставить себя общей, созываемой Советом»...

Но все эти попытки восстановить рабочий интернационал и создать центр международной борьбы за мир — не имели сколько-нибудь существенных последствий. Второй Интернационал только лишний раз дискредитировал себя в глазах пролетариата и окончательно доказал, что его нельзя ни воскресить, ни гальванизировать [1]).

Между тем, вышеописанные жалкие попытки созвать никчемную стокгольмскую конференцию составляли весь актив Совета в его «борьбе за мир». Больше не было никаких шагов и никаких попыток. То-есть борьба за мир в России, со времени создания коалиции, была ликвидирована окончательно. А это означало тяжкое поражение всего дела мира в международном масштабе. Ибо, если

[1]) Повторяю, — писано летом 1920 г. Ныне II Интернационал, как известно, восстановлен, в качестве организации, враждебной современному революционному движению пролетариата.

победоносная российская демократия, если могучая революция отказалась от действительной и ею самой начатой борьбы за ликвидацию бойни, то это был крах самой идеи демократического мира в глазах пролетарских масс всех стран. И после всколыхнувшей Европу революционной бури на востоке — это было величайшим торжеством империализма и молоха войны. Теперь опасность для них была позади, впереди открывались довольно светлые горизонты.

Вступление советских лидеров в буржуазно-наступленское правительство (каковы бы ни были последующие словесные «раз'яснения»!) на европейской бирже было, конечно, учтено, как окончательный и формальный переход некогда «пацифистского» Совета к политике национального единения и поддержки империалистской войны. Санкция Советом наступления, в связи с полным отказом от каких-либо действительных актов борьбы за мир, полностью подтвердила такое заключение международной биржи. И та атака империализма на пролетариат и на русскую революцию, которая началась с первых чисел мая, тот рецидив шовинизма, которому мы тогда были свидетелями, — должны быть приняты коалицией всецело на свой счет. Именно такова была ее роль на главнейшем фронте русской революции, на фронте мира. На этом фронте решалась судьба революции. И здесь положение чрезвычайно ухудшилось при первых же шагах коалиции. Оно стало почти безнадежным, — и об'ективно, и в глазах революционных масс.

Между тем, несомненно вот что. На фронте мира решалась тогда не только судьба революции. На

нем тогда решалась и судьба «нации-государства». Фронт мира был тогда не только фронтом циммервальдцев и революционеров. Он был — вернее, должен был быть не менее своим и для каждого разумного патриота. Если бы тогда действительно велась Советом борьба за всеобщий мир, если бы Совет не остановился перед действительным разрывом с империализмом собственной и союзной буржуазии, если бы он ребром поставил вопрос о мире (так, как это через пять месяцев сделали большевики), — то «почетный» всеобщий мир был бы завоеван.

Тогда это было близко и возможно. Ибо миллионы штыков, еще способных к действительной защите революции, свободы, земли и воли, тогда гарантировали успех решительных и честных мирных предложений перед лицом всего мира. Тогда эти миллионы еще боеспособных штыков стояли на боевой линии против полчищ Вильгельма. Боеспособность их была удостоверена тогда же всеми Брусиловыми, Керенскими и Тома. А их способность быть гарантией мира так рекламировалась Львовыми, Терещенками и Церетели...

Когда престиж революции был еще велик, а миллионы штыков стояли на фронте, — тогда война не вынесла бы открытого разрыва русской революции с мировым империализмом; не вынесла бы прямых и честных предложений мира, брошенных на весь мир. Тогда они расшатали бы до конца воюющую Европу, и мировой империализм капитулировал бы перед натиском измученных, жаждущих мира пролетарских масс. Тогда нельзя было, безвредно для войны, проделать то, что большевики проделали через пять месяцев, став у власти.

Тогда всеобщий «почетный» мир, нужный патриотам, был близок и возможен. Но имущие власть империалисты и «социалисты» тогда не делали для мира ничего. А «миллионы штыков» готовились к наступлению ради преступных, грабительских целей.

Сделать для мира то, что было необходимо, Совет предоставил через пять месяцев большевикам — когда армии уже не было, а престиж революции был ликвидирован без остатка. Большевики тогда сделали то, что они могли и что обязаны были сделать. Но они уже не могли этим убить мировую бойню. Это было близко и возможно в мае—июне, но не в октябре—декабре. В мае—июне успех был обеспечен, — позднее он был невозможен.

Увы! если патриот в кавычках есть хищник и предатель, то без кавычек — обыватель и простец. Первый не хотел, второй не мог понять всего этого. Интернационалистов, боровшихся за мир, первый выдавал за немецких агентов, второй — приходил в искренное отчаяние от их легкомыслия и доктринерства. И он благоговел перед Керенским, звавшим в наступление, он радовался на коалицию, отдавал ей все свое доверие, предлагал ей всю «поддержку», не понимая, что она убивает не только величайшую революцию, но и его грошовую «национальную идею».

* * *

Посмотрим теперь, что делала, что дала коалиционная власть на других фронтах революции. Казалось бы, лучше чем с миром должно было обстоять дело с землей. Во-первых, этот фронт был более

локализирован. Во-вторых, во главе «зеленого» ведомства стоял авторитетнейший и «левый» глава эсеровской партии, «селянский министр» Чернов. В третьих, коалиция в течение всего мая работала, можно сказать, под надзором крестьянского всероссийского с'езда. В четвертых, требовалось «людьми земли» в области земельной политики очень немногое.

Требовалось прежде всего общее, принципиальное признание крестьянского «права на землю» — впредь до Учред. Собрания; а затем — все те же меры текущей земельной политики, какие были выдвинуты еще мартовским всероссийским «совещанием» Советов.

В правительственной декларации 6-го мая, как мы знаем, аграрная программа коалиции была формулирована весьма скромно, туманно, эзоповским языком. Но на это не обращали внимания. Хотя бы потому, что Чернов перед Советом и перед крестьянским с'ездом победоносно ручался за земельную политику, если не своей головой, то своим портфелем. Хорошо...

Прошло две недели. Со стороны селянского министерства по части принципов земельной реформы слышались попрежнему больше всего заявления, что все дело решит Учр. Собрание. А пока толковали о скором открытии Главного Земельного Комитета, который займется подготовкой материалов. Комитет открылся 19-го мая. Незадолго до того — опять-таки Гоц против своей воли обратился ко мне с запросом, согласен ли я быть представителем Исп. Комитета в этом учреждении. Это было опять-таки по настоянию Чернова. Я согласился. И «звездная палата» «провела» меня в Главный Зем. Комитет.

Знакомое мне здание министерства земледелия было роскошно разубрано красной материей и стягами «земля и воля!» В заседании был весь цвет старых и молодых российских «аграрников». Председательствовал назначенный старым кабинетом либеральный профессор Посников. С самого начала он сделал глухие заявления, что во взглядах на земельную реформу между нашими политическими партиями нет больших разногласий. А затем — он настаивал на «необходимости рассеять одно весьма распространенное заблуждение, будто... вся земля будет отнята у владельцев безвозмездно». «Комитет должен заявить, что этого не будет. Такой безвозмездный захват земли был бы несправедлив по существу и повел бы к величайшим экономическим потрясениям». В заключение же председатель верховного земельного учреждения предлагал признать очередной задачей «прекращение печальных эксцессов в деревне и создание спокойных условий для работы».

Взоры были обращены на Чернова. И министр земледелия произнес длиннейшую интересную речь, посвященную защите современной, революционной, неизбежной неурядицы, а также подробному изложению взглядов Чернышевского на аграрный вопрос... Ничего утешительного для людей земли министр не сказал. Но на это не обратили особого внимания: на другой же день должна была быть опубликована официальная и принципиальнейшая декларация Главного Зем. Комитета, которая должна была все раз'яснить. Хорошо...

На другой день долго спорили о том, кому же именно сделать этот «серьезнейший шаг»: опубликовать ли декларацию от имени Врем. Правительства

или от имени Гл. Зем. Комитета, который был не более, как представительным учреждением всякого рода правительственных и «частных» организаций. Левые говорили: подозрения крестьянства вполне основательны; недопустимо более «упорное молчание Вр. Правительства, которое до сих пор еще ни слова не сказало о будущей земельной реформе». Правые (в лице председателя, а также одного из товарищей министра) возражали: нет, вопрос слишком серьезен, чтобы решать его под влиянием посторонних соображений или угроз, — да и состав заседания недостаточно полон, чтобы решать в нем «такие кардинальные вопросы, как определение основной линии всей земельной политики»...

Декларация все-таки была опубликована. Но не от правительства, а от безответственного Гл. Зем. Комитета. Что же в ней заключалось? Решительно все старое, — об эксцессах, об Учр. Собрании и пр. Относительно же существа будущей реформы декларация гласила: «в основу должна быть положена та мысль, что все земли сельскохозяйственного назначения должны перейти в пользование трудового земледельческого населения»... Мысль хорошая. Но не на правах ли аренды должны перейти земли в пользование трудящихся?

В том же заседании «советский» товарищ министра, Вихляев, сообщил, что «на-днях» (это было 20-го мая) Чернов «ознакомит Вр. Правительство со своей аграрной программой и, возможно, что последствием этого будет правительственная декларация по земельному вопросу»... Не знаю, ознакомлял ли Чернов со своей программой Терещенко и Львова; но никакой декларации от имени правительства не последовало.

Сейчас все описанное кажется жалким и смехотворным. Но в то время подо всем этим кипели страсти, бушевала классовая борьба. И подозрительным, вернее отчаянным становилось не только настроение крестьянских низов; но даже и авксентьевская армия в Народном Доме, крестьянский с'езд, наполовину составленный из интеллигентских межеумков, неустанно опекаемый министрами-социалистами, — наконец, стал выходить из равновесия.

В заседании 25 мая всерос. крестьянский с'езд принял основную резолюцию по земельному вопросу. Требуемая земельная реформа была в ней характеризована как «переход всех земель в общее народное достояние для уравнительного трудового пользования безо всякого выкупа»... Не стану останавливаться на грандиозных очертаниях этой реформы, какой доселе еще не видел мир и которая была по плечу лишь величайшей революции; не стану комментировать и любопытный, знаменательный факт: упразднение всякой земельной собственности мелкими земельными собственниками. Стоит отметить другое: даже авксентьевские «люди земли» не выдержали до конца почтительного тона к правительству Львова-Чернова-Церетели. Резолюция с'езда — довольно «неуместно» и «бестактно» «передает в руки самого трудового населения не только окончательное решение земельного вопроса в Учр. Собрании, но и все дело подготовки этого решения в центре и на местах». А от Вр. Правительства с'езд требует опубликования «самой ясной и недвусмысленной декларации, которая показала бы всем и каждому, что в этом вопросе Вр. Правительство не позволит никому противостоять воле народа».

«Звездная палата» старательно отучала и, можно сказать, уже отучила массы говорить с правительством языком требований: при коалиции полагалось уже одно только выражение восторженных чувств. Но Чернов видел себя вынужденным мобилизовать своих мужиков для некоторого «давления». Чернов вообще, несомненно, боролся внутри правительства за земельную реформу. Но под прикрытием советского большинства и «звездной палаты» в ее целом — решительно не имели успеха ни «давление» с'езда, ни тайно-дипломатическая борьба селянского министра.

Все доселе сказанное относится к общим основам земельной реформы, которую прямо и решительно, в сознании своей силы, саботировало новое правительство. Но совершенно также обстояло дело и с текущей земельной политикой. В центре ее стоял, конечно, все тот же вопрос о воспрещении земельных сделок...

Немедленно по вступлении на пост министра, Чернов, эта живая гарантия истинно крестьянской политики, решительно взялся за это дело. Уже через каких-нибудь 4—5 дней он составил проект соответствующего декрета в 10—15 строк и опубликовал его в газетах. Проект — собственно переписанный с резолюции советского совещания, принятой почти два месяца назад — был внесен в коалиционный кабинет. Но дальше ничего не последовало: мы уже знаем, какие «существенные возражения» вызывал этот проект в либеральных сферах. И в декларации Гл. Зем. Комитета на этот счет не было ни намека.

Подождав еще две недели, Чернов 24 мая вынес дело о земельных сделках на всенародное усмотре-

ние крестьянского с'езда. В сущности, Чернов, потерпев поражение в правительстве, апеллировал к крестьянскому с'езду. Но, будучи дипломатом, не лыком шитым, он избрал форму «отчета» — о том, «что произошло нового в области земельного вопроса». Нового произошло то, что Чернов, оказывается, признал «самым основным вопрос о сохранении земельного запаса, распоряжение которым будет принадлежать Учр. Собранию». А потому, оказывается, Чернов «проектирует проведение через Вр. Правительство законоположения, касающегося купли» и т. д.... Газеты сообщают, что по окончании речи Чернову была устроена бурная овация, что его подняли на руки, качали и отовсюду раздавались крики «да здравствует министр-социалист!»...

Но даже и это все не помогло... Чернов «проектировал», а его товарищ по партии и по министерству, г-н Переверзев, не дожидаясь суждения всего правительства, взял да и распорядился о том, чтобы никаких ограничений земельных сделок на местах не чинили. Об этом было сообщено на крестьянском с'езде 26 мая, и мужичков взорвало. Поднялась кутерьма. Переверзева (забыв о безусловном доверии, о полной поддержке) требовали к ответу. Появившийся в зале Авксентьев, сделав хорошую мину при совсем скверной игре, насилу успокоил страсти. Он уверил собрание, что «приказ Переверзева был издан им частным образом» (!), а Временное Правительство «сейчас издает декрет, запрещающий навсегда мобилизацию земельной собственности, в виду чего министр юстиции счел возможным отменить свое распоряжение». Но это была самая элементарная неправда. Мужички, соб-

ственно, и не поверили и... избрали делегацию для переговоров с «министром-социалистом» Переверзевым.

Никакого декрета о земельных сделках новое правительство так и не издало. Газеты, как бы в насмешку над Черновым, над крестьянством, надо всей приниженной революцией, снова сообщали, что министр земледелия «проектирует». Но этот слабый намек на обещание серьезно взяться за земельную реформу так и не был вырван у коалиции до самого ее развала.

Крестьянский же с'езд, в своей аграрной резолюции, был очень радикален и по части текущей земельной политики. Кроме категорического требования воспрещения земельных сделок, он признал необходимым «передать все земли без исключения в ведение земельных комитетов с предоставлением им права определения порядка обработки, обсеменения, уборки полей, укоса трав и т. д.» Это, как мы знаем, выходило далеко за пределы существующего положения о земельных комитетах. А затем С'езд признал необходимым «самые решительные меры по реквизиции и всестороннему использованию на общественных и кооперативных началах всех сельскохозяйственных машин и орудий». Это уже вообще подрывало все основы «государственности» и было абсолютно неприемлемо для кабинета Львова. «Речь» по поводу аграрной резолюции с'езда напечатала паническую передовицу...

Но из всех этих постановлений, разумеется, ничего не вышло. И причины этого совершенно ясны. Противоречие между пред'являемыми требованиями и безусловной поддержкой враждебного им правительства было явно непримиримо. У крестьянского

с'езда правая рука не знала, что делает левая. Он, — как верная Пенелопа делала по своей хитрости — распускал сегодня то, что соткал вчера — по недостатку хитрости.

Перед своим закрытием, 28 мая, крестьянский С'езд избрал для постоянного функционирования Исп. Комитет Всерос. Совета Кр. Деп. В это учреждение вошло около 200 человек. И понятно, что все они сплошь (кажется, без всякого исключения) составляли крайний правый национал-демократический фланг, сливавшийся с доподлинной буржуазией. Во главе крестьянского Исп. Комитета стояли именитые, но мертвые для дела души: Керенский, Брешковская, Вера Фигнер, Чайковский. Затем, во главе с председателем Авксентьевым и с Бунаковым шла мелкобуржуазная интеллигентская масса: писатели, аграрники, депутаты-трудовики, кооператоры-«народники». А в хвосте тянулись сами «люди земли» — в виде хозяйственных мужиков, лавочников и прочих «верхов» деревни. Среди этой публики было не мало недавних черносотенцев (ныне эсеров), иногда с достаточной откровенностью выражавшихся по части «жидов».

Во время будущих совместных заседаний крестьянский Исп. Комитет примыкал непосредственно к крайней правой центрального Исп. Комитета С. Р. и С. Д. и продолжал эту правую дальше — до правого фланга старой Гос. Думы. Но сейчас роль всей этой массы сводилась к одному: к демонстрациям полного доверия Вр. Правительству, к безоговорочной поддержке коалиции и к борьбе с левыми, с пролетарскими, с интернационалистскими элементами Совета. Вся эта масса сейчас проявляла себя только в качестве прочного, цементированного фун-

дамента «звездной палаты». Для этого совсем не требовалось ни социализма, ни преданности революции, ни разумения, ни направления. Чтобы играть свою почетную роль пьедестала для советских лидеров, требовалась только жадность к земле, которой манила и притягивала «звездная палата», и ненависть к разрушителям, к германским услужникам, — которая сплачивала все «государственные» элементы и позволяла советским лидерам тащить всю эту массу к стопам Вр. Правительства.

В общем на фронте земли мы видим то же, что и на фронте мира. Коалиция и здесь не только ничего не дала, но внесла очень быстро совершенно явное и резкое ухудшение. Шесть министров-социалистов, из коих было четыре землелюбовых народника, не вырвали у Львова-Терещенки ни самого пустякового дела, ни даже приятного слова. Циммервальдец Чернов, глава «самой большой партии», живой залог «социализации земли», оказался бесплоден и беспомощен, как малый ребенок. Это была капитуляция. Это был симптом бронևвого укрепления буржуазных, реакционных, контр-революционных позиций. Это было падение революции и беспощадная растрата ее сил...

Рабочие и крестьянские массы, в глазах которых земля, как и мир, ассимилировалась с самой сущностью революции, приходили в отчаяние. «Если наши собственные товарищи-социалисты», посланные в правительство, ничего не изменяют, то... Но об этом мы поговорим потом. Взглянем на третий основной фронт революции, на дело о хлебе.

* * *

Хлебная монополия, как мы знаем, была пока что только на бумаге. Взяться за нее всерьез все еще собирались. Образование коалиционного правительства тут не внесло ничего нового. На первых порах продовольственное дело попрежнему, согласно условию коалиции, осталось в руках кадета Шингарева. «Министр-социалист» Пешехонов вступил в свою должность только 26 мая и, вступая в должность, провозгласил свой девиз: побольше осторожности, поменьше ломки. Это было через три недели работы коалиции, когда и без слов было всем ясно, что новое правительство не способно дать ни мира, ни земли, ни хлеба. «Программа» Пешехонова соответствовала всей ситуации, соответствовала словам и делам всех его почтенных коллег.

Хлебной монополии на деле еще не было. Но кампания против нее велась ожесточенно. Теоретическая «критика» шла с одной стороны, практический саботаж — с другой. Прославленное своим радикализмом и закрытое царскими властями «Вольное Экономическое Общество» действовало в полном согласии с союзами хлеботорговцев и мукомолов.

А между тем продовольственные дела шли все хуже. И 20-го мая почувствовали это: в газетах и на стенах появились об'явления центрального продовольственного комитета, воспрещавшие выпекать французские булки и всякие печенья кроме ситного и ржаного хлеба. Председатель Громан ссылался на отсутствие масла, сахара и муки. Дело становилось серьезно... С тех пор, с первых шагов коалиции, мы в потребляющих северных центрах не видели белого хлеба. Это нововведение каждый испытывал на себе. Каждый переносил его без особого удовольствия, и каждый толковал его по своему.

В десятых числах мая в Петербурге состоялся областной продовольственный с'езд; в 20-ых числах в Москве собрался другой. Говорили много. Шингарев и его сотрудники, надо сказать, отнюдь не страдали казенным оптимизмом. Их публичные выступления были сплошными жалобами и ламентациями. Они обвиняли общее положение дел, растущую анархию, левые партии, обвиняли крестьянство. У представителей власти в продовольственном деле «опускались руки».

Но не в пример другим «ведомствам», министерство продовольствия встречало резкий организованный отпор — не только со стороны советской оппозиции, но и со стороны «официальных» представителей демократии. Я уже писал, что наши советские экономисты, группировавшиеся около «экономического отдела» при Исп. Комитете, были с давних пор настроены очень радикально. Политически они были в большинстве «лойяльны» звездной палате, и, стало быть, Мариинскому дворцу. Но их экономические тенденции шли так далеко, что явно отбрасывали их в лагерь «безответственной» оппозиции. Исходя из непреложных фактов, не видных высоким политикам, руководствуясь деловыми соображениями, — они отстаивали самую решительную экономическую программу, явно непосильную для коалиции. Советские диктаторы, поэтому, держали их в черном теле, насколько могли зажимали им рот, саботировали их требования, клали под сукно их проекты и отдали экономический отдел под надзор верных людей.

Но экономисты все же представляли Совет в правительственных экономических органах. И во главе с Громаном они вели ожесточенную борьбу, вели

непрерывные атаки на министерство продовольствия, в частности.

Борьба велась вокруг все одного и того же непреложного центра: вокруг организации народного хозяйства и труда. Хлебная монополия саботировалась. Но она вообще была бессильна решить продовольственный вопрос при обесценении денег, при отсутствии у государства необходимого эквивалента для обмена на хлеб. Дело хлебной монополии упиралось в положение промышленности и в ее регулирование государством. Вопрос о хлебе стал перед революцией, как вопрос о промышленности и ее судьбе. И атаки советских экономистов били главным образом в эту точку.

Но на защиту «частной инициативы», на защиту «независимой промышленности» ополчилась вся плутократия. И, конечно, не могло быть и речи о том, чтобы коалиционное правительство здесь пошло на уступки. «Регулирование промышленности» саботировалось еще более решительно, чем хлебная монополия. Правда, связь продовольственного дела с организацией всего народного хозяйства была так очевидна, так хорошо выяснена даже буржуазными авторитетами (и, в частности, Гендерсоном в заседании Вр. Правительства), так освящена опытами воюющей Европы, — что об'явить открытую войну регулированию промышленности «коалиция» не решалась. Требованиям Громана Шингарев в «теории» противопоставлял только невнятные замечания, вроде: «это не точка зрения Вр. Правительства»... И в Мариинском дворце даже делали вид, что власть идет навстречу требованиям демократии. Но на практике саботаж проводился с величайшим упорством и последовательностью.

В одном из заседаний центр. продов. комитета Шингарев сообщил (в ответ на требование образовать орган регулирования промышленности), что он создал некую «комиссию по разработке вопроса о снабжении деревни некоторыми продуктами индустрии». О работе такой комиссии в дальнейшем ничего, впрочем, не было слышно. Затем — опять-таки для отвода глаз — состоялось «совещание трех министров», Скобелева, Коновалова и Терещенки. Говорили о регулировании промышленности, о финансах, об отношениях труда и капитала. Постановили: к следующему заседанию всем трем министрам «разработать детальные проекты». Но следующее заседание не состоялось.

А пока тянулась эта канитель, биржевики, синдикатчики и их газеты делали свое дело. Через несколько дней после образования коалиции началась кампания о «гибели промышленности». На кадетском с'езде бывший министр в кабинете Витте, г. Кутлер, «вскрыл потрясающую картину положения отечественной индустрии». Промышленность уже разрушена и разрушила ее, конечно, не война, а революция. Старый механизм уничтожен сменой директоров, мастеров и всякой администрации. Производительность труда пала на 20—40 и больше процентов. Анархия и разложение хозяйственных организмов растут с каждым днем. Главное же — совершенно непомерные требования рабочих, «делающих невозможным ведение предприятия». «Пройдет две-три недели, и фабрики и заводы начнут закрываться один за другим, — комментировала передовица «Речи» (13 мая). Вот тот ужас, который надвигается на нас в ту минуту, когда, казалось бы, дух армии начинает несколько оправляться...

Что скажет армия, что скажет крестьянство, когда они разберутся в смысле требований, пред'являемых рабочими? Ведь они требуют, чтобы государство за счет остального населения содержало два-три миллиона рабочих, увеличив каждому из них плату на 200 руб. в месяц. Мы быстро катимся в пропасть. Пора одуматься и остановиться».

Можно представить, какую симфонию загремела остальная, более легковесная и менее «ответственная» пресса, если такой внушительный тон задала солидная, ученая «Речь». «Все остальное население» стали наперебой натравливать на рабочих. А рабочих на все лады стали пугать закрытием всех фабрик и заводов. Локауты уже начались. Обывательская паника и обывательская ненависть к рабочим росла с каждым днем.

А между тем было всякому известно, что для ограничения чудовищных военных прибылей все еще, с начала революции, не было сделано ни шагу. Уровень же рабочей жизни падал с каждым днем все ниже и ниже, несмотря на некоторое повышение денежной заработной платы...

У премьера Львова 11-го мая состоялось большое заседание, посвященное экономической программе. Собралось оно не по требованию министров-социалистов, а именно для их вразумления — при помощи Кутлера и других тузов плутократии. Промышленники нападали; министры-социалисты защищались. Они доказывали, что положение рабочих очень тяжело, а промышленники за войну обогащались чрезвычайно. Министры-социалисты призывали промышленников к жертвам; а промышленники, об'являя свою к ним полную готовность, замечали, что меры вроде ограничения сверх-прибыли, увели-

чения подоходного налога и регулирования промышленности... «осуществимы в более или менее отдаленном будущем, настоящее же положение может послужить предметным уроком, ибо крах предприятий поведет к ухудшению положения рабочих и заставит их умерить свои требования»...

Видя такой патриотизм с обеих сторон, председатель князь Львов в заключение выразил надежду, что проектируемые экономические мероприятия Вр. Правительства будут иметь успех (!!!). Но опять-таки никакого дела за всеми этими словами не последовало. Промышленники, нападая, науськивая и кусая с разных сторон, защищались отлично, единым фронтом.

* * *

У демократии не было единого фронта. Советский экономический отдел, исходя из продовольственного кризиса, уже давно обращал внимание Исп. Комитета на саботаж «регулирования промышленности». Он требовал, чтобы Исп. Комитет вмешался немедленно, поставив дело на официальную почву. Он настаивал на немедленном утверждении выработанной им экономической программы — в качестве решительной директивы для министров-социалистов и для всей «коалиции». Но президиум не спешил. Министры-социалисты естественно предпочитали дипломатию в Мариинском дворце и избегали давления Таврического. После энергичных настояний программа экономического отдела была поставлена на повестку 12 мая. Но за множеством «более важных» дел была отложена. Наконец, 16-го числа состоялся, в виде исключения, «большой» парламентский день,

и экономическая программа была официально провозглашена Исп. Комитетом.

Заседание, как всегда в этот период, не было особенно многолюдно — несмотря на присутствие двух десятков экономистов. Состав же заседания был, пожалуй, благоприятен для левых, которых все еще насчитывалось больше трети. Сама «звездная палата» не была представлена целиком. Чернова заведомо не было, Дана не помню. Церетели явился не во-время или ушел раньше времени. «Звездная палата», привыкшая к устойчивому большинству, надеялась, что будет достаточно и одного первоклассного экономиста; а потому от имени «звездной палаты» в этом заседании действовал, главным образом, Скобелев. Он произносил обширные речи и выражал глубокие мысли насчет того, что наша революция — буржуазная; а кто думает иначе, тому не мешает добровольно отправиться в детский сад...

Кроме Скобелева выступал присяжный экономист «звездной палаты», известный нам профессор Чернышев. Но большого успеха не имел и он. Экономисты же наступали дружно, сплотившись со всей оппозицией. И на их стороне был целый ряд преимуществ. Во-первых — жизненная практика, знание дела, факты и цифры; во-вторых — авторитет официальных советских экономистов, на которых зиждилась доселе вся советская работа в правительственных экономических учреждениях; в-третьих, на стороне экономистов было то, что «звездная палата» не могла противопоставить их аргументам решительно ничего членораздельного — политически и экономически. Повторяю — дело говорило само за себя; самое радикальное вмешательство государства в народно-хозяйственную жизнь было освящено тео-

рией и практикой всей Европы; никаких иных выходов и путей никто, разумеется, предложить не мог. И выступления столь солидных людей, как Громан, Базаров, Фалькнер-Смит, указывавших на крайние опасности для всей страны, призывавших к самым решительным мерам, — не могли не оказать своего действия даже на многих «мамелюков».

Программа экономического отдела говорила не только о том, что надо осуществить, но и о том, как надо осуществлять. И все это на самом деле звучало очень решительно. Наиболее вдумчивые представители правого большинства, не возражая по существу дела, устремили свое внимание именно на то, что же собственно должно выйти из принятия Исп. Комитетом предложенной ему программы.

— Нам предлагают, — говорил Богданов, — принять эту программу в качестве обязательной директивы для наших товарищей, находящихся в правительстве. Но имеем ли мы действительные средства заставить данное правительство выполнять ее?.. Ведь программа может быть неприемлема для всего министерства. И если неуклонно выполнять ее, то мы снова легко можем очутиться перед политической проблемой. Всем ли ясны возможные последствия предпринимаемого шага?

Я возражал Богданову — при одобрении оппозиции, экономистов и даже кое-кого из большинства.

— Что-нибудь одно, — говорил я, — или мы признаем, что данная экономическая программа имеет решающее значение для хода событий, или мы отрицаем это. В прениях по существу дела все оппоненты справа оказались явно бессильны против доводов экономистов. И дилемма ныне перенесена в

новую плоскость: либо мы с революцией шутим шутки, либо мы на деле хотим служить ей. Тогда для такой цели мы должны идти на любые средства. Если «коалиция» саботирует нашу экономическую программу, то мы должны заставить выполнять ее. Если данное правительство и впредь откажется от этого, — не будем уклоняться ни от каких политических последствий и проблем. Мы обязаны заявить сейчас: эта программа должна быть выполнена. И мы должны поддержать это заявление, должны обеспечить выполнение программы всеми силами, имеющимися в распоряжении Совета.

Программа экономического отдела была принята (каким большинством — не помню). В Совете был сделан существенный шаг вперед. Документ, вотированный Исп. Комитетом, на мой взгляд, весьма интересен, и я приведу его почти полностью. Он гласит:

Коалиционное Вр. Правительство, как выразитель мысли и воли революционной демократии, не может не поставить перед собой задачи, выдвинутой войной и ее последствиями, задачи планомерной организации народного хозяйства и труда, вследствие невыполнения которой пал старый режим. Выполнение этих задач должно идти двумя параллельными путями: 1) созданием органов, которые бы выясняли хозяйственное положение во всем его целом, и 2) созданием исполнительных органов, которые осуществили бы планомерное регулирование хозяйственной жизни. Такое регулирование должно осуществляться не ведомственной изолированной и потому обреченной на неуспех работой, а целостной системой мероприятий, проводимых под руководством об'единенного государственного органа.

Совещательные органы, в центре и на местах, должны состоять из представителей советских, классовых и научных организаций, «при участии правительственных учреждений». Центральный исполнительный орган должен состоять при Вр. Правительстве.

Вся хозяйственная деятельность по производству, заготовке и распределению продуктов для армии и населения, как монополизированных, так и подчиненных регламентации, должна быть сосредоточена в комитете снабжения, в состав которого входит и министр продовольствия, и все те органы, которые ведают заготовкой и распределением продуктов... От анархического производства, от частных синдикатов настало время перейти к работе народно-хозяйственного организма по заданию государства, под его контролем и даже прямым руководством. Частный предприниматель и торговец должен быть ограничен в сфере извлечения прибыли и самого направления своей частно-хозяйственной деятельности. Для многих отраслей промышленности назрело время для торговой государственной монополии (хлеб, мясо, соль, кожа), для других условия созрели для образования регулируемых государством трестов (уголь, нефть, металл, сахар, бумага) и, наконец, почти для всех отраслей промышленности современные условия требуют регулирующего участия государства в распределении сырья и вырабатываемых продуктов, а также фиксации цен...

... Одновременно с этим следует поставить под контроль государственной-общественной власти все кредитные учреждения... Все сделки с иностранной валютой должны находиться под контролем государства. Всякие эмиссии акций и облигаций торгово-промышленных обществ могут быть допускаемы только с разрешения центрального экономического органа.

Развив далее соответствующую финансовую программу, которую увенчивает принудительный заем, Исп. Комитет переходит к мерам организации труда и намечает их в таком виде:

Государственное регулирование труда при развитой системе экономической политики должно не только защищать интересы трудящихся, но и преследовать задачу рационального распределения рабочих сил страны. Министерство труда должно быть тесно связано с мобилизационным отделом военного министерства, и все произведенные укомплектования армии должны быть пересмотрены, как с точки зрения состава отвлеченных на фронт сил, так даже их количества. Вместе

с тем следует пересмотреть все списки освобожденных от призыва в армию, с целью привлечения всех уклоняющихся и принять самые решительные меры борьбы с тунеядством вплоть до введения трудовой повинности.

Советское большинство уступило, не зная, что возразить; но, конечно, оно перепугалось. И перепугались не только верноподданные «звездной палаты», не только благоговеющие перед именем буржуазии. Смутились и иные левые, голосовавшие за программу экономистов. Иные меньшевики-интернационалисты испытывали род паники и кричали, что это «вторая революция», что принятая программа стóит всего совершенного в марте переворота...

Впадать в панику не следовало, во всяком случае. Что же касается оценки программы, то — надо сказать — ее разделяли большевики. Программу Исп. Комитета они прямо называли большевистской... «Программа великолепна, — писала «Правда», — и контроль, и огосударствление трестов, и борьба со спекуляцией, и трудовая повинность, — помилуйте, да чем же это отличается от «ужасного» большевизма? чего же больше хотели «ужасные» большевики?... Вот в том-то и гвоздь, вот в том-то и суть, вот этого-то и не хотят упорно понять мещане и филистеры всех цветов: программу «ужасного» большевизма приходится признать, ибо иной программы и выхода из действительно грозящего ужасного краха быть не может. Но... но капиталисты признают эту программу для того, чтобы ее не исполнить. А народники и меньшевики «доверяют» капиталистам и учат этому гибельному доверию народ. В этом вся суть всего политического положения»...

Министериабельным народникам и меньшевикам теперь ничего не оставалось делать, как «дипломатически» понуждать Вр. Правительство к выполнению обязательной для них программы. А Вр. Правительству приходилось попрежнему давать обещания, чтобы их не исполнять. Советское большинство старалось всячески облегчить Львову, Коновалову и Терещенке их задачу. Право-советские ораторы и промежуточные газеты утешали и успокаивали буржуазию совершенно независимо от требований здравого смысла. В ответ на вопли о ниспровержении всех устоев народного хозяйства, они твердили, что это совсем не социализм, что для буржуазии это совсем не вредно и даже не безвыгодно. Но даже и такие аргументы не действовали. Плутократия была склонна думать, что правы не демократические межеумки с их либеральной тактикой убеждения, а правы в оценке экономической советской программы именно большевики.

Да и в самом деле, — хорошо было министрам-социалистам подслащивать пилюлю ссылками на Европу! Ведь в Европе, а особенно в «классической стране военной организации хозяйства», в Германии, царствовала диктатура капиталистов-магнатов и юнкеров, забронированная послушной им несокрушимой военной силой. Там и огосударствление трестов, и трудовая повинность, вызванные потребностями войны, служили только капиталу и империализму. Там, в Европе, такие «эксперименты с промышленностью», будучи необходимыми, были безопасны и ровно ничего не ниспровергали.

У нас совсем другое дело. У нас **политические** отношения чуть-чуть не стали на голову, — как никогда и нигде в истории. Никакой государ-

ственной власти, никакой реальной силы не было в руках плутократии. Вся политическая сила и власть была именно в руках тех, кто провозгласил экономическую программу 16 мая. Вожди сложили эту власть к ногам буржуазии, они пользовались ею постольку, поскольку им добровольно разрешали имущие классы. Но все же власть была в руках Совета, организации рабочих и крестьян.

Сегодня массы шли за этими вождями, завтра могли пойти за другими. И всемогущий Совет не сегодня-завтра мог превратиться в орудие действительной диктатуры демократии. Для этого было нужно немного: хотя бы только то, чтобы массы потеряли «доверие» к капиталистам и усвоили, что в «коалиции» именно капиталисты вершат свою политику. Тогда рабочие и крестьяне, в лице Совета, ликвидируют самую тень политического господства капиталистов и превратят государство в орудие своего собственного классового господства. Это достигалось простым изменением настроения тех же самых масс в том же самом Совете...

И поэтому фактически сложившийся у нас государственный строй уже тогда совершенно не годился для политической диктатуры имущих классов. И поэтому капитал, не в пример Европе, неизбежно должен был защищать каждую пядь своего экономического господства. В условиях нашей революции экономическая программа Совета, не в пример Европе, ниспровергала систему капитализма. Большевики говорили сущую правду... И, если дело дойдет до седьмой или восьмой книги моих «записок», то в эпоху пролетарской диктатуры мы об этой программе вспомним не раз.

* * *

Успокоения советских дипломатов не помогли. И результаты 16 мая сейчас же наглядно сказались...

В составе Вр. Правительства со 2-го марта находился мало знакомый нам министр торговли и промышленности А. И. Коновалов. В Гос. Думе он был «прогрессистом», потом в первом революционном кабинете принадлежал к «левой семерке», был связан личными отношениями с Керенским, всегда проявлял большую мягкость, корректность и благожелательность к демократическим и рабочим организациям, был лично очень привлекательным человеком и считался, по справедливости, одним из самых лучших представителей высшей промышленной аристократии. Его попытки легализовать наше профессиональное движение еще при старом порядке и его эксперименты с Гвоздевым в старом «военно-промышленном комитете» были вполне искренни. Его стремления добиться «сотрудничества классов», его соглашательская политика по адресу Совета — вытекали отнюдь не из голой корысти, а из того понимания сущности «общественного уклада», какое было ему доступно.

И вот именно этот не боевой и не колючий человек, немедленно после 16 мая, показал когти, а затем тут же сделал смелую попытку «взорвать» или, по крайней мере, сильно встряхнуть правительство, чтобы дать толчек всей революции и перевести ее в новое русло... Программа 16 мая больше всего касалась именно министра торговли и промышленности. А Коновалов, при всех перечисленных его свойствах, являлся с ног до головы сыном своего класса. И он не выдержал, — не выдержал давления революции, выступившей с «великолепной» программой «ужасных» большевиков.

На другой же день, 17 мая, на с'езде «военно-промышленных комитетов» в Москве, Коновалов, в несвойственном ему стиле, произнес знаменательную речь, полную обвинений, угроз и своего рода демагогии. Промышленники устроили министру восторженную овацию. А еще через сутки, Коновалов отправил премьеру Львову письмо с требованием отставки — «в виду невозможности работать плодотворно при создавшихся условиях»...

В чем дело? Министр торговли отнюдь «не расходится с министром труда по большинству вопросов». Он одобряет и проекты финансовых реформ, сводящихся к обложению промышленников; он «не считает для себя неприемлемыми и требования демократии в области взаимоотношения труда и капитала». Но он «в то же время скептически относится к той форме общественно-государственного контроля и к тому способу регулирования производства, который ныне предлагают».

Вот в чем дело! Коновалов не выдержал напора революции, как некогда не выдержал его Гучков. И само собой разумеется, что тут дело было не в лицах. Как первое министерство революции не выдержало апрельских дней и получило непоправимую трещину с бегством Гучкова, так и теперь коалиционное правительство, правительство «полного доверия и безусловной поддержки» — не выдержало непреложной программы хлеба, воплощенной в резолюции Исп. Комитета 16 мая. Бегство Коновалова образовало в коалиции также непоправимую брешь. И, конечно, оно имело тот высоко-политический, принципиальный смысл, который был формулирован и самим Коноваловым. «Не видя возможности проявления правительством полноты власти, — ска-

зал он, мотивируя свою отставку, — я считаю необходимым очистить путь, так как полагаю, что следует сделать следующий этап революции и дойти до однородного социалистического министерства».

В лице лучшего, левейшего, благожелательнейшего Коновалова последний слой буржуазии, последняя внедемократическая «живая сила страны» ныне уходила от революции, порывала с демократией и перекочевывала открыто и всенародно в контр-революционный лагерь. Коалиция распадалась. Гнившая на корню при своем рождении, она изжила себя за две недели бесславной жизни. И уже теперь, через две недели, поддержать жизнь коалиции можно было только специальными усилиями, только искусственными мерами. Собственно, уже отныне она могла существовать только в виде гальванизированного трупа.

* * *

Непреложная программа революции и стихийный об'ективный ход ее — тащили против воли мелкобуржуазную демократию дальше, чем она хотела. Это породило гибельную червоточину, роковую трещину в «правящем» блоке крупной и мелкой буржуазии, создавшемся под флагом внешней опасности. Об'ективная необходимость и стихийный ход вещей внесли непоправимый разлад между союзниками, формально сочетавшимися две недели тому назад. Действительного брака между общественными классами — ныне, с отколом лево-буржуазных групп — уже не существовало. Оставался именно «законный» брак, формальные узы между вождями классов при попустительстве масс. И

эта формальная связь еще поддерживалась несколько месяцев искусственными мерами, усилиями мелкобуржуазных вождей, ради дрянной, трусливой идейки...

Отныне «честная коалиция» превратилась в метерлинковскую «синюю птицу», в неуловимую величину, перманентно искомую вождями при равнодушии или презрении народных масс. И отныне бесконечные жертвы посыпались на алтарь самой идеи коалиции со стороны советского большинства, вождей мелкобуржуазной демократии, отважно борющихся против об'ективной логики событий, против стихийного хода вещей, против неустранимых требований революции, против здравого смысла — ради прежней «линии» капитуляции перед крупной буржуазией.

Преемника Коновалову сразу не нашлось. Несколько кандидатов из биржевых тузов и либеральных профессоров поспешили уклониться. Пост оставался вакантным несколько недель, несмотря на самые энергичные поиски министра. И не мудрено. Коновалов был «лучший» и левейший. Если он не выдержал давления, то ясно, что ставшие на очередь задачи были не под силу и любому буржуазному министру. Между тем поиски происходили именно в высоких финансово-промышленных сферах. Министра от демократии, хотя бы самого умеренного, министра-социалиста, хотя бы самого маргаринового, боялось, как огня, большинство Мариинского дворца, а пуще — большинство Таврического.

А, стало быть, оставался один путь — попытка замазать и положить под сукно обязательную программу хлеба. Т. е. оставался путь дальнейшей борьбы против революции, против об'ективного хода

вещей, против насущных интересов страны, против здравого смысла. Оставался путь дальнейшей капитуляции перед волей плутократии. И вот — пока в Москве на продовольственном с'езде Громан победоносно вел борьбу за организацию хозяйства и труда, пока там принимались резолюции, аналогичные программе 16 мая, — в это время в Петербурге, в центре революции, в Исп. Комитете происходили такие сцены.

В жаркую пору днем, вяло, тягуче, сонно шло заседание. Оно было так малолюдно, что, может быть, это был не пленум, а пресловутое «однородное бюро». Было слышно, как по залу летали мухи. Церетели тихо и скучно рассказывал о безуспешных поисках министра торговли и жаловался, и плакался на затруднения там и сям. Все как-то помалкивали, когда он кончил «отчет», помалкивали от скуки, от затруднений, от сочувствия. Я нехотя попросил слова и попытался изложить, как я понимаю, положение дел и как я уже не однажды раз'яснял его, в связи с отставкой Коновалова, в «Новой Жизни».

— Исп. Комитет — сказал я — принимая резолюцию 16 мая, не скрывал от себя возможных политических последствий и, очевидно, сознательно шел на них. Последствия ныне налицо. Программа Исп. Комитета оказалась непосильной для существующего правительства, и в нем образовалась зияющая трещина. Сейчас или надо открыто отказаться от программы 16 мая, или открыто признать, что никаким новым буржуазным министром трещину в правительстве заштопать нельзя. Если советское большинство желает выйти из положения вообще и, если оно согласно только на очень «мягкие» меры,

на самый «безболезненный» выход из кризиса, то по крайней мере пошлите в кабинет Львова еще одного министра-социалиста. В пределах элементарной логики это единственно возможно. Нельзя же в самом деле задаваться целью заставить выполнять решительную демократическую программу непременно министра-капиталиста.

Речь «безответственного оратора» несколько оживила собрание. Стал возражать Церетели, доказывая мое обычное непонимание «линии Совета» и настаивая на преимуществах буржуазных министров перед социалистическими — с точки зрения демократии и революции. Затем вскочил с места Кузьма Гвоздев, ныне товарищ министра труда и член Вр. Правительства. Он обрушился на меня более сердито, чем когда-либо, и стал упрекать меня в том, что я не договариваю своих мыслей.

— Вы, Н. Н., — говорил Гвоздев, — чего хотете? ... Вы прямо не говорите, а ведь мы все понимаем. Вы хочете захвату власти. Ну, вы так прямо и скажите! Но только — нет, мы на это не пойдем.

О том, что сделать с министерством, в Исп. Комитете, по обыкновению, судили и рядили безапелляционно. Все знали, что мы здесь, в заседании, можем строить власть так, как найдем нужным. Все знали, что Мариинский дворец должен будет принять любое решение Исп. Комитета, и буржуазные министры должны будут собрать свои пожитки в ту минуту, как только об этом распорядится Исп. Комитет. Ибо вся власть попрежнему сосредоточивалась в Таврическом дворце, а в Мариинском попрежнему была одна тень ее. Но все же попрежнему образование советского правительства называли не иначе, как захватом власти...

Попросил слова и Мартов (это было чуть ли не первое его выступление в пленуме Исп. Комитета). Правые насторожились, но Мартов не оправдал их опасений.

— Поиски буржуазного министра, — сказал он, — для выполнения программы 16 мая еще не могут считаться безнадежными. Если буржуазия так часто находит социалистических министров, готовых выполнять ее буржуазную программу, то не надо отчаиваться: может и среди буржуазии найтись министр, который согласится проводить социалистическую программу... Что же касается плана Суханова, то это, быть может, наихудший способ перехода к чисто демократическому правительству.

«Звездная палата» сильно поморщилась от выпада, попавшего не в бровь, а прямо в глаз; но он не имел иного значения, кроме полемического. Министра-то для программы 16 мая ни в правых, ни в левых буржуазных сферах найти было все-таки нельзя... Мой «способ» «захвата власти» был наихудший? — Не знаю, какая собственно была в нем опасность или вред для дела пролетариата. Возражение следовало, пожалуй, сделать иное: может ли и советский министр в коалиции или хотя бы в «однородном социалистическом министерстве» Керенского-Церетели выполнить программу 16 мая? Я бы ответил: не может. Для этого Совет надлежало отвоевать у капитуляторов и соглашателей. Так что ж! Мой «способ» этому не повредил бы... Насчет «захвата власти» нам, впрочем, придется поговорить дальше, при более достойных того поводах.

Сейчас же, по поводу нового министерского кризиса в Исп. Комитете, как ни ломали голову — ни-

чего не придумали. Министра не находили. И чтобы выйти из положения «звездная палата» подала знак к отбою. Программу 16 мая действительно положили под сукно. На нее стали смотреть, как на случайное грехопадение. О ней перестали говорить, как о веревке в доме повешенного. А вместо нее, именно в это время, в советские сферы проник новый для них, недостойный и позорный лозунг: «самоограничение масс!»

Прямо из гнезд ростовщиков и рыцарей большой дороги, прямо со столбцов бульварно-биржевой прессы — он вполз во все щели Таврического дворца, отравил всю атмосферу, опозорил самые стены дворца революции... Не сделав ничего, ни шагу для ограничения чудовищных военных сверх-прибылей, ни для действительного повышения жизненного уровня рабочих масс, Совет, в лице его большинства, ради удержания буржуазии в правительстве, в целях сохранения ее экономического господства, заменил неугодную ей программу ее собственным лозунгом: самоограничение рабочих! Лозунг становился ходячим. Советские ораторы, к восторгу всей «большой» и банковско-демократической прессы, не стыдились ходить с этим лозунгом к рабочим. Это было отвратительное зрелище.

А кроме «самоограничения», придумали в то время еще одну экономическую панацею, на которую также усиленно пытались ловить петербургских рабочих и отводить ею глаза от программы Громана. Это была так называемая разгрузка Петербурга. Именно в это время был поставлен и муссировался на всех перекрестках вопрос об эвакуации из столицы львиной доли всей ее промышленности, а вместе с тем и петербургского пролетариата...

Несомненно, план такой разгрузки имел за себя очень многое. Оторванный (на полторы тысячи верст) от сырья и топлива, увеличивший за войну свою индустрию в три раза, поглощавший для ее питания целую треть подвижного состава наших расстроенных железных дорог — Петербург, несомненно, был классическим образцом нерационального, анархо-капиталистического распределения производительных сил в стране и действительно требовал разгрузки.

Но, во-первых, эта разгрузка должна была производиться в общем едином плане «регулирования промышленности», вместе с организацией всего хозяйства и труда, а никак не вместо этого; между тем, вопрос фактически ставился именно так. А во-вторых, разгрузка столицы, подсунутая буржуазными сферами вместо программы 16 мая, конечно, имела больше политические, чем хозяйственные цели. Если надо было вывести из столицы революционный гарнизон, то еще важнее было распылить петербургский пролетариат, эту главную опору, главную основу всей революции. Буржуазия энергично взялась за это дело. Но рабочие сразу и определенно приняли его в штыки.

Надо было привлечь к делу Совет. И Совет был привлечен. В рабочей секции вопрос стал, можно сказать, перманентным. И еще раньше, чем Исп. Комитет имел свое суждение о разгрузке, в Совете выступали и убеждали рабочих «в их собственной пользе» агитаторы, пропагандисты и организаторы Мариинского дворца. Там Коновалова ныне заменял Пальчинский, даровитый и универсальный инженер, душой и телом преданный «отечественной промышленности», связанный с десятками всяких

предприятий, банков, синдикатов, parvenu в политике, будущий «петербургский генерал-губернатор» и правая рука Керенского. 18 мая он растекался словами в рабочей секции Совета, делая огромный доклад о разгрузке — вместе с другими «сведующими лицами» коноваловского министерства. Все они убеждали рабочих эвакуироваться — ради собственных интересов и пользы отечества.

Операция трудная, но условия позволяют: если петербургские заводы в течение нескольких месяцев не сделают ни одного снаряда, пулемета, пушки, то это не беда — их хватит; если 40% предприятий в столице закроется, то это ничего, — в столице вся промышленность работает сейчас всего на 60% по недостатку топлива и сырья...

Рабочие Петербурга увидели воочию, что по нужде буржуазному давлению «перемена бывает». Доселе им твердили, что промышленность не работает только по их лени, а недовыработка лодырями хоть одного снаряда в день есть предательство братьев в окопах и измена родине!

Агитация успеха не имела. Рабочие хорошо оценили ее. Но в качестве громоотвода «разгрузка», пожалуй, достигла цели. Этот экономически-третьестепенный вопрос поглотил очень много внимания и затушевал основную экономическую проблему, которая была — принципиально — проблемой социализма, а практически — просто насущной проблемой хлеба... И на этом третьем внутреннем фронте революции дело обстояло более чем неблагополучно. Коалиция и здесь, на фронте хлеба, ухудшила и запутала положение.

* * *

И вся прочая политика правительства Львова-Керенского-Церетели полностью соответствовала словам и делам его на основных фронтах революции. — В ведомстве внутренних дел творились совсем странные вещи. Там старый механизм, унаследованный от царизма, работал с особой кричащей демонстративностью. Он остался и слабо вычищался, как мы знаем, повсюду. Но особенно кричал и скрипел он в ведомстве премьера Львова. Там еще до сих пор существовали институты губернаторов, вице-губернаторов, земских начальников. Персонально массы губернаторов были, правда, уволены и заменены — под названием «губернских комиссаров» — местными тузами и воротилами из земцев и городских голов. Но кое-где губернаторы старого строя еще продолжали «работать» — вместе со старой черносотенной полицией. Вице-губернаторы же почти все продолжали состоять на службе. Ненавистные земские начальники уже при Чернове и Церетели, по закону о местном суде от 9 мая, были лишены судебных функций. Но они существовали и в количестве многих тысяч продолжали получать жалованье...

Вместе с тем были сохранены и чины, и ордена. Газеты без стеснения пестрели сообщениями о назначении на разные должности всяких действительных и тайных советников; и предполагалось, что достойные будут награждаться и впредь: по военно-санитарному ведомству было об'явлено, что только женщины «не подлежат награждению чинами и орденами»!..

«Конституцией» 2-го марта была поставлена на очередь отмена сословных ограничений. При пер-

вом министерстве был разработан соответствующий проект (хотя достаточно было бы, повидимому, одного росчерка пера). Но при правительстве «полного доверия», 13 мая, законопроект был «приостановлен». Не знаю, устыдила ли мотивировка этого факта министров-социалистов; но она доставила не мало смеха даже обывателю. Проект был, оказывается, приостановлен, во-первых, потому, что никаких сословных ограничений у нас уже нет, а во-вторых, потому, что для разработки проекта об их отмене «потребовался бы огромный труд по пересмотру всех 16 томов свода законов, так как во всех томах имеются упоминания о сословиях». А проект то, приостановленный 13 мая, был уже разработан!..

При коалиции, кроме губернаторов и земских начальников, продолжали существовать и Гос. Дума, и Гос. Совет. Эти тени прошлого, эти центры реакции не рисковали, конечно, формально возобновить свою деятельность. Они не собирались ни разу, и только Гос. Дума созывала «частные совещания». Ясно, что эти распутинско-столыпинские учреждения были живым отрицанием революции, были непримиримы с ней никаким способом. Но революция была фактом, а царские законодательные органы формально существовали и получали «присвоенное содержание» — тогда как Совету было отказано в субсидии по недостатку средств. Стыдно сказать, но на старый Гос. Совет декретом 21 мая были даже возложены некоторые обязанности! Все это было издевательством над революцией со стороны правительства Львова-Церетели...

Что-то говорили одно время о реформе старого сената. Но реформа ограничилась тем, что Керен-

ский, в бытность свою министром юстиции, назначил в сенат нескольких левых адвокатов. В числе их был, между прочим, Н. Д. Соколов, которому его старый приятель Керенский вместо поста товарища или (в коалиции) министра уготовил эту почетную ссылку. Это было при Милюкове-Гучкове. А при Церетели-Чернове, когда Соколов явился в заседание сената в черном сюртуке, то «первоприсутствующий» попросил его удалиться, ибо на его рукавах не красовалось старых сенаторских эмблем. Соколов отказался нацепить на себя царские знаки, и на том его сенаторская карьера закончилась.

Не помогла «коалиция» и в области национального вопроса. С первых же чисел мая начались недоразумения с Финляндией, которая требовала законных прав на «самоопределение». «Речь» и ее подголоски затянули песню на тему о великодержавности России и о неблагодарности Финляндии. Но и Керенский, с своей стороны, также поспешил об'явить финнам, что их судьбу может решить только всероссийское Учр. Собрание. Керенский даже не прибавил — по соглашению с сеймом, — хотя в Учр. Собрании Финляндия, разумеется, не могла быть представлена. Вместе с тем государствоведы раз'ясняли, что между Россией и Финляндией существовала просто на просто личная уния, которая ныне была ликвидирована низложением Николая. А стало быть независимость Финляндии была не только бесспорным правом, но, можно сказать, совершившимся фактом. Позиция Керенского и всего кабинета была явно реакционной... 14-го марта прежние лидеры Совета провозгласили независимость Польши из Таврического дворца; нынешние министры, из Мариинского не смогли поддержать

достоинство демократии простым согласием даже на независимость Финляндии.

Скверно обстояло дело и с «народным просвещением». Глава ведомства, правый кадет Мануилов, уже давно был непопулярен в педагогических сферах. Совету пришлось всенародно призвать к порядку этого господина еще 18 марта, когда борьба между Советом и правительством еще только начинала входить в сознание народа и обывателя. Теперь, в эпоху коалиции, Мануилов успел окончательно доказать, что его целью является охрана старого духа министерства. К концу мая, он окончательно вывел из себя деятелей школы и собственных сотрудников. Не большевики, а именно промежуточные группы, расшибающие лоб на полной поддержке правительства, стали громко требовать отставки Мануилова. Но коалиция была глуха к гласу народа. Под прикрытием министров-социалистов, под защитой Совета, буржуазные министры чувствовали себя вполне прочно и расправляли все больше свои коготки.

В актив коалиции за все это время можно зачислить только один акт. Это невольное присоединение Керенского к той регламентации солдатского быта, которая была разработана в солдатской секции Совета. Керенский опубликовал относящийся к этому документ под названием «декларация прав солдата». Правда, со стороны большевиков и этот документ был встречен в штыки. Но это была демагогия без разума. На деле, Керенский декларировал хартию еще невиданных в истории солдатских вольностей. В ней не было выборности начальства, на что упирали большевики. Но в ней было все от демократизма, что только может выдер-

жать армия, как таковая. А по правде сказать — даже не так: в декларации этой было столько идеализма, сколько **не может вынести** боевая армия. И большевики это знают лучше всех других. Когда им пришлось строить новую, собственную армию, они были вынуждены выкурить из нее львиную долю добытого при Керенском демократизма...

Ну, зато и рекламу устроил этой декларации Исп. Комитет! Как будто «звездная палата» хотела отыграться на ней за все принижение, за все поражения революции при министрах-социалистах.

Кроме того, организуя наступление, Керенский, наконец, увидел себя вынужденным убрать с поста верховного главнокомандующего одиозного царского генерала Алексеева. Некогда мы видели, как принял революцию этот генерал в своем приказе 3 марта. И после он неоднократно проявлял свою физиономию. Теперь же, когда он, в разгар агитации Керенского, откровенно бросил по адресу официальной правительственной формулы мира свою «утопическую фразу», возбуждение солдатских умов стало угрожающим. Генералу Алексееву стали посвящаться специальные солдатские митинги. Все дело наступления могло сорваться на недоверии и ненависти к верховному вождю. И Вр. Правительство принесло эту жертву. Но, Боже, как это было сделано! Наглое, откровенное, циничное третирование демократии, быть может, не проявилось ни в чем так ярко, как в этой отставке. В заседании Совета 22 мая, в ответ на обвинения слева, Керенский очень эффектно об'явил о смене главнокомандующего. В политических мотивах отставки, казалось бы, не могло остаться никаких сомнений: Керенский защищался этой отставкой, будучи при-

перт к стене. А 26-го числа Вр. Правительство, с мала до велика, подписало Алексееву «рескрипт», который состоял из превознесения заслуг доблестного генерала и сожалений об его уходе. «Уход» же Алексеева приписывался отнюдь не политическим, а чисто личным мотивам — «естественной усталости»... Да, буржуазные министры, а равно и пославшие их, видимо, чувствовали, что их руки развязаны — пока Чернову и Церетели послушен Совет. Не даром тогда же, в мае месяце, началась и исподволь ширилась кампания... против советов вообще.

Одним словом, «коалиция» быстро, ярко и всесторонне показала себя в качестве глубоко реакционного фактора. Это была коалиция против революции. Ее конечная цель, в каких-нибудь две-три недели определилась, как ликвидация мартовских завоеваний, как буржуазная диктатура. Конечно, коалиция была тем опаснее, чем была прочнее. Поскольку она опиралась на большинство Совета, она казалась крайне прочной. Политика ее казалась незыблемой, а положение безысходным. Революция стремительно катилась под уклон.

Но — все это была только одна сторона дела, лицевая, парадная, официальная. А у всякой поверхности есть недра, у лица есть изнанка. У всякой медали есть обратная сторона. Взглянем теперь на то, что в условиях, в рамках, на фоне коалиционной политики происходило в это время в стране. Взглянем на обратную сторону той же самой медали.

---

3. В НЕДРАХ

Бедлам, Техас и самодержавие наизнанку. — Эксцессы. — Солдатская вольница. — Тоска о порядке и законе. — Двоебезвластие. — Движения в народе. — Стачечная волна. — Министерство Скобелева. — «Накануне всеобщей забастовки». — Железнодорожники. — И. п. Комитет унимает голодных. — Перелом в солдатских массах. — «Инциденты» с Керенским на фронте. — Репрессии, расформирования полков. — Предвестники «похабного мира». — «Сорокалетние». — «Республиканское» движение в провинции. — Кронштадтская эпопея. — Церетели начинает действовать по министерски. — Львов и Терещенко получают удовлетворение. — Победы большевизма. — Выступления Ленина. — Большевистская опасность сознается буржуазией, но не «звездной палатой». — Большевики среди рабочих и солдат. — Рабочая секция. — Конференция фабрично-заводских комитетов. — Резолюция о «разгрузке Петербурга». — Большевики на муниципальных выборах. — «Новая Жизнь». — Горький в «Новой Жизни». — Три генерала завоевывают «Новую Жизнь». — А. В. Луначарский. — Троцкий с Лениным — Снова проблема власти. — Судьба коалиции и диктатура демократии. —

«Тот строй, который у нас теперь установился, может быть назван только самодержавием наизнанку. Самодержавие царя и его слуг заменилось самодержавием толпы и проходимцев». («Речь», 16 мая.) «Наша родина превращается положительно в какой-то сумасшедший дом, где действуют и командуют бесноватые, а люди, не потерявшие еще разума, испуганно отходят в сторону и жмутся к

степам»... («Речь», 17 мая.) «Скоро у нас появится родной Майн-Рид и Густав Эмар. Россия превращается в Техас, в страны далекого запада»... («Речь», 30 мая.)

Буржуазная улица, не зная отдыха и срока, в творческом самозабвении, в патриотическом упоении, разыгрывала на эту тему вариации во всевозможных стилях — и в печальном, и в грозном, и в игривом. В «больших» газетах появились постоянные рубрики и крупные заголовки: «анархия». Эта пресса была ныне переполнена описаниями всевозможных эксцессов и беспорядков. «Произвол», «самосуд», «развал», «погромщики». Газеты не только описывали, но смаковали, любовались, подчеркивали и размазывали в злорадных комментариях... Это — во всю ширь развернулась борьба буржуазии против революции. Это — кипела ее ненависть и злоба.

Эксцессов, на самом деле, было много, может быть — стало больше, чем прежде. Суды Линча, разгромы домов и магазинов, насилия и глумления над офицерами, над провинциальными властями, над частными лицами, самочинные аресты, захваты и расправы — ежедневно регистрировались десятками и сотнями. В деревне участились поджоги и погромы усадеб. Крестьяне начинали по своему «регулировать» землепользование, запрещали порубки лесов, угоняли помещичий скот, брали «под контроль» хлебные запасы и не давали вывозить их к станциям и пристаням. Особенно нашумел в первой половине мая грандиозный разгром имения одного большого барина в Мценском уезде. Не мало эксцессов наблюдалось и в рабочей среде — над заводской администрацией, владельцами и масте-

рами. Даже в самом Петербурге произошел в конце мая скандал на Трубочном заводе и был с восторгом подхвачен уличной печатью. Но больше всего «нарушали порядок и государственную жизнь», конечно, разгулявшиеся солдаты.

Среди бездействующих столичных и провинциальных гарнизонов, в атмосфере неслыханной свободы, военная дисциплина, разумеется, пала. Железные цепи ослабли. Несознательность и распущенность серой массы давали себя знать. В тылу вся гарнизонная служба более или менее расстроилась, ученье почти не производилось, наряды нередко не выполнялись, караулы частенько не держались. Появились массы дезертиров — и в тылу, и на фронте.

Солдаты, безо всяких разрешений, огромными потоками направлялись на побывку домой. Они заполняли все железные дороги, совершая насилия над администрацией, выбрасывая пассажиров, угрожая всему делу транспорта и становясь общественным бедствием. Дезертирам назначались сроки обратной явки, затем эти сроки отодвигались, подкреплялись угрозами. В «Совещании по созыву Учр. Собрания», открывшемся, наконец, (только) 25 мая, дезертиров постановили лишить избирательных прав; Керенский проектировал лишить их и права на землю. Но все это помогло мало. Солдаты текли по деревням из тыла и фронта, напоминая великое переселение народов. А в городах они переполняли и разрушали трамваи, бульвары, заполняли все общественные места. Там и сям сообщали о пьянстве, бесчинстве, буйстве.

Вообще в России во времена «коалиции», летом 17-го года, было довольно мало порядка. Обыватель, вслед за «инициативной буржуазией», начинал

угрожающе вздыхать о нем и злобно брюзжать на революцию, как таковую. Именно факту революции он приписывал то, что у нас нет «закона» и нет «твердой власти»... Опять вспоминается крылатое слово Милюкова: обыватель глуп.

Конечно, порядка не было у нас потому, что не было ни закона, ни твердой власти. Но обыватель решительно не понимал, почему у нас нет ни того, ни другого. Дело тут не в писаном законе. Писаного закона не было просто потому, что старый закон смела революция, а нового, сколько-нибудь устойчивого и фундаментального, она еще не успела создать. Писаный закон соответствует тому или другому строю, а у нас тогда не было никакого строя: была только революция и временное правительство...

Обыватель тосковал, собственно, о чувстве «законности», о добровольном подчинении каким-то единообразным, общеполезным нормам, вместо которых были налицо сомочинство и личный, и групповой произвол. Такого «закона» не было именно потому, что не было власти.

Власти же не было и не могло быть потому, что вся политическая «комбинация» была построена искусственно и ложно. Наша писаная «конституция», в виде коалиционного правительства, ни на йоту не соответствовала неписаной конституции, то-есть соотношению сил, фактическому положению классов в государстве. Вся власть была у демократии в лице Совета. Но при попустительстве несознательных масс власть была передоверена буржуазии. Буржуазия, саботируя программу демократии, пыталась проводить свою собственную, но не имела для этого никакой опоры, так как ее класс

был разбит, был прогнан от власти и пользовался ею только по доверию, заимообразно. Демократия же, передоверив власть, не перестала ни быть ее фактическим суб'ектом, ни быть враждебной буржуазии и ее программе.

Массы рабочих и крестьян, чувствуя себя господствующими классами, будучи действительно таковыми и не проникшие во всю глубину искусственной «комбинации» с передоверием власти, — никоим образом не могли проникнуться советским пиететом к коалиции и чувством «законности» в создаваемой ею обстановке. Это было об'ективно невозможно, это была утопия.

Если Вр. Правительство, как подставная власть, как тень власти, не выполняло непреложной программы революции и демократии, то сама демократия, как действительная власть, должна была «самочинно» и «произвольно» выполнять ее. Искусственная надстройка Мариинского дворца, опираясь на авторитет Таврического, ставила массам искусственные, формальные препятствия. Это означало только то, что непреложная программа мира, хлеба и земли выполнялась рабочими, крестьянами и солдатами как попало, по своему безграмотному разумению, не в порядке, а в хаосе, не в государственных, а в анархических формах.

Но процесс этот был об'ективно неизбежен. А это значит, что при коалиции никакой власти быть не могло. Как бы громко ни кричали советские вожди о доверии, коалиция не могла быть властью и показала это через две недели своей работы.

Коалиция, с первых же недель, стала воплощенным внутренним противоречием. Она была класси-

ческим неустойчивым равновесием, которое, вообще говоря, вполне возможно, иногда неизбежно и полезно, но которое по существу своему есть кризис, подлежащий разрешению и имманентно клонящийся к разрешению. Удержать неустойчивое равновесие, задержать искусственно состояние кризиса — немыслимо и нелепо. Коалиционное Временное Правительство было заведомо «комбинацией» весьма кратковременной. И утопическая полная «поддержка» коалиции, уже с мая месяца, стала культом безвластия и классового, группового, индивидуального «самочинства».

Еще в первой половине мая один из делегатов на кадетском с'езде жаловался, что между населением и Вр. Правительством нет никаких связей, что «правительства у нас как бы не существует вовсе»... Тем не менее, министр внутренних дел, примерно через неделю, разослал своим «губернским комиссарам» (губернаторам) такой красноречивый циркуляр...

«не прекращаются доныне случаи самовольных арестов, обысков, устранения от должностей, заведывания имуществами, управления фабричными предприятиями, разгромов имуществ, грабежей, бесчинств, насилий над частными и должностными лицами, присвоения различными организациями принадлежащих только правительственным органам прав и полномочий, обложения населения налогами и сборами, возбуждения толпы против местных представителей власти... Все подобного рода действия должны почитаться явно неправомерными, даже анархическими... Прошу вас принять самые решительные меры для ликвидации указанных явлений»...

«Все подобного рода действия» были, конечно, живым протестом против существующего положения вещей. Народ-хозяин, как умел, коряво и не-

уклюже, вне государственных форм, начал выполнять необходимую ему и обещанную правительством, но саботируемую им программу. Это выполнение программы естественно превратилось в сплошной эксцесс. Глава правительства «просил» «принять решительные меры». Но какие меры могли принять агенты официальной власти? Ведь губернские, как и прочие, правительственные комиссары не могли предпринять решительно ничего, кроме апелляции к советам и просьб о «содействии». Все эти комиссары были простой фикцией, простыми марионетками, которым на местах, не в пример центру, советы далеко не всегда передоверили власть. В центре «власть» была политическая, а на местах — только административная. И, конечно, она целиком или почти целиком принадлежала тем, у кого была в руках реальная сила, то-есть местным советам р. и с. д. Без них правительственные комиссары были пустым местом, наличия которого никто не замечал. Весь «порядок», какой бы он ни был в то время, поддерживался властью советов, расположившихся повсюду в провинции в губернаторских домах.

«Деятельность» же правительственных комиссаров выражалась обыкновенно не в борьбе с «анархией», хотя бы при содействии советов, а в борьбе с советами, в непрерывных с ними пререкательствах, тяжбе, брюзжании. Некоторые из них, опираясь на лойяльные право-советские элементы, устраивали у себя на местах вместо власти советов полное безвластие — по выражению Троцкого двоебезвластие. В этих случаях анархия значительно усиливалась. Но в общем эти комиссары — либералы и реакционеры — просто изобража-

ли «законную власть» в глазах буржуазно-обывательских слоев[1]).

Ни «закона», ни власти не было, и коалиция не могла их дать — по причинам, лежащим в самом существе дела. Начавшаяся «анархия» и расслабление государственных связей вытекали механически из кричащего противоречия между писаной и неписаной конституцией... Правда, эксцессы и неурядицы сами по себе еще не доказывают, что коалиция, с ее действительной программой и тактикой, шла наперекор всему развитию революции, что она была искусственной комбинацией, которую уже тогда, в мае, надо было обречь на слом, которую было нелепо и утопично поддерживать. Неурядица и эксцессы еще не знаменуют обязательной коллизии програм, непременного встречного движения, достоверно назревающего катаклизма. Неурядица и эксцессы могут быть везде и всюду — при самой закономерной и «правильной» государственной «комбинации». Это все так.

Но дело в том, что перед нами были тогда не одни эксцессы. Уже в мае появились вполне рельеф-

---

[1]) Вот, напр., в «Русских Ведомостях» того времени я вижу об'явление московского «губернатора», гр. Кишкина, который впоследствии, в эпоху окончательного упадка демократии, стал показывать довольно острые, хотя и бессильные, коготки. Ныне он занимался, по крайней мере, на глазах публики, совершенно невинным делом: газетным об'явлением он созывал московских граждан на молебствие в Храм Христа Спасителя. Еще бы! Разве могли эти господа, — ни в каких православных богов, конечно, не верующие и никем к поклонению им не понуждаемые, — отказаться от всенародной лжи и оказаться на высоте революции хоть в самых незначащих пустяках. Жалко жили эти господа либералы и жалко умерли! Да не будет легким пухом...

ные признаки таких широких и планомерных общественных движений, которые шли наперекор коалиции с ее программой и тактикой. Коалиция и ее база, мелкобуржуазное советское большинство, могли бы удержаться на поверхности бушующего моря, могли бы всплыть и не потонуть только в том случае, если бы они оторвались от тяжелых, закопанных в землю якорей своей программы и тактики. Для коалиции это было невозможно. Для советской мелкобуржуазной демократии, идущей на поводу у пролетариата, это было вполне мыслимо. Но как бы то ни было, в противном случае, начинавший двигаться огромный вал неизбежно должен был раздавить, поглотить правящие и «доверяющие» группы, похоронив их под собой навсегда.

* * *

Все эти недели были периодом огромного стачечного движения... С первых чисел мая началась забастовка петербургских прачек, невыносимое положение которых было признано давно даже обывателем и нисколько не было улучшено революцией до сих пор. Несмотря на то, что контингент стачечников был отсталым, незакаленным и распыленным среди массы заведений, — борьба отличалась крайним упорством и затянулась на несколько недель. Стачкой руководили большевистские организации. От имени бастующих А. М. Коллонтай неоднократно выступала и в Исп. Комитете, требуя поддержки и вмешательства. «Правительственная» аудитория, позевывая, слушала ее возбужденные речи и спешила перейти к очередным де-

лам. Стачка окончилась в пользу работниц. Хозяева согласились высшим категориям их платить на хозяйском содержании целых 35 руб. в месяц!

Начались массовые забастовки и в Москве, и в провинции. Движение стало напоминать октябрь 1905 года. Бастовали повсюду фабричные рабочие, грузчики, пароходная прислуга, трактирщики и всевозможные прочие категории пролетариата... После первого удара революции перепуганные хозяева легко шли на соглашения, и забастовочное движение не разрасталось. Теперь же предприниматели оправились; видя твердую опору в правительстве, в его соглашательском базисе, они стали упорствовать и легко идти на локауты. Борьба стала ожесточенной. Совет, переместив свой отдел труда в правительственные сферы, с каждым часом терял в глазах рабочих свой авторитет и уже не мог способствовать смягчению конфликтов.

Ирония судьбы, лежащая в корне вещей, состояла в том, что забастовочное движение стало разрастаться немедленно вслед за образованием министерства труда во главе с советским министром. Этот новый (примирительный) орган силою вещей должен был принять активное участие в борьбе промышленников «с аппетитами рабочих». Кузьма Гвоздев, товарищ министра, как и два месяца назад, извивался между молотом и наковальней. Но тогда он боролся с царскими порядками на заводах и противостоял рабочей стихии; а теперь он боролся за классовый мир, отстаивая взаимные компромиссы, и противостоял организованному движению организованного пролетариата.

Вот смехотворный факт, характеризующий тогдашнюю позицию министерства труда. 19 мая Вр.

Правительству было доложено, что между министерствами промышленности и труда «возникли разногласия»; они состояли в том, что министерство торговли и промышленности отстаивало необходимость обращения Вр. Правительства к рабочим (насчет «самоограничения»), а Скобелев «указывал, что воззвание должно быть обращено как к рабочим, так равно и к промышленникам»...

В первой же половине мая произошел огромный конфликт на юге, в Донецком бассейне. Горнопромышленники подняли вой на всю Россию и мобилизовали лучшие «культурные силы», которые не стеснялись оперировать с дутыми и явно ложными цифрами, чтобы представить рабочих в виде акул, пожирающих всю промышленность без остатка. Десятки больших газет вполне убедили обывателя, что горнорабочие — враги родины и разрушители промышленности, тогда как речь шла лишь о ничтожном ограничении чудовищных военных сверхприбылей...

Одна известная пароходная фирма в те же недели об'явила локаут рабочим и служащим, которые требовали прибавок в общей сумме на 36 тысяч руб.; прибыль же фирмы в том году составила $2^1/_2$ милл. руб.... Без комментариев ясно, как воспринимались рабочими массами крики о «самоограничении» со стороны буржуазных газет и советских лидеров.

Вслед за рабочими «низами», забастовочное движение стало охватывать и массы торгово-промышленных служащих. Приказчики, конторщики, бухгалтеры и проч. в то время также были уже вполне организованы. Движение их также протекало в строго организованных формах, — под руководством

Центр. Стачечного Комитета об'единенных организаций служащих. Положение этой рабочей аристократии было также вполне отчаянное. И борьба началась ожесточенная. Приказчики пред'являли ультиматумы, хозяева отклоняли их, и столица волновалась закрытием лавок и магазинов — то одних, то других. Забастовки приказчиков были очень заметны и обывателю, — особенно, когда 17 мая забастовал Гостиный Двор. Служащие преследовали штрейкбрехеров и вели агитацию на Невском, прося воздерживаться от покупок. Владельцы науськивали буржуазную толпу на приказчиков и вывешивали об'явления о ликвидации предприятий.

На 23 мая, после решительного отпора предпринимателей, была об'явлена всеобщая забастовка в Петербурге, но она не состоялась. Частично же бастовали одни за другими заводские, муниципальные, портовые рабочие, торговые, банковские, больничные служащие — до городских врачей включительно. Советский товарищ городского головы, Никитский, занимался исключительно разбором конфликтов между муниципальными учреждениями и обслуживающим их персоналом. Положение служащих и рабочих было явно невыносимо. Приходилось удовлетворять их требования, внося расстройство в городские финансы. За это Никитский, вместе с Громаном, стал излюбленной мишенью для травли со стороны буржуазной прессы.

В газетах появились рубрики: «забастовочное движение», и плакаты: «накануне всеобщей забастовки» и т. п.... И, наконец, на всю страну надвинулась вплотную угроза железнодорожной забастовки. Я упоминал в предыдущей книге, что дело железнодорожников приобрело затяжной характер, не-

сколько раз поступало на рассмотрение Исп. Комитета и находилось в ведении особой комиссии под председательством Плеханова. Комиссия эта, между прочим, установила, что 95% жел. дор. рабочих получали в то время меньше 100 р. в месяц; это было явно ниже всяких жизненных минимумов. Плехановская комиссия установила необходимые нормы оплаты, которые были также недостаточны. Но правительство отклонило и эти нормы. Надо думать, оно понимало, что доводить дело до железнодорожной забастовки нельзя: это грозило голодом и взрывом в столицах. Но правительство твердо рассчитывало на авторитет услужающих ему советских заправил.

И не ошиблось. Получив отказ от правительства, мастерские и депо 27 мая единодушно вынесли резолюцию о необходимости об явить всеобщую жел. дор. забастовку на всех дорогах петербургского и московского узлов — в виду исчерпания всех средств для мирного улажения конфликта. В тот же день был избран стачечный комитет, который немедленно приступил к работе. В совместном заседании с представителями Москвы было постановлено 40 голосами против 3 немедленно об явить забастовку... Но, разумеется, тут вмешался Совет. Стачечному комитету было приказано явиться в Исп. Комитет. Там после решительных и неприятных прений было постановлено:... «Признавая все чрезвычайное значение, которое ж. д. забастовка может иметь в условиях войны и революции, — обратиться к товарищам железнодорожникам и предложить им совместно с Исп. Комитетом и союзом металлистов срочно обсудить меры и пути, которые должны быть найдены для урегулирования кон-

фликта без забастовки»... Железнодорожники согласились или, скорее, подчинились. Забастовка была сорвана и не состоялась.

Но совершенно ясно, что пролетариат, на достигнутой ступени своего политического могущества, никоим образом не мог примириться ни с прежними формами своего экономического рабства, ни с проповедью «самоограничения». Его программа — программа хлеба — была непреложной программой революции. И бойкот этой программы правящими советско-буржуазными сферами механически отбрасывал пролетариат в об'ятия врагов существовавшего «строя», механически накопляя энергию для будущего катаклизма. А в частности — толкал на немедленные частичные «эксцессы»: захват фабрик рабочими и устранение несговорчивых хозяев уже имели место кое-где.

Точно также и в деревне крестьяне, отчаявшись в сохранности земельного фонда, разочаровавшись в возможности легального регулирования земельных дел земельными комитетами, — стали кое-где захватывать имения и «брать их в свое управление». Власти беспокоились, выезжали на места, констатировали факты и — убеждали. Но это не могло помочь. На выполнение (тогдашней) программы Ленина крестьян механически толкала политика буржуазно-советских правителей. Программы земли — нельзя было не выполнять.

* * *

То же происходило и в среде солдат. Тут были не только эксцессы, а был и глубокий процесс, был перелом настроения, было движение, не заме-

тить которого могли только слепые... Мы видели, как отражалась в солдатских мозгах проблема войны и мира два месяца тому назад. За слова о мире тогда поднимали на штыки — изменников и открывателей фронта. Зачатки перелома я отмечал уже через месяц революции, ко времени приезда Ленина. Теперь, через два с лишним месяца, на фоне работы коалиции, солдатские настроения начали превращаться в собственную противоположность.

Перед глазами советских лидеров этот процесс был затушеван тем, что в этом отношении солдатская масса Петербурга далеко отстала от провинциальной. А в Совете солдаты попрежнему были настроены весьма «патриотически»: они, кстати сказать, более всех других были забронированы от посылки на фронт... Но в Москве и в провинции с переворотом в мозгах солдат уже приходилось мало-по-малу сталкиваться вплотную. Уже 9 мая Шейлоку-Тома в московском совете пришлось натолкнуться на маленькую неприятность. Ему было публично заявлено от имени солдат, что наша армия устала и хочет мира; в России нет партии сепаратного мира, но если война будет затягиваться, то за последствия ручаться нельзя. Тома «испытал тяжелое впечатление».

Но дальше пошли маленькие неприятности и с Керенским. Во время своей агитации на фронте он стал встречать среди солдатской массы словесно-полемический отпор. Правда, это были единицы. И впечатление сейчас же сглаживалось «патриотическим» энтузиазмом. Но ведь и обстановка для полемики против наступления была исключительно неблагоприятна. Однако, на это решались. В двадца-

тых числах мая, в лойяльнейшей 12-й армии, руководимой право-меньшевистским армейским комитетом, Керенский натолкнулся на маленький скандал. Солдат, под видом вопроса, заявил, что правительство должно скорее заключить мир. Керенский прервал солдата громовым возгласом: «трус!» и приказал изгнать его из рядов армии. Полковой командир, однако, попросил позволения изгнать вместе с неудачным полемистом еще нескольких, которые такими же мыслями о войне и мире «позорят весь полк». А прапорщик того же полка, взявшийся об'яснить Керенскому происхождение печального инцидента, прибавил, что «теперь уже энтузиазма у нас нет и наступать мы не можем, так как прибывающие маршевые роты приносят вредные, разлагающие настроения».

На другой день, в той же армии, Керенскому «было нанесено тяжкое словесное оскорбление» одним левым офицером. А еще через день правительственный комиссар при 7-й армии телеграфировал военному министру: «в 12-й дивизии 48-й полк выступил в полном составе, 45-й и 46-й полки в половинном составе строевых рот; 47-й отказывается выступать. Из полков 13-й дивизии выступил почти в полном составе 50-й полк. Обещает выступить завтра 51-й полк; 49-й не выступил по расписанию, а 52-й отказался выступить и арестовал всех своих офицеров. Жду ваших указаний, как поступить с неисполнившими боевого приказания людьми, а также с людьми, арестовавшими офицеров. Кроме того прошу указаний, как поступить с отдельными офицерами, подстрекавшими людей к неповиновению»... На эту содержательную телеграмму последовал ответ: «Вр. Правительство постановило 45-й,

46-й, 47-й и 52-й полки расформировать, подстрекавших к неповиновению офицеров и солдат предать суду»...

Расформирования непокорных боевых частей шли и в других местах тысячеверстного фронта. Не желающие идти в наступление открыто об'являлись то там, то сям. Расформирование таких частей сопровождалось иногда крупными недоразумениями. Так, при расформировании «некоторых небоеспособных дивизий» на румынском фронте (донесение ген. Щербачева от 27 мая) пришлось прибегнуть к силе и послать одни части против других. Такого рода беспорядки на фронте, несмотря на общий успех агитации Керенского, делали успех наступления весьма сомнительным. Невыносимая усталость и стихийная тяга домой находили все большую опору в заработавшей солдатской мысли, которая ставила роковые вопросы и требовала оправдания войны.

Проявления этого процесса наблюдались не только на фронте. Керенскому приходилось распоряжаться о репрессиях и в тылу. В те же дни он послал телеграмму о расформировании в Нижний, где произошли беспорядки на почве наступленской операции. Особенно же нашумело дело царицынских солдат, которые подняли на штыки патриотического оратора. В Царицыне, уже явно под влиянием большевистской агитации, солдаты теперь не позволяли говорить о войне, как раньше не позволяли говорить о мире.

Движение солдат в пользу безотлагательной ликвидации войны назревало быстро. Программы скорейшего всеобщего мира нельзя было не выполнять в условиях революции. Но коалиция,

опираясь на Совет, выполняла программу войны. Солдатам не давали всеобщего «почетного» мира. И они стали неудержимо тяготеть к миру вообще, к такому миру, который в скором времени получил наименование «похабного».

Программу же войны военный министр форсировал свыше меры. Кроме агитации и организации наличного войска, Керенский готовил новые мобилизации. Под ружьем стояло несколько миллионов, но не нынче-завтра новыми призывами должны были быть опустошены всякого рода тыловые учреждения... Помню, в частности, в эти дни мне пришлось возиться с приостановкой массового призыва артистов, которых Керенский требовал на фронт, обрекая на закрытие театры. Артистов, посылаемых ко мне Горьким, удалось, кажется, отстоять. Но возникали вопросы и более серьезные...

В конце мая с балкона редакции «Новой Жизни», выходившего на Невский, мы однажды наблюдали странную манифестацию. Ее голова и хвост терялись вдали; манифестация растянулась чуть не на версту. В ней шли рядами пожилые люди, одни мужчины, в сомнительно-солдатской форме. Шли они вяло, опустив головы, в необычном глубоком и мрачном молчании. Никаких знамен при них не было, но были убогие значки с надписями: «Деревня без рабочих рук!» «Наша земля не засеяна!» «Мы не можем добыть хлеба для рабочих!» «Наши семьи голодны в деревне!» «Пусть сражаются молодые!»... Это были солдаты старше 40 лет. Они уже давно, но безуспешно, требовали демобилизации. И сейчас эта мрачная манифестация, неизвестно кем организованная, говорила о том, что они начинают терять терпение... «Сорокалетние» направлялись к Мари-

инскому дворцу. Там был к ним командирован селянский министр Чернов, наиболее близкий их сердцу. Он произнес им длинную витиеватую речь, что-то обещая, но вместе с тем ничего не обещая... «Сорокалетние» разошлись неудовлетворенные, определенно затаив злобу...

Война становилась дальше нестерпимой. Политика войны вместо мира становилась ненавистной все более широким слоям. Стихийные силы против войны, против ее поддержки, против всей ее организации — накоплялись капля за каплей, день за днем.

* * *

Наша писаная конституция в то время гласила: власть принадлежит коалиции крупной и мелкой буржуазии; это — революционная власть, об'явившая демократическую программу и пользующаяся полным доверием всего народа, кроме безответственных групп справа и слева. Неписаная конституция гласила: вся власть принадлежит Совету, который передоверил ее буржуазии, действующей от его имени вопреки об'явленной программе, вопреки насущным нуждам народа и непреложным требованиям момента; эта фиктивная власть буржуазии, при фактическом господстве народа, политически вредна и технически бесполезна.

Это неустойчивое положение, это внутреннее противоречие начало кое-где сознаваться и, во всяком случае, кое-где — сознательно или бессознательно — разрешаться. Выражалось это в том, что местные советы в иных местах стали заявлять: за полной бесполезностью и вредностью официальных

правительственных комиссаров и прочих агентов, мы отныне перестаем с ними считаться и окончательно закрепляем существующее у нас положение вещей, т. е. формально берем местную административную власть в свои руки. Это произошло во второй половине мая в разных концах России, — в Царицыне, в Херсоне, в Кирсанове и еще кое-где.

Это называлось в то время на языке буржуазной прессы — об'являть независимую республику. Разумеется, эта высшая степень «анархии» повергла в ужас благонамеренные группы и вызвала отпор со стороны Совета. Умные и добросовестные газетчики, доискиваясь причин этого возмутительного явления, кричали о расчленении России, упоминая ни к селу ни к городу о сепаратизме, о злонамеренных личностях, о немецких интригах, но не желая знать действительных причин.

Несомненно, санкционировать это явление было нельзя ни с какой точки зрения. Эти самочинные реформы местных советов, действительно, вносили только лишний беспорядок и путаницу, как в об'ективный ход вещей, так и в головы масс; тем более, что усилиями Исп. Комитета «республики» скоро ликвидировались. Сепаратный «захват власти» на местах был несостоятелен ни фактически, ни методологически — с точки зрения изменения конституции вообще. Но излечить, устранить это явление было нельзя ничем, кроме изменения конституции.

Самым громким делом о независимой республике было кронштадтское дело... Кронштадт уже давно был бельмом на глазу не только у буржуазии, но и у Исп. Комитета. Традиционный очаг революции еще при царе, он ныне считался гнездом боль-

шевизма. Некоторыми своими действиями и свойствами он уже давно заставлял на себя коситься злобных обывателей и ревнивых советских лидеров.

В частности, кронштадтские матросы, как известно, в первый момент революции убили многих офицеров, а остальных — не знаю, всех ли и скольких именно — держали в тюрьмах, как слуг старого режима. Над заключенными готовился суд, который должен был соблюсти все гарантии и состояться при участии столичных адвокатских светил. Но кронштадтцы не соглашались до суда выпустить офицеров из-под своего личного наблюдения и не позволяли перевести их в другие тюрьмы. На этой почве возникли «достоверные известия» о кронштадтских зверствах, об истязании матросами офицеров. Один либеральный профессор напечатал в бульварной газете статью, где описывалось положение заключенных. Профессор взывал и к разуму, и к справедливости, и к достоинству революции, и к недавнему прошлому революционеров, только что покинувших царские застенки, только что снявших кандалы с собственных ног. Статья произвела сильное впечатление и была подхвачена сотнями тысяч глоток. Стали требовать расследования, предвкушая моральный урон и последующий прижим кронштадтской анархии.

Однако, патриотам и благонамеренным гражданам пришлось разочароваться. Даже расследования тюрем и зверств, насколько я помню, не состоялось. Ибо большие газеты, не дожидаясь его, послали в Кронштадт своих корреспондентов, которым местный совет предоставил полную свободу изучения дела на месте, путем осмотра тюрем и бесед с заключенными; и корреспонденты были

вынуждены напечатать такие описания Кронштадта, которые ни в малейшей мере не подтвердили обывательских россказней. Единственно, что было в них верно, это — немыслимые помещения для заключенных. Но это были те самые помещения, которые построил царизм в свое время для своих врагов, и откуда недавно вышли передовые матросы Кронштадта.

На кронштадтских матросах тяготело не только обвинение в зверствах. Анархически настроенные, они ведь разрушили флот и привели крепость, защищающую столицу, в небоеспособное состояние. На чем основывались подобные заключения, было неизвестно; но что это так, в этом не сомневался никто из добрых граждан... А кроме того, кронштадтцы завели у себя какие-то свои порядки, неизвестно почему и зачем. Конечно, там царит полнейшая анархия и разложение... И вообще терпеть у себя под боком — вместо защиты от немцев — гнездо оголтелых разбойников или хотя бы «нелойяльные» и сомнительные элементы — было крайне неудобно.

Даже близкие к политике люди, даже в советских кругах полагали, что кронштадтский совет во всяком случае находится в руках большевиков. Действительно, среди местного гарнизона и матросов пользовались огромным влиянием два большевистских агитатора. Первый из них мичман Ильин-Раскольников, уже немного знакомый нам по третьей книге и хорошо знакомый современникам в качестве коммунистического адмирала. Второй — юноша Рошаль, которого лично я почти не знал до самой его гибели в гражданской войне 1918 года; публичные же выступления его в те времена ярко

демонстрировали такую его желторотость, такой ничтожный багаж его, что источник его влияния я об'яснить никак не сумею.

Влияние обоих молодых людей среди кронштадтцев было чрезвычайно сильно. Несомненно, что они лидерствовали и среди масс, и в местном совете. Но мнение, будто бы кронштадтский совет был большевистским, все же было основано на чистейшем недоразумении. Только 4-го мая в кронштадтский совет состоялись новые выборы. Прошло большевиков 91, эсеров 93, меньшевиков 46 и беспартийных 70. Большевиков, сравнительно с другими советами, было не мало, но все же и в анархическом гнезде они пока не составляли и одной трети.

И вот этот меньшевистско-эсеровский совет, 17 мая, об'явил Кронштадт «независимой республикой»... Уже по одному этому было ясно, что дело не особенно страшно. По существу же оно сводилось к следующему. В десятых числах мая Вр. Правительство назначило в Кронштадт особого коменданта крепости и особого начальника порта, функции которых до того времени — soit dit — выполнял правительственный комиссар, кадет Пепеляев, будущий министр и соратник Колчака в гражданской войне. После этих назначений сам Пепеляев считал свою миссию законченною и достиг на этот счет полного соглашения с кронштадтским Исп. Комитетом. Но правительственные власти полагали, что гражданское управление отныне перейдет к коменданту крепости. А местный Исп. Комитет 13 мая постановил: «единственной властью в городе Кронштадте является совет р. и с. д., который по всем делам государственного порядка входит в не-

посредственный контакт с Вр. Правительством. Административные места в Кронштадте занимаются членами Исп. Комитета»...

Вот и вся история кронштадтского преступления. Гораздо длиннее история наказания... Поднялся переполох. Пепеляев бросился к Львову, Львов бросился к Церетели: спасайте Россию от анархии и расчленения!.. В бюро Исп. Комитета немедленно потребовали кронштадтскую делегацию, которая раз'яснила, что кронштадтский совет «вполне стоит на платформе петроградского», хотя и... «не совсем уясняет себе взаимоотношение центрального Совета и Вр. Правительства». Это было не в бровь, а прямо в глаз: уяснить эти взаимоотношения — со стороны, свежим людям было не так легко. Мы скоро увидим, как вся армия уже путалась в этой неразберихе и в этом явном противоречии.

Немедленно полетела в Кронштадт советская делегация, даже не одна. Полетел весь цвет советской государственной мудрости: Церетели, Скобелев, Гоц, Либер, Войтинский, Анисимов... Делегации выступали и убеждали кронштадтцев в исп. комитете, потом в совете, потом на площадях и в фортах. И по всем пунктам было достигнуто соглашение. Вернувшись в Петербург, министры-социалисты могли успокоить своих коллег: в кронштадтском совете они провели резолюцию как нельзя более лойяльную, принятую большинством в $^3/_4$ голосов.

Резолюция эта гласила:

«Согласуясь с решением большинства демократии, признавшего нынешнее правительство облеченным полнотой государственной власти, мы, с своей стороны, вполне признаем эту

власть. Признание не исключает критики и желания, чтобы революционная демократия создала новую организацию центральной власти, передав всю власть в руки Совета Р. и С. Д. Но пока это не достигнуто ... мы признаем это правительство и считаем его распоряжения и законы столько же распространяющимися на Кронштадт, сколько на все остальные части России. Мы решительно протестуем против попыток приписать нам намерение отделиться от остальной России в смысле организации какой-нибудь суверенной или автономной государственной власти внутри единой революционной России, в противовес нынешнему Вр. Правительству».

Конечно, было опять-таки не легко уяснить себе кронштадтские отношения к правительству, от административных услуг которого кронштадтцы самочинно отказались. Но все же было ясно, что после такой резолюции конфликт на исходе. Однако, советские лидеры не желали этим ограничиться и сочли за благо учинить кронштадтцам публичную экзекуцию.

* * *

Созвали торжественное заседание в Мариинском дворце, 22 мая. — В порядке дня были выборы нового президиума: в президиум без прений и возражений были дополнительно избраны Дан, Гоц и Анисимов. Перед этим в Исп. Комитете шла борьба за введение в президиум представителя оппозиции, за создание коалиционного президиума. Я лично указывал в прениях «звездной палате», что в европейских парламентских странах, даже не столь демократических, буржуазия не препятствует вхождению в президиум социалистов; что такая степень демократизма элементарна и обязательна даже для германского черно-голубого блока. Но в Исп.

Комитете все эти предложения были грубо отвергнуты. А в Совете — подняли руки.

После «выборов» происходили длинные об'яснения с Керенским, который явился неожиданно и нарушил порядок дня. Затем должен был обсуждаться вопрос об об'явленной на следующий день забастовке. Но центральным пунктом была экзекуция над кронштадтцами. От имени кронштадтского совета выступали Раскольников и Рошаль. Они держали не только горячие и искренние, но и вполне логичные речи. И при том эти речи дышали «лойяльностью»; они были... почти «лойяльны». Но все же в них было не все в порядке: ибо об'ективная ситуация была и нелогична, и нелойяльна.

— Мы не откладываемся, — говорил, немного картавя по-детски, Рошаль, — но мы не хотим чиновников 20 числа. У нас нет и не было никакой дезорганизации, у нас образцовый порядок. Приезжайте, посмотрите! Но мы идем в сторону последовательной демократии...

— С самого начала совет у нас выражал всю полноту власти, — заявлял затем Раскольников, — правительственного комиссара никто не знал, не замечал, не интересовался им. Он был совершенно лишним и действовал всецело по нашей воле, подчиняясь строгому контролю. Мы и решили об'явить об этом честно и прямо. Мы хотели сказать, что не желаем чиновников Вр. Правительства, назначаемых сверху.

Но каковы бы ни были речи молодых людей, кронштадтцы должны были быть всенародно высечены, во-первых, резолюцией, а во-вторых, громовыми выступлениями министров-социалистов. Резолюция об'являла, что кронштадтцы пошли по неправильному

пути, что «захват власти местными советами идет вразрез с политикой, проводимой всей революционной демократией, стремящейся к созданию сильной центральной власти и пославшей своих представителей во Вр. Правительство»... А затем начались часовые нотации министров. Церетели, в частности, вернулся к тюремным зверствам и особенно напирал на них, хотя по этому пункту было достигнуто полнейшее соглашение...

Остальных министров я не слышал: я отправился в соседний театр, на концерт из произведений Вагнера. Это было впервые за все годы войны. Отвратительный, бессмысленный шовинизм лишил нас на все это время даров гениального немца. И после такого поста никакие силы меня не могли удержать от этого концерта. Публика чувствовала и держала себя на нем, как на святом празднике...

Когда, после концерта, я вернулся снова в Мариинский дворец, заседание еще продолжалось. С Кронштадтом покончили. Слушали краткий доклад о забастовке. Бюро Исп. Комитета констатировало, что стачечный комитет захватил компетенцию Совета, предложившего правительству учредить третейский суд. Впрочем, — «благодаря стараниям Совета, забастовка на заводах отсрочена, будут вестись переговоры, которые, вероятно, приведут к благополучному решению кризиса»...

Работа «звездной палаты» была недурная. Львову и Терещенке нелепо было требовать большего... Но кронштадтцев, поощряемых большевистскими агитаторами, поведение Совета оскорбило и взорвало. На другой же день в Кронштадте началось некоторое возбуждение, митинги, манифестации.

Массы начали обвинять своих лидеров в излишней мягкости и уступчивости. А 26-го числа кронштадтским советом был опубликован такой документ: «мы остаемся на точке зрения резолюции 17 мая и раз'яснения 21-го мая, признавая, что единственной местной властью в Кронштадте является совет р. и с. д.» Раз'яснения же, данные министрам-социалистам и советским делегациям, кронштадтцы об'являли имеющими одно только принципиальное, высоко-политическое, а не практическое, не административное значение.

Конечно, поднялась еще большая суматоха. Вр. Правительство озаботилось немедленным созывом петербургского совета, а само стало ждать. Совет собрался в Александринском театре в сравнительно небольшом составе, того же 26 мая. Резко и ядовито выступал в пользу «красного Кронштадта» Троцкий и произвел основательное впечатление. Но окончательно шельмовал и отлучал кронштадтцев Церетели... Я попросил у Дана заготовленную резолюцию, которая показалась мне вызывающей и безобразной. Я спросил Дана, неужели они рассчитывают ликвидировать конфликт войной, вместо того, чтобы достигнуть вполне возможного соглашения с товарищами, рассуждающими по иному. Дан, отмахиваясь, только проворчал:

— Вы не знаете большевиков!..

Дан полагал, что он их знает лучше. Ну, что-ж!.. Резолюция его была, конечно, принята. Не знаю, обратил ли Дан внимание на то, что за нее голосовало большинство в 580 человек против 162 при 74 воздержавшихся. Такое соотношение было новостью. Но победителям, вероятно, было не до таких мелочей. В резолюции значилось:

. . . «отпадение от революционной демократии, выразившей правительству полное доверие и давшей ему полноту власти», «удар по делу революции, ведущей к ее распаду»; затем снова — «позорящие революцию акты мести и расправы» над заключенными . . . Дальше, без видимой связи, но с понятным умыслом, констатируется, что «дезорганизаторские акты, создающие почву для контр-революции, противоречащие воле всей демократии и означающие отпадение от России, стали возможны лишь потому, что Кронштадт в изобилии снабжен продовольствием и всем необходимым (!). И, наконец, Совет требовал от кронштадтцев «немедленного и беспрекословного исполнения всех предписаний Вр. Правительства, которые оно сочтет необходимым издать».

Правительство ждало этой резолюции до полуночи, а затем «предписало» эвакуировать Кронштадт от неблагонадежных элементов, послав беззамедлительно все учебные суда в Биорке и Трансунд для летних занятий.

Совет хорошо поработал для полноты власти Львова и Терещенки. Но все же Церетели этого показалось мало. Он отправился апеллировать на Кронштадт крестьянскому с'езду. Казалось бы, для этого с'езда это дело было постороннее, тем более, что сотням делегатов уже давно пора было отправляться по домам. Но ради лучшего настроения буржуазии Церетели заставил с'езд посвятить свое последнее заседание Кронштадту.

Он стал «поднимать настроение» мужичков опять-таки рассказами о кронштадтских зверствах и заявил, что «кронштадтцы должны искупить свой великий грех перед всей Россией лишь подчинением воле всей революционной демократии». Для мужичков это, право, было недурно... Троцкий пытался протестовать и предложить свою резолюцию. Но на него заулюлюкали и резолюцию его, по предложению того же Церетели, признали не

стоящей внимания. Советский лидер предложил другую. К тому, что нам уже известно, крестьянский с'езд прибавил: «трудовое крестьянство откажет кронштадтцам в продуктах потребления, если они немедленно не соединят свои силы с общими силами и не признают Вр. Правительства, в состав которого демократия послала свои лучшие силы, поддерживает его и тем самым дает ему всю полноту власти»... В заключение с'езд обещает еще особую поддержку правительству в его решительной борьбе с Кронштадтом... Очень хорошо. Лишить Кронштадт огня и воды! Вот где тайна тонкого намека, что кронштадтцы бесятся с жиру.

Эпилогом было воззвание «кронштадтских матросов, солдат и рабочих ко всей России». Это превосходно написанная, горячая и полная достоинства прокламация. Я полагаю, что она написана Троцким, принимавшим очень близкое участие в кронштадтских делах. Она выдержана в очень умеренном стиле и хорошо выражает тогдашнюю «концепцию» большевистских групп ленинской периферии. (Сам Ленин ее, несомненно, не разделял, но попустительствовал ей.)...

Прокламация возражает против утверждений, будто Кронштадт отказался признавать власть Вр. Правительства и образовал самостоятельную республику. Это бессмысленная ложь, жалкая и постыдная клевета! Но — «твердое убеждение нашей революционной совести» состоит в том, что «Вр. Правительство, состоящее в своем большинстве из представителей помещиков, заводчиков, банкиров, не хочет и не может быть подлинным правительством демократии... и что если в стране наблюдается анархия, то виною тому буржуазная поли-

тика, которая в продовольственном, земельном, рабочем, дипломатическом и военном вопросах не служит подлинным интересам народа, а идет на поводу у имущих и эксплоатирующих классов. Мы считаем, что Совет Р. и С. Д. совершает ошибку, поддерживая это правительство. Но за это наше убеждение мы боремся честным орудием революционного слова». И оставаясь «на левом фланге великой армии русской революции, мы убеждены, что близок час, когда об'единенными силами трудящихся масс вся полнота власти в стране перейдет в руки Совета Р. и С. Д.»...

Таков был эпизод с Кронштадтом, отразивший в себе, как в капле воды, всю тогдашнюю кон'юнктуру. Мы видели в этом зеркале самые характерные позы правительства, Совета и народных «низов». Прибавить к этому больше нечего.

* * *

Страна реагировала на коалиционную политику не только эксцессами и «движениями» — рабочим, крестьянским, солдатским, «республиканским». Коалиция усиленно питала и определенное общественное течение. Стихийный протест, стихийное стремление осуществить непреложную программу революции — уже тогда, в мае месяце, оформлялось под знаменем большевизма.

Надо ли говорить о том, какую агитационную энергию развила в столь благоприятной среде партия Ленина! Надо ли говорить, что — равнодушная к борьбе внутри советских учреждений — она лихорадочно действовала вне их и жила, и росла вместе с массами!.. И работа эта начала сказы-

ваться быстро и ярко. Имена Ленина и его соратников, ежедневно обливаемые ушатами грязи, все еще были одиозны и подозрительны для серых масс. А на советских организованных собраниях большевикам попрежнему устраивались скандалы, и поле битвы оставалось за правящим советским блоком. Но во всяком случае большевиков уже слушали — не только среди «низов», но и среди солдатско-крестьянской гвардии Авксентьева и Церетели.

На офицерском с'езде 20-го мая попрежнему требовали ареста Ленина, говоря, что иначе народ убьет его. Но именно в тот же день Ленин появился на крестьянском с'езде... Вообще говоря, Ленин держался в те времена совершенно исключительным способом, как никто больше, — держался большим аристократом. Его никто никогда не видел ни в советских заседаниях, ни в кулуарах; он попрежнему пребывал где-то в «подземельях», в тесных партийных кругах. А когда являлся в собрания, то требовал слова вне очереди, нарушая порядок дня. Такая его попытка выступить по-министерски на крестьянском с'езде не удалась несколько дней тому назад, и Ленину пришлось уехать: ибо дожидаться слова было не в его правилах. Сейчас же, 20-го числа, Ленин при полном внимании крестьянского с'езда развил свою программу «прямого действия», свою тактику земельных захватов независимо от обще-государственных норм. Казалось бы, Ленин попал не только в стан злых врагов, но — можно сказать — в самую пасть крокодила. Однако, мужички слушали внимательно и, вероятно, не без сочувствия. Только не смели этого обнаружить...

Около того же времени, в Исп. Комитете прошел

однажды слух, что Ленин в «белом зале» выступает перед солдатской секцией. Это была самая верная опора Чайковского и Церетели, это были преторианцы коалиции. Казалось, Ленину не поздоровится. Я поспешил в «белый зал». Ленин был уже давно на трибуне и говорил ту же речь, что и на крестьянском с'езде. Я сел ряду в седьмом, в недрах солдатской аудитории. Солдаты слушали с величайшим интересом, как Ленин разносил аграрную политику коалиции и предлагал решить дело самочинно, без всякого Учр. Собрания... Но оратора вскоре прервали с председательского кресла: время его истекло. Начались пререкания о том, дать ли Ленину продолжать речь. Президиум, видимо, не хотел этого, но собрание ничего не имело против. Ленин, скучая, стоял на трибуне и вытирал платком лысину; узнав меня издали, он весело закивал мне. А около меня слышались комментарии:

— Ведь у́мно говорит, у́мно... А? — обращался один солдат к другому.

Большинством собрания было постановлено **дать** Ленину окончить речь... Предубеждение было ликвидировано, лед был сломан. Ленин и его принципы начинали просачиваться даже в толщу преторианцев.

Троцкий и Луначарский, как известно, не были в то время членами большевистской партии. Но эти первоклассные ораторы уже успели стать популярнейшими агитаторами в течение двух-трех недель. Успехи их начались, пожалуй, с Кронштадта, где они гастролировали очень часто. В Кронштадте уже в половине мая Керенский, подготовлявший наступление, фигурировал с эпитетами: «**социалист-грабитель и кровопийца**».

В своей агитации на фронте, Керенский, видимо,

хорошо ощутил именно большевистскую опасность. Уже 15-го числа на фронтовом с'езде в Одессе Керенский обрушился на ленинцев — в выражениях, достойных цитаты: ибо здесь, пожалуй, было положено начало.

— Нам угрожает серьезная сила, — говорил военный министр. — Люди, об'единившиеся в ненависти к новому строю, найдут путь, которым можно уничтожить русскую свободу. Они достаточно умны, чтобы понять, что провозглашением царя ничего не достигнут, так как нет штыка и шашки за них. И они идут путем обманным, путем проклятым, идут к голодной массе и говорят: требуйте всего немедленно, — шепчут слова недоверия к нам, всю жизнь положившим на борьбу с царизмом. И мы должны сказать им: остановитесь, не расшатывайте новые устои...

Это не было грубо-лубочное тыканье в глаза провокаторами Малиновским и Черномазовым. Это было, так сказать, квалифицированное сваливание в одну кучу провокаторов и большевиков. Керенский уже, видимо, начал усваивать идею, что большевизм есть некая растущая сила, враждебная революции. Через несколько дней он до крайности запальчиво и раздраженно упирал на это в упомянутом торжественном заседании Совета в Мариинском театре (где совершалась экзекуция над кронштадтцами). Перед восторженно рукоплескавшей толпой он опять говорил о личной травле, об интригах за спиной, о действиях из-за угла и прямо обвинял большевиков в измене революции.

— Вот эти-то люди, — кричал он, — и подготовляют путь для настоящей узурпации и для захвата власти единоличным диктатором...

В этом заседании, с возражениями Керенскому, выступил, между прочим, Луначарский, доселе неизвестный Совету. На вопрос, какой он партии, он назвал себя социалдемократом-интернационалистом. Совет тут же оценил блестящие ораторские качества Луначарского. При том он не говорил ничего особенно «вредного»: отстаивая свободу критики и мягко критикуя деятельность военного министра, он подчеркивал личное уважение к нему оппозиции и даже желал ему «дальнейших успехов».

Но это не помогло. Заострение мысли Керенского против большевиков все больше и все сильнее проникало всю его деятельность день ото дня...

И вообще «вопрос о большевиках» всплывал на поверхность, как очередная государственная проблема. В передовице 25 мая «Речь» хорошо формулировала это, призывая государство и народ к решительной борьбе с этой грозной опасностью...

Спокойнее всех относились к ней, пожалуй, советские лидеры в Таврическом дворце. Церетели был слеп, как филин, при ослепительном свете революции, и замазывал глаза соседям. В Таврическом дворце советские лидеры, позевывая, твердили пошлости о том, как они отлично устраивают судьбу страны, как спасают революцию от имени «всей демократии».

Между тем факты говорили за себя все более красноречиво. Если в солдатской секции пока еще только сочувственно слушали Ленина, то в иных полках столицы, недавно лойяльных Родзянке, уже основательно слушались большевиков. Подобно тому, как Рошаль в Кронштадте, в иных полках приобрели уже исключительный авторитет местные и неизвестные большевистские деятели. В частно-

сти, уже был верен Ленину 1-й пулеметный полк, в котором действовал некий прапорщик Семашко. Когда он, в конце мая, был случайно арестован, весь пулеметный полк в полном составе выступил на улицы, освободил Семашко и вынес его на руках из комендатуры. Это уже была военная сила в руках большевистского центр. комитета.

Но, разумеется, в первую голову под знамена большевизма стягивался петербургский пролетариат... Я упоминал, что частичные перевыборы Совета на заводах давали исключительно оппозиционных делегатов. Это были именно большевики. Я упоминал также, что против резолюции о Кронштадте в Совете голосовало 162 человека. Это были также большевики, которые составляли уже добрую треть рабочей секции... Правда, все это было еще небольшое меньшинство, не способное влиять на голосования. О нем считали нестоящим думать сонные мамелюки. Но вот что произошло в последних числах мая.

* * *

30-го числа в «белом зале» открылась конференция фабрично-заводских комитетов столицы и ее окрестностей. Конференция выросла из «низов», ее план был разработан на заводах — без всякого участия не только официальных органов труда, но и советских учреждений. Это была инициатива и организация большевистской партии, которая непосредственно апеллировала к массам, — апеллировала косвенно, почти прямо, на Совет. Организационное бюро конференции состояло в большинстве из большевиков. Вдохновлял Ленин, действовал главным образом Зиновьев.

Не в пример рабочей секции Совета, которая перевыбиралась постепенно, не особенно быстрым темпом, — конференция фабрично-заводских комитетов была только что избрана целиком и выражала точно настоящую физиономию петербургского пролетариата. Она была действительно его представительством, и рабочие от станков, в большом числе, принимали активное участие в ее работах. В течение двух дней этот рабочий парламент обсуждал экономический кризис и разруху в стране. И, разумеется, связал экономику с политикой. Правительственные меньшевики, а также и некоторые интернационалисты отстаивали организацию хозяйства государством, — оставляя в тени вопрос, каким именно государством. Большевики же, Ленин и Зиновьев, при поддержке рабочих-ораторов, впервые развернули здесь свой лозунг «рабочего контроля».

Схема, предлагаемая большевиками, была неясна, неполна, неубедительна, эклектична и противоречила марксизму; большевикам пришлось потом долго изживать принципы этой схемы, или — точнее — ее беспринципность. Но — предложенная после горячих речей о тяжком положении рабочего класса, об алчности буржуазии, о саботаже коалиции — она была радикальна и казалась действительным выходом из положения. Центральные пункты внесенной Зиновьевым резолюции гласили: «. . . путь к спасению от катастрофы лежит только в установлении действительного рабочего контроля над производством и распределением продуктов. Для такого контроля необходимо, во-первых, чтобы во всех решающих учреждениях было обеспечено большинство за рабочими не менее $^2/_3$ всех голосов при

обязательном привлечении к участию как не отошедших от дела предпринимателей, так и технически научно образованного персонала; во-вторых, чтобы фабричные и заводские комитеты, а равно профессиональные союзы получили право участвовать в контроле с открытием для них всех торговых и банковых книг»... Этот рабочий контроль «должен был немедленно развиться путем ряда мер в полное регулирование производства и распределения продуктов рабочим». Затем предполагалась и «организация в широком областном, а затем и в общегосударственном масштабе обмена сельскохозяйственных орудий, одежды, обуви и т. п. продуктов на хлеб и др. сельскохозяйственные продукты».

Несмотря на эту туманную апелляцию к «общегосударственному масштабу», вся схема носит на себе печать мелкобуржуазного анархизма. В ней проектируется, в сущности, не что иное как захват отдельных предприятий группами занятых в них рабочих (с привлечением «не отошедших от дела» хозяев), т. е. намечается создание рабочих коммун, налаживающих между собою обмен и самоснабжение. В этой схеме не было ни грана — ни марксизма, ни того, что пришлось проводить самим большевикам в эпоху их относительной государственной зрелости...

Резолюция Ленина и Зиновьева в последнем пункте отмечала, что «планомерное и успешное проведение указанных мер возможно лишь при переходе всей власти в руки Советов Раб. и Солд. Депутатов». Это, конечно, было правильно: ибо программа, по ее общему смыслу, была законченно-пролетарская и требовала диктатуры пролетариата.

Но заключительный пункт не заключает в себе ни намека на то, что проводить программу будет пролетарское государство; схемы самоуправляющихся коммун этот пункт не затрагивает; да «советы», в руки которых должна перейти «вся власть», и не были **приспособлены**, как не были **предназначены** к организации хозяйства и труда.

Впоследствии коммунистической властью все эти «принципы» были изжиты и превращены в собственную противоположность (с изрядным перегибанием палки). Тогда же против них вполне правомерно боролись меньшевики, как правые, так и левые; но слабость их была в том, что они **политические** концы не связывали с **экономическими** концами. Правые возлагали на **коалицию** непосильную для нее задачу регулирования хозяйства; левые, презирая коалицию, не давали ответа на прямой и простой вопрос: **какое же** государство организует хозяйство и труд?..

Итоги прений — по ходу их — не были неожиданны. Но самый факт этой конференции, в связи с итогами ее работ, был высоко знаменательным. Это было историческое событие первостепенной важности. Оно не нашло себе должной оценки в то время не только в среде слепых, самодовольных мамелюков, но и в среде более зоркой буржуазии. Газеты гораздо больше занимались офицерским с'ездом, где заглазно оплевывали большевиков, или «частным совещанием Гос. Думы», снова открывшимся в эти дни. Но на деле конференция фабрично-заводских комитетов означала не больше, не меньше как то, что петербургский пролетариат, гегемон революции, ныне идет за большевиками. Ленин, пользуясь незаменимой помощью Церетели,

Керенского и всей коалиции, уже завоевал умы рабочей столицы. И дальнейший ход революции можно было отныне считать вполне предопределенным.

При голосованиях за большевиками пошло 335 рабочих представителей из 421. Резолюция правящего советского блока, предложенная меньшевиком Череваниным, собрала только одну пятую голосов. И при том вспомним, что резолюция эта говорила о том, чего не выполняло и не могло выполнить правительство правящего блока. Она говорила о радикальном «регулировании промышленности».

Победа большевизма была полная... Конференция фабрично-заводских комитетов в заключение постановила: «организовать в Петрограде общегородской центр из представителей всех фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов; этому центру должна принадлежать руководящая роль в осуществлении всех намеченных выше мер (контроль и пр.) в пределах Петербурга»...

Этот центр, попавший всецело в руки большевиков, естественно должен был стать отныне вообще самым авторитетным центром для петербургского пролетариата. Он должен был естественно вытеснить и заменить собой капитуляторский Совет. Если этого не произошло, то только по одной причине: советская рабочая секция — как в Петербурге, так и в Москве — неудержимо, день ото дня наполнялась большевиками. Большинства еще не было, и когда оно образуется, точно сказать было нельзя. Но оно будет, и оно не за горами — в этом сомневаться было нельзя.

Да и сейчас, пока его не было, через день-два после закрытия конференции, в рабочей секции

Совета, произошло доселе неслыханное, не менее знаменательное событие. Обсуждался снова нудный вопрос о разгрузке Петербурга. По недосмотру «звездной палаты» Исп. Комитет принял резолюцию, направленную более или менее против разгрузки. И с соответствующей речью против Пальчинского и прочих выступил «разумный оборонец» Богданов. Но предложенная им резолюция Исп. Комитета (впервые в нашей истории!) все же провалилась. А была принята резолюция большевиков, которая была также направлена против разгрузки, но кончалась лозунгами перехода всей власти «советам»...

Так хорошо и быстро работали на будущую «советскую власть» министры коалиции.

Керенский в это время пожинал лавры в Москве. К улицам, по которым он проезжал, сбегались толпы. Его автомобиль забрасывали цветами. Керенский, стоя в нем, раскланивался с «народом». Он был на вершине своей популярности. Он был героем и предметом обожания — для обывателей и межеумков... В это время Ленин твердой стопой проходил ступень за ступенью, все дальше, все выше, закрепляя каждый свой шаг сталью пролетарских рядов, опираясь на единственный незыблемый базис революции.

* * *

И, наконец, в те же дни произошли в столице муниципальные выборы. На основе всеобщего голосования в Петербурге создавались «районные думы»... К этим первым выборам столица готови-

лась энергично уже несколько недель. Формировались группы, составлялись списки кандидатов, шла устная и печатная агитация, какая может иметь место только в периоды огромных всенародных под'емов, бушующих страстей и неизжитых надежд.

В советских секциях вопрос о муниципальных выборах был поставлен еще 10-го и 12-го мая. Вопрос заключался в том, какие группировки надлежит создать, в какие блоки кому об'единиться. Большевики, во главе с Зиновьевым и Каменевым, энергично работали в обеих секциях. Они настаивали на блоке большевиков с интернационалистами разных оттенков (с меньшевиками, левыми эсерами и «междурайонцами») против буржуазии и правящего советского блока. Официальные же советские ораторы требовали блока всех советских партий против буржуазии.

Такое об'единение всех демократических сил перед лицом об'единенной буржуазии на практике было фиктивно и лицемерно, но в теории оно было вполне рационально. Огромный диапазон Совета — между Церетели и Зиновьевым — не имел бы значения при «деловых» районно-муниципальных выборах... Буржуазия, с своей стороны, действовала дружным единым фронтом: все бывшие октябристы и националисты, все старые бюрократы и черносотенцы внимали призывам «Нового Времени» голосовать за кадетов. Против сплоченных городских толстосумов было вполне рационально пойти сплоченными рядами столичной (пролетарской, мелкобуржуазной, чиновно-служащей, интеллигентской) бедноте, имеющей единые интересы в городском хозяйстве.

Однако, произошло неизбежное: в атмосфере широкой классовой борьбы стороны почти забыли о *муниципальной платформе*. Яростная кампания велась под *политическими* лозунгами. И при таких условиях не могло быть речи об общесоветском блоке. Большевики решительно выделились из него и потянули за собой интернационалистов. А вслед затем перепутались группировки, нарушилась демаркационная линия, стерлась граница между демократией и плутокатией. С одной стороны, черносотенное «Вечернее Время» заявляло, что кроме кадетского «приемлем» еще список плехановской группы «Единство». С другой стороны, советский правящий блок выступал на выборах вместе с «Единством». И, наконец, в самые дни выборов буржуазная пресса завопила: «голосуйте за кого хотите, но только не за большевиков»... Демаркационная линия при «деловых» выборах прошла, стало быть, там же, где проходила она и в сферах высокой политики: между коалицией советско-плутократических групп и пролетариатом.

Большевики, в представлении обывателей, а также и проницательной «звездной палаты» — были изолированы. Интернационалистские группы выступали на выборах и блокировались с большевиками не во всех районах. И во всяком случае они были слабы. Это были, главным образом, меньшевики-интернационалисты. Левые эсеры, хотя имели и резко выраженную физиономию, и бойкую газету «Земля и Воля», но не имели никакой своей организации, составляя нераздельную часть «самой большой русской партии». «Междурайонцы» имели отличных агитаторов, но не имели организованных масс. Советский блок, предвкушая решительную

победу над кадетами, не сомневался, что он раздавит и большевиков.

Но наступили выборы. И оказалось прежде всего, что в рабочем, выборгском, районе дума получила большевистское большинство. А затем — во всей столице за «изолированную кучку» немецкого агента Ленина голосовало больше 150 тыс. избирателей. Большевики сравнялись, по числу собранных голосов, со всей об'единенной буржуазией.

Это было не мало. Это было не плохо. Это была победа... Ее прочный, несомненный фундамент во всяком случае был закончен. Дальнейшая линия революции, линия народных движений была предопределена. Правящий советский блок, если бы не был слеп, уже мог бы воочию видеть свое банкротство. Да, — большевистский крот, ты славно роешь!..

* * *

Наша «Новая Жизнь», в муниципальной кампании, первоначально защищала идею блока всех советских партий. Но как только обнаружился общий политический характер кампании и стала ясна безнадежность создания этого блока, «Новая Жизнь» стала на сторону интернационалистов, призывая голосовать за общие их списки там, где они были, а где их не было — за списки большевиков... За месяц работы газета выработала свою физиономию и нашла себе определенное место в тогдашней общественности. Нас читали, нас слушали, — это несомненно; мы имели постоянных читателей среди широких масс, и многие нас слушались, несмотря на беспартийность, т. е. внефракционность

газеты. В частности, нас упорно читал Кронштадт. Это всегда подчеркивали кронштадтцы, приглашая меня приехать к ним с лекцией или докладом. Но я — при всем желании и интересе — так ни разу и не собрался туда.

«Новая Жизнь» имела «успех», пришлась ко двору. Но велась она, как газета, очень слабо. Я вижу это не только сейчас, перелистывая комплект ее во время писания этих записок. Несовершенство газеты сознавалось всеми нами и в те времена. Особенно резко реагировал на это Горький. Он поварчивал, хмурился и часто требовал редакционных собраний, на которых ставил вопрос об общем ведении газеты. И он не раз выступал с заявлениями, крайне «содержательными», ставя вопрос ребром: так продолжать нельзя, лучше ликвидировать газету... Горький нервничал и нервировал других. Газета действительно была слаба, велась расхлябанно, невнимательно, не обслуживала многих насущных проблем. Но ведь работа еще только начиналась, ведь дело было только в упорной работе. Выводы Горького были несправедливы и неправильны.

Но дело-то было в том, что на психику Горького действовали не только дефекты редакторской техники. Он не чувствовал в те времена надлежащего контакта и со всем обликом нашего органа. Прежде всего, его натура не могла и не хотела принять боевую физиономию газеты, не мирилась с заострением редакторской работы на боевых, практических задачах политики. Горький не желал политики, не переносил ее в таких дозах. Он требовал культуры, быта, общих горизонтов, философии, истории...

А затем было и другое. Горький не твердо чувствовал правильность нашей политической линии, не твердо знал, надо ли держать наш резкий интернационалистский курс, участвовать в атаках на коалицию и на правящий советский блок. Горьким владели сомнения. И они вытекали неизбежно из той обстановки, которая окружала его.

Горький с утра до вечера вращался в кругах буржуазно-обывательской интеллигенции — ученых, художников, писателей. На Горького, как всегда, набрасывались все слои общества, борясь за него и желая иметь его своим. По роду же своей деятельности, он, по преимуществу, имел дело именно с этой перепуганной интеллигенцией, которая взялась за него вплотную. «Новая Жизнь» и ее направление отразились самым решительным образом на всех его обычных и неизбежных человеческих отношениях — в его «свободной научной ассоциации», в литературных, художественных кружках и обществах, где он действовал, с которыми он носился. Там его встречали с недоумением, смотрели на него как на жертву его подозрительных коллег по редакции. И убеждали, наседая тучами, не давая ни отдыха, ни срока... К нему приезжали промышленники и доказывали; как дважды два четыре, что рабочие — преступные лодыри, разрушающие промышленность, а вместе с нею культуру. И Горький-де, ведущий большевистскую линию в большой влиятельной газете, помогает преступному делу своими руками. Рассказывали факты, зачастую истинные. Факты производят впечатление. Горький испытывал его... По части разрушения промышленности рабочими пропагандировал тогда Горького и такой авторитет, как будущий

большевик Красин. В следующие годы он явился одним из столпов советской экономической политики; тогда он совершенно попадал в тон Коноваловым, Львовым и буржуазно-бульварной прессе. Но для Горького он был очень убедителен. Горький требовал, после таких сеансов, освещения в «Новой Жизни» — «другой стороны дела».

Но особенно тяжело переносил Горький свои сомнения в правильности позиций «Новой Жизни» по отношению к войне и миру. Понятно, что с этой стороны атаки на него были особенно сильны, а обвинения особенно тяжки. И здесь настроения Горького заострялись главным образом в мою сторону, — так как именно я писал львиную долю статей по внешней политике и был в редакции самой одиозной фигурой для буржуазного мира... Горький говорил, что он не понимает, чего мы хотим, атакуя союзный империализм и требуя разрыва с ним. Он спрашивал, не есть ли это действительно сепаратный мир, в котором нас обвиняет буржуазная пресса. Он требовал полной ясности, совершенно конкретной программы, всех точек над «и». И в виде косвенных упреков он рассказывал, что «говорят» о «Новой Жизни», приводя мнения более чем сомнительных, иногда совсем странных авторитетов.

Раз, помню, в самые рабочие часы он привел к нам в редакцию приехавшего из Москвы либерального адвоката Малянтовича, не столько преисполненного мудрости, сколь словоохотливого. Этот господин называл себя социалдемократом и вполне годился в министры-социалисты коалиции. Я уже упоминал, что ему, в числе других, предлагали портфель юстиции в первом коалиционном кабинете;

но принял он этот портфель лишь впоследствии, в министерстве Керенского, и превосходно описал взятие Зимнего дворца и себя самого в октябрьскую революцию... Горький, видимо, привел его специально для нашего — косвенного — вразумления.

— Вот послушайте, — сказал он, — что говорят о нас в Москве...

Либеральный адвокат, быстро войдя в роль вразумителя, затянул нестерпимую обывательскую канитель, перемешивая «московскую» информацию с собственными полезными для нас мыслями. Не обращая особого внимания на свою аудиторию и больше интересуясь собственным красноречием, — он говорил без конца... Вынести это было невозможно. Разумеется, никто не думал спорить и возражать ему, для слушания же — чтобы соблюсти долг гостеприимства — мы со Строевым установили очередь: один садился напротив Малянтовича, другой уходил по своим делам. Остальных вообще было удержать невозможно...

Кроме устной агитации, Горькому, как мы знаем, приходилось пить до дна чашу печатной грязи, клеветы и всякой гнусности. В печати ежедневно говорилось то, о чем умалчивалось при личном воздействии. Горького обвиняли во всех личных и общественных грехах. И насчет измены свободной родине, насчет службы немцам говорилось, конечно, безо всякого шифра. «Благожелательные» к его историческому имени газеты постоянно выражали свою «искреннюю печаль» по поводу того, что этот замечательный человек эпохи попал в руки литературно-политических проходимцев и вынужден отвечать за их преступления. Но Горький действительно отвечал за «Новую Жизнь». За все «пре-

ступления» газеты, в которых он фактически не участвовал, Горький принимал именно на свою голову все «наказания», всю грязь, клевету и гнусности.

И Горький был мрачен. В те времена я не помню его в хорошем настроении. Он не любил «Новой Жизни». Он просто на просто глубоко и искренне страдал от нее. И не надо ни в каком случае впадать в величайшее недоразумение: он страдал совершенно не от того, что — по его представлению — он был изолирован, шел против течения, не встречал сочувствия, был предметом клеветы и травли. Совсем не это задевало Горького. Ведь, в частности, в том же положении Горький был с нами и в «Летописи»... Нет, — драма происходила оттого, что, не будучи «политиком» и испытывая на себе давление отовсюду, не видя реальной поддержки нигде, Горький действительно сомневался в словах и делах «Новой Жизни». Он действительно не имел убеждения в правильности того дела, которое делалось его именем и за которое он отвечал.

Я хорошо помню, как радостно ловил Горький каждый наш аргумент, убеждавший его в правильности нашей позиции. Он жаждал поставить на твердую почву то знамя, которое пришлось ему держать в нетвердых руках. Но — на другой день его снова осаждали с другими аргументами, ему снова бросали в глаза другие факты; и сомнения снова точили его, почва под ногами снова колебалась.

И вот тут я не могу без глубочайшей признательности, без умиления, вспоминать о том, как держался Горький по отношению к редакции в его трудном положении. Горький держался поистине

героически... Он был, в сущности, полным хозяином газеты; он один в конечном счете распоряжался ее материальными рессурсами; он мог в любой момент ликвидировать этот источник своих страданий; или — не связанный никакими подобиями договоров — он мог так видоизменить, так «урегулировать» ведение газеты, как это соответствовало его собственному пониманию и совести. Достаточно ему было поставить вопрос о невозможности для него оставаться в редакции, чтобы представители одиозных для него идей немедленно очистили место. Но Горький ни разу не допустил ни тени пользования своими хозяйскими правами, своим исключительным положением. Мало того: он ни разу не помешал нашей работе даже прямым демонстрированием, прямым заявлением своих принципиальных сомнений или несогласий. Он трогательно — иногда с долей наивности — только ходил вокруг да около, комбинируя факты, приводя свидетелей, требуя ответа на вопросы. В сущности, он просто не мог скрыть от нас своих настроений. Он просто страдал у нас на глазах, — и только.

Практически он позволил себе в конце концов только одно. До июня месяца Горький один подписывал нашу газету в качестве редактора: так вот он попросил однажды присоединить к его подписи еще и другие. С июня мы стали подписывать газету вчетвером: Горький, Строев, Тихонов и я.

Понятно без слов: эта «история» с Горьким была неприятна, тягостна и портила настроение в процессе работы. И иногда было досадно на Горького. Теперь же осталось одно «admiration» перед этой импозантной личностью, одна радость от того, что

пришлось бок о бок работать с этим человеком на трудном и деликатном редакторском поприще в течение трех лет... На Руси были великие писатели. Не все, но иные из них, подобно Горькому, вплотную занимались журнальными делами. Иные на этом поприще оставили по себе память, не достойную их имен. Но едва ли хоть один из них оставил у своих соратников такую светлую память, как Горький...

Во всем остальном новожизненская работа была приятна и давала удовлетворение. Дефекты газеты не были злостными, принципиальными: они были излечимы — хорошей работой. И я с удовольствием вспоминаю о том, как часто в то время, после рабочего дня я проводил в типографии ночь, а потом с сознанием сделанного дела и потому с уравновешенным духом, розовым щебечущим утром, по звонким пустынным улицам — возвращался домой..[1]).

* * *

В один прекрасный день, в двадцатых числах мая, я услышал, что три генерала революции желают иметь беседу с редакцией «Новой Жизни» — о своем ближайшем участии в этой газете. Это были три не-партийных большевика — Троцкий, Луначар-

---

[1]) Впрочем, «жил» я тогда не дома, не в своей квартире на Карповке. В эти утренние часы я шел «ночевать» на Монетную, в редакцию «Летописи», где имел более или менее постоянную базу. Там я был на попечении все того же моего друга Е. П. Китаевой, которая после «Современника» заведывала конторой «Летописи» и жила при ней. Кажется, не будь этого попечения, я в те времена умер бы голодной смертью, погиб бы без крова и приюта.

ский и Рязанов. О моем знакомстве с Рязановым я уже упоминал. С Луначарским я имел довольно интенсивные письменные сношения в эпоху «Современника», в котором он довольно много писал. Разумеется, я давно знал его, как талантливейшего литератора высокой культуры и разносторонних дарований. К тому же он был коренной и выдающийся большевик, которых в «Современнике» было не много. Конечно, я не только высоко ценил сотрудничество Луначарского, но постоянно и активно искал его, гонялся за ним. И Луначарский, несмотря на всю сомнительность «Современника» по части гонорара, так нужного эмигранту, охотно откликался на мои предложения. А к своим письмам он, без всяких поводов с моей стороны, нередко делал милые приписки — вроде выражения симпатии моей деятельности в России во время войны. Я поэтому не только высоко ценил Луначарского, но и чувствовал к нему тяготение заочно.

При приезде своем в Россию (вместе с Мартовым, 9-го мая) он немедленно и вполне естественно попал в «Новую Жизнь». Там мы с ним познакомились лично и довольно скоро сблизились. Он стал, хотя и не часто, писать в газете, засел за статьи в полузаброшенную нами «Летопись». В Исп. Комитете он появился не сразу и появлялся не часто; он еще не был в партии Ленина и был настроен довольно мягко; мы еще вполне чувствовали себя соратниками в политике, как сотрудниками в литературе.

Но мы завязали тесные дружественные отношения и на почве чисто личного знакомства. Если нельзя сказать, что в это лето мы проводили вместе много времени, то можно сказать, что почти все

время, уделенное тогда приватным делам, отдыху и безделью, я провел с Луначарским. Он часто днями и ночами пребывал у нас в «Летописи», где я с женой имел пристанище. Иногда ночью он заходил оттуда ко мне в типографию, потолковать лишний раз и пробежать завтрашнюю газету. А когда нам приходилось задерживаться в Таврическом дворце, мы вместе шли ночевать к Манухиным и снова толковали без конца.

Мой интерес к этим разговорам и к этому собеседнику не иссякал и не мог иссякнуть никогда. Мы говорили на все темы; и независимо от темы — речи, рассказы, реплики Луначарского были интересны, ярки, образны, как сам он был интересен, блестящ, сверкал всеми красками и был притягателен своей культурой и своей природной удивительной талантливостью, пропитывавшей его насквозь, с ног до головы.

Я помню рассказ одной моей знакомой, незнакомой с Луначарским, о том, как она возвращалась с какого-то скучного и неинтересного заседания. Напротив нее в трамвае сидел возвращавшийся оттуда же Луначарский и рассказывал об этом заседании своему соседу: заставившее проскучать и прозевать весь вечер, оно, в его передаче, заблестело, засверкало, расцветилось такими цветами, о наличии которых не подозревал средний его свидетель и участник. Рассказ Луначарского был интереснее непосредственных впечатлений, а может быть — интереснее самой действительности. Таков Луначарский всегда и во всем.

Большие люди революции — и его товарищи, и его противники — не то, что иногда, а почти всегда говорят о Луначарском с усмешкой, с иро-

нией, пренебрежительно, не серьезно. В партии большевиков его держат в черном теле и не пускают в политику. Будучи популярнейшей личностью и популярнейшим министром, он отстранен от всякого влияния на ход высоко-политических, общегосударственных дел. «Я не влиятелен», — некогда говаривал мне он сам... Вслед за большими людьми революции, о Луначарском то же и так же твердят малые, которые, взятые пачками, не стоят мизинца Луначарского ни в каком отношении и в политике, в частности.

Слов нет — suum cuique. Луначарский не из тех, кто способен создать эру или эпоху. Удел Ленина и Троцкого ему не дан. Вообще историческая роль его в мировых событиях сравнительно не велика. Но не велика именно сравнительно с этими мировыми гигантами. После них, как известно, долго, долго, долго ничего нет. Затем начинаются — уже не личности, а группы, плеяды. Среди них Луначарский, конечно, из первых. Но это — по исторической роли. По блеску же дарования, не говоря уж о культуре, он среди них, среди плеяды большевистских вождей, не имеет себе равных.

Об'ем духовных способностей Луначарского, несомненно, огромен. Если же ему нисколько не соответствует историческая роль, удельный вес этого деятеля в огромных событиях, то для этого имеется особая причина. Не в пример Ленину, Троцкому и другим, способности Луначарского не сконцентрированы в едином центре, не собраны в ударный кулак, сокрушающий основы старого общества и всего старого вообще. Луначарский не зиждитель нового потому, что его способности находятся

в рассеянном состоянии, и его духовная энергия, в силу его натуры, направлена одновременно в разные стороны. Луначарский, несомненно, и хороший политик, и публицист, и владеющий толпою агитатор, и педагог, и теоретик искусства, и поэт, и администратор, и философ, и чуть ли не богослов. И пустяки сказал бы тот, кто стал бы утверждать, что Луначарский в какой-либо из этих областей не интересен, что он везде легковесный диллетант, что какая-либо из сфер его деятельности не заслуживает внимания и не свидетельствует о талантах этого человека... Сила Луначарского значительна. Но ее распыление не дает ему возможности оставить достойный его след в какой-либо из областей ее применения.

Между тем Луначарский, по праву, не без ревности относится к своей исторической миссии. И не без боли он чувствует, что не нашел своего настоящего места ни среди своей партии, ни среди ее дел и подвигов. Уйти же ему некуда, и незачем, и не под силу. Помилуйте, — это историческая миссия перед лицом будущих веков. И в результате надрыв, нескладность, никчемность, раздвоенность, растерянность. И неизбежные faux pas.

Образцом того, как спотыкается этот великолепный экземпляр человеческой породы, может служить не только его министерская деятельность, смешная и, пожалуй, не особенно приличная, но и хотя бы его растрепанная, изобилующая фактическими ошибками книжка о «великом перевороте». И кто только из его собственных соратников не бранит, походя, Луначарского за эту книжку! Бранят, морщатся, презрительно усмехаются, пожимают плечами, машут руками и знать не хотят, что из

каждой строки этой книжки, при всех ее минусах, брызжет исключительный талант.

Говорят, став министром, Луначарский быстрее и сильнее других усвоил министерский обиход с его отрицательными чертами. Не знаю. После октябрьской революции, не в пример тому, как было со многими другими, я совершенно разошелся с Луначарским. За два с половиной года, до сей минуты, я имел с ним всего несколько мимолетных встреч. И эти встречи были мало приятны. От Луначарского на меня несло действительно министерским духом... Однако, я не знаю, насколько виноват во всем этом Луначарский, и хорошо знаю, как много виноват в этом я сам, с моим мало приятным характером. Моя постоянная полемика была действительно злостна и нестерпима, когда мы перестали быть соратниками и превратились в политических врагов. Иным способом и нельзя было реагировать на мое поведение.

Нам придется дальше иметь дело и с маленькими человеческими слабостями этой крупнейшей фигуры революции, и с некоторыми ее оплошностями, которые всеми, от мала до велика, были восприняты как «ridicule». Но все это совершенные пустяки. Во-первых, смешное было «о т х о р о ш е г о». Во-вторых, от меня, ныне чуждого, равнодушного, полемически настроенного человека — эти пятна на солнце ни в какой мере не могут заслонить ни блеска этого замечательного деятеля, ни личных притягательных свойств человека, с которым мы провели лето семнадцатого года.

* * *

Вероятно, Луначарский и сообщил о желании трех большевистских генералов потолковать с редакцией «Новой Жизни» о формах их участия в газете. Само собою разумеется, что три генерала имели в виду завоевать «Новую Жизнь», сделать ее базой своей агитации, идейно-литературным центром неофициальных большевиков... Но беседа, конечно, никого ни к чему не обязывала.

Чтобы члены редакции могли присутствовать полностью, свидание было назначено в типографии «Новой Жизни», на Петербургской Стороне, вечером 25 мая. Я лично устанавливаю эту дату после просмотра майских нумеров газеты: я хорошо помню, что во время беседы я писал статью по аграрным делам, которую сейчас же, по частям, отдавал метранпажу в громыхающую линотипами соседнюю наборную.

В этот день, незадолго до совещания, Троцкий впервые обратился ко мне в Таврическом дворце:

— Мы до сих пор ни разу с вами не здоровались. Давайте познакомимся. Нам предстоит сегодня беседа. Куда и как мы отправимся?

Действительно, три с лишним недели встречаясь с Троцким в Исп. Комитете, мы все еще не были знакомы с ним. Я уже упоминал о причине, препятствовавшей мне искать этого интересного знакомства... Мы поехали в автомобиле, которым я все еще располагал по моему заведыванию «аграрным отделом». Для начала знакомства Троцкий восхищался красотами нашего несравненного Петербурга. В одном из прекраснейших пунктов, после Троицкого моста, у нас оглушительно лопнула шина. С нами ехал и Стеклов. Они с Троцким прямо отправились пешком на Гатчинскую, а я должен был за-

бежать на 10 минут в «Летопись», чтобы перекусить перед ночной работой. Кажется, я застал совещание уже открывшимся, или по крайней мере всех в сборе, с Горьким во главе.

Не помню, чтобы беседа была особенно интересна. В общем мы об'яснились довольно быстро, никто не просил слова больше одного раза. Сначала дал волю своему темпераменту Рязанов, развивая, как всегда, огромную вокальную энергию, но говоря без отчетливого стержня. Затем, по очереди, выступали новожизненцы, не отрицая возможности «контакта», но подвергая его сомнению. Наиболее благожелательную позицию занял Стеклов, а с другой стороны — Луначарский. Я молчал, занятый статьей, и попросил слова уже в конце беседы. И, пожалуй, наиболее определенно потянул чашу весов — против редакционного об'единения. Разговор вращался главным образом вокруг ближайших политических перспектив и судьбы коалиции. Я заявил, что при всем отрицательном к ней отношении, засвидетельствованном ежедневными статьями, я не считаю правильным форсирование ее ликвидации и перехода всей власти к социалистам: страна, демократия еще явно не переварила идеи социалистической власти, а коалиция не нынче-завтра развалится без всякого форсирования, от стихийного хода вещей. Вообще, — сказал я, — по части принципов высокой политики примыкаю не к Троцкому, а скорее к Мартову.

Троцкий выступил последним и был не многословен: для него было все ясно. Он, с своей стороны, резко отмежевался от Мартова, который «не больше, как состоит в оппозиции при оборонцах». Позицию же новожизненцев Троцкий признал дей-

ствительно подходящей к Мартову, но не к «революционному социализму». Троцкий кончил довольно знаменательными словами, которые произвели на меня довольно сильное впечатление, и которые я помню, примерно, в такой редакции:

— Теперь я вижу, что мне ничего больше не остается, как основать газету вместе с Лениным.

Впоследствии, почти через три года, незадолго до сей минуты, когда я пишу эти слова, Троцкий вносил в эту редакцию поправку.

— Не «ничего не остается делать», — сказал он в ответ на мой рассказ ему об этом эпизоде, — а «остается сделать с Лениным свою газету».

И Троцкий пояснил: у них с Лениным было условлено заранее — сделать попытку «завоевать» «Новую Жизнь», а в случае неудачи создать совместно свой орган. Я, конечно, не стану спорить...

Но совместного органа Ленин и Троцкий тогда не создали. Правда, вскоре после этого Луначарский стал рассказывать мне о проектах большой газеты с редакцией от большевиков (трое — Ленин, Зиновьев и Каменев) и «междурайонцев» (двое — Троцкий и Луначарский). Но такая газета не родилась. Вместо того, Троцкий с «междурайонцами» основал журнальчик «Вперед», где и подвизался независимо от Ленина. Это была небольшая для Троцкого аудитория и мало благодарная для него работа.

С совещания в «Новой Жизни» мы разошлись, кажется, без особого сожаления — по крайней мере, наша сторона. Только Стеклов, идя со мной по наборной, выражал свое огорчение такими результатами беседы:

— Мы лишились полезных сотрудников, — говорил он.

Но вопрос ставился тут совсем не о приобретении новых сотрудников... Луначарский на прежних основаниях продолжал работать в газете наряду со многими другими большевиками. Но Троцкого мы более не видели в наших стенах.

* * *

Я действительно не считал правильным форсирование ликвидации коалиционного правительства. Ведь те группы, к которым (формально) должна была перейти власть или, по крайней мере, большая часть власти, — впадали в панику при одной мысли остаться без буржуазии в правительстве. Правящее советское большинство бежало от власти, как чорт от ладана. Насильно ему навязанная социалистическая власть была бы наивреднейшей фикцией, наихудшим видом буржуазной власти с самой настоящей буржуазной политикой. Вернее же, власть, которую не мог «принять» организм звездной палаты, вообще было невозможно навязать правящему советскому большинству.

А это значит, что в данный момент, в мае месяце, социалистическая власть могла мыслиться только как власть советского меньшинства. Она могла быть взята только путем восстания меньшинства против буржуазии и против мелкобуржуазного Совета... Это был вредный и утопический бланкизм, который я отвергал категорически.

Что коалиция в то время уже стала контрреволюционным фактором, в этом я не сомневаться не мог. Продолжение ее политики было крахом

революции — это было точно также совершенно ясно. Но не подлежало сомнению и то, что против коалиции демократия и Совет должны были выступать **только единым фронтом.** Демократия и Совет ныне без малейшего труда могли и взять власть и нести ее бремя. Они легко могли справиться с буржуазией и с коалицией. Но **часть** демократии и Совета, **меньшинство их — не могло** справиться ни с властью, ни с коалицией: ибо ему пришлось бы иметь против себя не буржуазию, а прочный советско-буржуазный блок. Поскольку буржуазия и коалиция еще были забронированы Советом, — пролетарское меньшинство не могло иметь удачи. Попытка взять власть путем восстания и удержать ее путем террора была бы утопической и безнадежной.

При этом она была совершенно ненужной. Коалиция уже на глазах разлагалась. Ее политика не по дням, а буквально по часам воспитывала массы, прививая им классовое самосознание, убеждая их в необходимости ликвидировать власть буржуазии до конца и взять судьбу революции в свои собственные руки. Против коалиции не по дням, а по часам создавался и укреплялся единый демократический фронт. Уже не могло быть никаких сомнений, что соглашательская «звездная палата» в ближайшем будущем будет изолирована в Совете и отброшена от революции вместе с буржуазией. Завоевание Совета пролетарскими и примыкающими к ним последовательно демократическими элементами было уже несомненным фактом завтрашнего дня. Это был об'ективный, стихийный ход вещей, который вел революцию **к диктатуре рабочих и крестьян.**

Форсирование «захвата власти» при помощи инициативного меньшинства было при таких условиях бессмысленно и крайне вредно... К тому же через несколько дней открывался Всеросс. Советский С'езд. Он покажет, что происходит в стране. Решить вопрос о власти можно только с ним вместе, но не помимо него и не против него. Иначе положение крайне запутается. Иначе благоприятный стихийный ход вещей будет нарушен, блестяще развертывающийся процесс будет изломан, вся революция будет сорвана и отброшена назад.

Так понимал я дело в эпоху набега «трех генералов» на «Новую Жизнь». Троцкий, об'единяясь с Лениным, может быть, имел иные мнения на этот счет.

* * *

Вопрос о **в л а с т и** во всяком случае уже был **п о с т а в л е н**... Его решить, казалось бы, естественнее всего было Учр. Собранию. Но оно было еще так далеко, что никто не думал о нем, как о реальном факторе политики... Особое Совещание по его созыву, начавшее работать 25 мая, собиралось с тех пор довольно регулярно. Но оно больше препиралось об юридических тонкостях, об избирательных правах армии, о лишении их дезертиров или членов бывшей царской фамилии. Насчет **с р о к а** созыва ничего утешительного не говорилось. Срок терялся в туманной дали. Против затяжки особенно сильно протестовал представитель большевиков, Козловский. Но напрасно он убеждал, обличал, приводил исторические примеры — когда учредительные собрания созывались через несколько недель после переворота...

Вообще советская делегация была очень недовольна положением дел в этом Особом Совещании, руководимом кадетом Кокошкиным. Она вынесла дело в Исп. Комитет, который поручил решительно настаивать на некоторых пунктах. О необходимости сокращения срока созыва — помню — особенно решительно и даже нервно говорил Дан. Должно быть, так или иначе «чуял правду»...

Вопрос о власти уже был поставлен ребром. Я не считал правильным форсировать его единственно возможное решение. Но я считал необходимым деятельно подготовлять его. Разрабатывать надлежащие **понятия** надо было форсированным темпом. Выдвинуть соответствующие лозунги необходимо было сейчас же... С этого времени я лично вполне присоединил свой голос к тем, кто требовал полного устранения буржуазии от власти; и я стал усиленно оперировать с термином **диктатуры демократии**.

---

4. ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ

Что он сулит? — В закулисных лабораториях. — Состав с'езда. — «Свадьба народников». — С'езд эсеров. — «Кадетский корпус». — Программа. — Докладчики. — Предварительные совещания. — Открытие. — Годовщина 3-го июня. — Сюрпризы коалиции. — Казаки, «Маленькая Газета», memento Родзянки. — Дело Гримма. — С'езд определился. — Третье июня. — Вопрос о власти. — Ленин бросается в бой. — Его программа. — Программа Троцкого и Луначарского. — Деловой Пешехонов. — «Двенадцать Пешехоновых», любезных Троцкому. — Резолюция о власти хромает на обе ноги. — Как хоронили Гос. Думу. — Вопрос о войне. — Тезисы Дана. — «Сепаратная война». — Как хоронили борьбу за мир. — Делегация в Европу. — Напутствия. — Австрийское мирное «резюме» и буржуазно-советская прозорливость. — Резюме Вандервельда. — «Верховная следственная комиссия». — Провинциалы в столичном котле. — В секциях. — Аграрные дела. — Биржевые патриоты. — «Экономический Совет». — Смайльс или акула. — Дела национальные. — Карательные экспедиции Церетели. — Конференция по Балканским делам. — Всер. Исп. Комитет. — Советская конституция. — Мертвое учреждение.

Собственно это не первый, а второй советский с'езд. Первый состоялся, как мы знаем, в конце марта. Этот мартовский с'езд, весьма содержательный, был достаточно полным и авторитетным выразителем тогдашних настроений демократии. Но тогда эти настроения еще колебались. Сейчас же

советский курс вполне определился — в сторону безудержной капитуляции перед буржуазией.

Правда, Керенский и Церетели в союзе с Лениным и Троцким не по дням, а по часам подрывали фундамент «соглашателей», рубили сук, на котором родилась коалиция, разлагали основы советско-министерской политики, создавали и спаивали рабоче-крестьянскую армию против советско-буржуазного блока. Но это был внутренний, скрытый, потусторонний процесс, происходивший в народных недрах. На лицевой стороне медали он был еще очень мало заметен.

В подавляющем большинстве российских советов господствовали буржуазные демократы, межеумки и оппортунисты, державшие курс на столичных лидеров, Гоца-Чайковского и Дана-Церетели. Было совершенно несомненно, что соглашатели и преторианцы коалиции будут иметь на с'езде решительный перевес. Были все основания ожидать, что с'езд совершенно задавят эсеры в лице прапорщиков, мужичков, земского третьего элемента и всякого иного «среднего» люда.

И уже по всему этому, от предстоящего с'езда нельзя было ожидать ничего решительного. Никакого нового слова, никакой перемены курса он не обещал. Все содержание его работ должно было свестись к «поддержке» правительства, в которое «входят лучшие из наших товарищей», и к борьбе с левым «безответственным» меньшинством. Сессия с'езда в общем должна была повторить собой заседания петербургского совета, только в большем, всероссийском масштабе. Однако, с'езд все же представлял огромный интерес, как грандиозный смотр силам революции.

К советскому с'езду подготовлялись уже давно. Постановление об его созыве на 1-е июня состоялось в Исп. Комитете уже в начале мая. А к 20-му числу уже стали с'езжаться делегаты и являться в центральные учреждения своих партий. Именно там была лаборатория работ советского с'езда. Там вырабатывались резолюции, заключались сделки, обучались и дисциплинировались фракции. Пленарные заседания были только демонстрациями, только проявлениями этой закулисной работы перед внешним миром.

Организация огромного с'езда была делом довольно сложным. Ею занимался, во главе особой комиссии, опять-таки главным образом Богданов... На этот раз ожидалось больше тысячи одних делегатов; вместе со всевозможными совещательными голосами и гостями, помещение должно было вмещать, по крайней мере, две тысячи человек. Думский «белый зал», конечно, не годился; неудобные залы театров были в ремонте; морской корпус больше не пускал к себе и петербургского совета, так как там грозил провалиться пол. Остановились, наконец, на огромном, длиннейшем зале кадетского корпуса. Там была плохая акустика, но удобные кулуары и залы (классы) для фракционных и секционных заседаний. Главное же, кадетский корпус разрешал самую трудную задачу, стоявшую перед организационной комиссией: он позволял там же устроить общежитие, квартиру и стол, для огромной делегатской массы...

Впоследствии, когда советские с'езды стали государственными, подобные задачи решались довольно легко; но пока что — «частному учреждению» пришлось похлопотать изрядно. Огромное неудоб-

ство кадетского корпуса состояло в том, что он помещался на Васильевском Острове; автомобилей не хватало; связь с Таврическим дворцом (а для меня лично и с редакцией на Невском, и с типографией на Петербургской Стороне) должна была сохраняться; передвижения пешком и в переполненных, редко ходящих трамваях — изнуряли невыносимо.

Общая физиономия С'езда и общие итоги его работ были заранее ясны. Но все же смотр революционных сил мог выйти различным, в зависимости от удельного веса оппозиции... Преобладание было заранее обеспечено за эсерами. Но взоры всех сознательных элементов Таврического дворца были прикованы к фракции большевиков и меньшевиков-интернационалистов. Был явно «животрепещущим» и захватывающим вопрос, — что сделал большевизм в провинции? Но для меня был не менее интересен и другой вопрос: какое соотношение будет внутри меньшевиков? Сколько будет правых и левых? Какая часть меньшевистского болота примкнет к самостоятельной интернационалистской фракции Мартова и рискнет отколоться от соглашательского большинства?

Увы! действительность разочаровала даже пессимистов. Из 777 делегатов с установленной партийностью большевиков оказалось всего 105. Но с меньшевиками дело обстояло уж совсем неожиданно: интернационалистов из них не набралось и трех с половиной десятков. Остальные составляли гвардию Церетели и Терещенки. Это был скандал, оглушительный и жестокий. Вся фракция меньшевиков-интернационалистов, возглавляемая Мартовым и приехавшей с ним заграничной группой, вме-

сте с совещательными голосами, не составляла и одной шестой части всех меньшевиков...

Кроме того, на С'езде была фракция «об'единенных интернационалистов», которую пытался превратить в партию Стеклов и в которую вошли «междурайонцы» с Луначарским и Троцким во главе. Но в этой фракции было также не больше 35—40 человек.

* * *

Во время с'езда состоялись две партийных «всероссийских конференции»: энесов и трудовиков. Поистине, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Эти никчемные группы бывших радикальных, теперь просто перепуганных интеллигентов все еще играли в партийность. Но они были до такой степени похожи одна на другую и так перепутаны личными отношениями, что, собравшись одновременно на «всероссийские конференции», они воочию убедились, как нелепо и смешно им делать вид, что они — «две партии». Тогда они взяли и приняли резолюции об об'единении. Свадьбу сыграли немедленно, и две «конференции» стали заседать вместе. Брак был поистине вполне законным.

Но на Всероссийский Советский С'езд их делегаты выбирались и ехали отдельно: и приехало тех и других по три человека — столько же, сколько доверила демократическая Россия голосов точь в точь похожему на них «марксистскому» «Единству». Эти три могучие фракции составляли крайнюю правую С'езда. Но они не только тонули в «правительствующей» массе: они ничем и не отличались от нее. Об'единенным трудовикам и энесам

необходимо было сделать дальнейший логический шаг и войти целиком в «самую большую российскую партию». Все «народнические» ручьи могли законно слиться в эсеровском море. Ибо это были совершенно те же общественные элементы. И на С'езде они выполняли, конечно, единую, нераздельную миссию — «поддержки» контр-революционной буржуазии и ее политики.

У эсеров тоже только что кончился их (третий) партийный всероссийский с'езд. Он был многолюден и продолжителен, но ровно ничего нового и интересного не дал. Подавляющее большинство присутствовавших «промежуточных» интеллигентов, бывших революционеров и террористов, в течение десяти дней умилялось и расшаркивалось перед достойным правительством. Среди этих интеллигентов извивался партийный «идеолог» и «лидер» Чернов, примирявший в нескольких речах свой «циммервальд» и свои селянские обязанности с просвещенной дипломатией Терещенки и саботажем Львова. А на крайней левой эсеровского с'езда немножко шумела непримиримая, но небольшая кучка эсеровских интернационалистов — будущих «левых ребят» по-октябрьской эпохи.

Многочисленные резолюции говорили все об одном и том же. Любопытно на этом с'езде было, пожалуй, только то, что доблестный «циммервальдец» Гоц определенно противопоставлял свои резолюции Чернову и, конечно, собирал большинство. Еще было любопытно, пожалуй, то, что Керенского провалили при выборах в центральный комитет партии. Об этом много толковали, как о сенсации. «Бабушка» Брешковская напечатала по этому поводу гневное письмо. Но ей и другим раз'яснили,

что все дело заключается в явном отсутствии у Керенского времени для партийной работы. Надо думать, мотивы эти не были вполне фиктивны. Два центра партии, Керенский и Чернов, понемножку развертывали свою семейную вражду. Но большинство партии в этой борьбе едва ли было за Черновым. Крепкий эсеровский мужик и рыхлый «разночинец», если и неодобрительно посматривали на барина и биржевика, то отвергали все орудия борьбы с ними, кроме лисьего хвоста, — скаля налево волчьи зубы. Что циммервальд им, что они ему!.. Керенский был милее Чернова. Но все же, большинство было право, отклоняя его кандидатуру: Керенский был ненадежен в качестве партийного человека.

* * *

На Всероссийском Советском С'езде эти самые эсеры явились решающей силой. Они не имели абсолютного большинства; но вместе с правыми меньшевиками они составили пять шестых С'езда. Оппозиционные фракции, вместе взятые, включая сюда и совещательные голоса, насчитывали не больше 150—160 человек; а при голосовании против правящего блока поднималось не более 120—125 рук. Это была узенькая полоска, тянувшаяся от президентской эстрады, с левой стороны, вдоль стены, и доходившая не дальше, чем до половины зала. Если посмотреть с самой эстрады, то эта полоска выделяется и внешним своим видом из остальной массы: это почти исключительно штатские костюмы, и в частности рабочие куртки.

Остальная масса почти сплошь военная. Это были «настоящие» солдаты, мужички; но больше было мобилизованных интеллигентов. Не одна сотня была и прапорщиков, все еще представлявших огромную часть действующей армии. И что тут были за фигуры! Само собой разумеется, что все они были «социалисты». Без этой марки представлять массы, говорить от их имени, обращаться к ним было совершенно невозможно. Но, смотря по вкусу, в зависимости от факторов, совершенно неуловимых — к эсерам или меньшевикам примыкали не только тайные кадеты, октябристы, особенно антисемиты; под видом «народников» или «марксистов» тут фигурировали и заведомо либеральные и даже не особенно либеральные адвокаты, врачи, педагоги, земцы, чиновники.

К 29—30 мая с'ехалась уже огромная масса делегатов. В кадетском корпусе была толчея. По кулуарам бродили шумные вереницы; около бойких ораторствующих людей собирались группы; была давка у раскинувшихся в нижнем этаже книжных лавочек и киосков; стояли длинные хвосты за чаем и обедом в низкой и мрачной столовой; шныряли, нюхали, прислушивались, завязывали разговоры газетные репортеры...

За день-два до открытия С'езда я также отправился в кадетский корпус — лично посмотреть на «революционную Россию». Картина была поистине удручающая. Вернувшись в Таврический дворец, в ответ на жадные вопросы товарищей, я только махнул рукой и нечаянно скаламбурил:

— Кадетский корпус!..

* * *

В те же дни в Исполнительном Комитете шла спешная подготовка к С'езду. Его программа была в общем та же, что и на первом «Всероссийском Совещании». Тут были неизбежные основные вопросы общей политики — о войне и о Вр. Правительстве, — без которых тогда вообще не обходился ни один с'езд, будь то с'езд театральных работников, парикмахеров или зубных врачей. А затем были и все знакомые нам вопросы текущей политики: продовольственный, промышленно-финансовый, аграрный, солдатский, рабочий, организационный. Было попрежнему на «повестке» и Учр. Собрание. Дополнена же была мартовская программа «местным самоуправлением и управлением», а затем национальным вопросом, который давал себя знать все сильнее. Именно в это время, перед самым С'ездом, собралась в Киеве «украинская рада»; и верховодившие там безответственные интеллигенты, патриоты несуществующего «украинского народа», провели ряд решений, очень затрудняющих высокую политику правительства...

При обсуждении программы С'езда я настаивал на включении в нее отчета Испол. Комитета. Тут оппозиция могла в прениях не мало внести «поправок» и рассказать любопытных фактов. Но предложение мое было встречено с полным «недоумением», как моя очередная глупость и бестактность. К чему особый отчет, когда Исп. Комитет будет «отчитываться» по всем вопросам?..

В скучных, малолюдных, облезлых заседаниях Исп. Комитета спешно готовились тезисы докладов и выбирались докладчики. Но тезисы поступали туго, ибо вся работа вообще расползалась; да и докладчиков не было. Приличие требовало, чтобы в

порядке дня С'езда были «отчеты» министров-социалистов; и было неудобно им выступать также докладчиками Исп. Комитета. А кому же еще доверить?..

Оставался, правда, Дан, и он был намечен докладчиком о «Врем. Правительстве». Я не помню, чтобы при мне обсуждались тезисы или резолюция Исп. Комитета по этому основному вопросу — о власти. Но они были заранее ясны и не интересны: все эти «положения» о доверии и поддержке твердились неустанно печатью и устно, и всем надоели смертельно. Серьезную борьбу вокруг этих тезисов никто развертывать не думал, за ее безнадежностью: диктатура «звездной палаты» в Совете была прочна...

Но кому поручить доклад по второму основному вопросу, о войне? Из самой «звездной палаты» оставался еще Гоц — очень «уважаемая» фигура. Но высокие сферы, видимо, от себя не скрывали: Гоц хорош, как управитель эсеровских мамелюков; его слушала, как старого именитого революционера, сырая масса, нахлынувшая в революцию; но выпустить его с докладом о войне — можно сказать, перед всей Европой — это значило выдать самим себе свидетельство о бедности. Кандидата искали долго. Левые посмеивались. Наконец, на иронический вопрос, когда же в самом деле будут тезисы о войне, и кто будет докладчиком, Дан буркнул сквозь зубы:

— Успеете с тезисами, а докладчиком будет Анисимов...

Но это было слишком. Звездную палату подымали на смех. Да и Анисимов оказался в нетех! Его отменили и перевели Дана с Временного Правительства «на войну». Докладчиком же о «Врем. Правительстве» назначили Либера...

Либер, хоть и был чином ниже Дана, но все же не чета Анисимову, которому он уступил место в президиуме Совета только в силу национальных причин... Либеру можно было бы и с самого начала поручить один из центральных докладов, но он был уже занят по национальному вопросу, в коем считался специалистом. По этому докладу он своевременно представил и тезисы. Собственно, он сделал этот доклад полностью в Исп. Комитете. Доклад был очень длинен, мало убедителен, а соль его заключалась в том, чтобы на С'езде, под советским флагом, провести излюбленную бундовскую «культурно-национальную автономию». Даже Дан рассердился.

Я все еще заведывал аграрным отделом, и, когда намечался аграрный доклад, раздались предложения выбрать меня докладчиком... Но не те были времена; теперь об этом не могло быть и речи. Выходка наивных людей, называвших мою фамилию, была встречена, как неприличие... Выбор тут был между Гоцом и Черновым. Кто-то заметил, что ведь эсеровские докладчики естественно должны будут развивать свои специфические аграрные взгляды. Удобно ли это от имени всего Исп. Комитета? Но Дан нравоучительно для оппозиции парировал:

— Никогда Гоц не сделает никакого публичного выступления, не соответствующего линии Совета.

Однако, я так и не помню, кого же назначили докладчиком по аграрному вопросу. Не помню ни тезисов, ни самого доклада на С'езде. Не остались у меня в памяти и прочие доклады, тезисы и самые докладчики — рабочий, солдатский, финансовый и т. д. Все это я могу восстановить только по газетам. Либо законы памяти для меня полнейшая terra in-

cognita, либо все это было неинтересно и не имело никакого значения — ни исторического, ни драматического.

А, может быть, я просто многое упустил, не особенно регулярно посещая Исп. Комитет. В Таврическом дворце я попрежнему бывал ежедневно; но в заседаниях был не активен, часто невнимателен, а то и просто мимоходом заглядывал в них, заставляя при своем появлении Дана сердито коситься на меня и бросать сквозь зубы:

— Опять явился... за газетной информацией!..

Это было во всяком случае неверно. «Новая Жизнь», правда, не мало крови портила звездной палате, печатая иногда сообщения, которые правящей группе было угодно относить к тайной советской дипломатии. Меня за это преследовали и травили. Но в качестве информатора я во всяком случае никогда не был причастен к этим «разоблачениям»; и только, может быть, пропускал их иногда в печать в качестве редактора, не оценивая всей важности публикуемых государственных тайн, да не будучи и особо горячим сторонником тайных махинаций правящих клик.

В комиссиях Исп. Комитета я также теперь работал очень мало. А мое заведывание аграрным отделом, повторяю, было почти фиктивно. Как и почти вся оппозиция, я «отстал» от Исп. Комитета.

Десятки же людей из большинства, бросив все свои прежние дела, ныне работали «на службе» в постоянных советских учреждениях. Бюджет Исп. Комитета был попрежнему скудным и неопределенным; но все же он обеспечивал жалованьем и членов Исп. Комитета, и его вольно-наемных служащих. Впрочем я лично, пока Совет был «частным

учреждением», т. е. до самого октября, не взял из его кассы ни копейки.

* * *

Числа с 30-го или с 1-го июня, когда уже с'ехались многие сотни делегатов, в кадетском корпусе начались заседания фракций. Эсеры битком набили самый большой кадетский класс и рассуждали о поддержке Вр. Правительства. Рассуждать, собственно, было бы не о чем, если бы внутри самой большой партии не скандалила маленькая группка «эсеровских большевиков». Но сейчас эта группка, возглавляемая Камковым, давала себя знать. И как бы мала ни была она, на ней сосредоточилось все внимание правящих эсеров; вокруг выступлений левых вращались все прения, шла борьба, кипели страсти. Так всегда бывает в «парламентах», где царит диктатура кружка: вся деятельность таких «парламентов» сводится к травле всей массой, хотя бы двух-трех человек, составляющих оппозицию. Подобные картины мы будем наблюдать, как постоянное явление, в большевистскую эпоху.

Помню, в большом еще не убранном зале заседаний С'езда собрались и меньшевики — вместе «оборонцы» и интернационалисты. Диапазон разногласий был примерно тот же, что и у эсеров. Количественное соотношение сил уже определилось. Министериабельные меньшевики с презрением смотрели на кучку циммервальдцев. Но на фракционном заседании героями были опять-таки левые ораторы. Качественный состав того и другого крыла был несоизмерим. И циммервальдцы выступали не только в роли мишени, но и в качестве

действительных выразителей марксистской, классовой, пролетарской идеологии. Споры вращались, главным образом, вокруг внешней политики коалиции — в связи с организуемым наступлением на фронте... Разговоры были несомненно интересны; но было ясно, что они бесплодны: в этих собраниях убедить друг друга речами было нельзя.

Впрочем, среди меньшевиков были значительные группы неопределившихся — из армии и провинции. Им слова революции, слова лидеров еще не особенно приелись и могли бы воздействовать на них. Но это была серая обывательская масса. И когда открылся С'езд, она вся оказалась на стороне большинства. Не потому, чтобы вся она действительно определилась и была убеждена доводами Дана-Церетели, а потому, что это было большинство, потому что ей хотелось быть подальше от Ленина и Троцкого, потому что у нее не было достаточных стимулов нарушить партийную дисциплину и пойти за Мартовым против официального меньшевизма.

Все решения С'езда создавались фракциями. Но все же делегатов было не мало и не-фракционных. Собственно, неприписанных к фракциям было немного. Но было довольно много «недовоспитанных», которые больше тяготели к территориальным или профессиональным группировкам.

По их настояниям, перед открытием С'езда происходили, кроме фракционных, еще солдатские и крестьянские совещания. Затем особо заседали фронтовики, солдаты и офицеры... Эти элементы, между прочим, спорили о том, как им разместиться в зале заседаний С'езда: руководители их, конечно, рассаживали по фракциям, а

группы армейских и провинциальных делегатов нередко не хотели разделяться и размещались по местностям и армиям. Это было довольно характерно.

Частью по настоянию этих недовоспитанных элементов, частью по инициативе некоторых старых «искровцев», все еще хранивших наивные мечты об об'единении всех социалдемократов, — 2-го июня состоялось еще одно предварительное совещание «делегатов, принадлежащих к различным оттенкам социалдемократической партии», т. е. от большевиков до оппортунистов крайнего правого, «легально-марксистского» крыла.

В большом кадетском классе была давка и духота. Доклад делал подходящий для такого собрания человек, бывший левый большевик, а ныне один из вреднейших пристяжных звездной палаты — Войтинский. Я пришел, когда в помощь ему, во славу Львова и Терещенки, в истерическом пафосе надрывался охрипший Либер, приносивший еще до С'езда на алтарь коалиции последние остатки своего голоса. От большевиков — успокаивал собрание насчет «анархии» Каменев.

Затем с уничтожающей коалицию критикой выступил Мартов. Он требовал, чтобы С'езд отозвал из правительства министров-социалистов. В вопросе о власти, о «Вр. Правительстве» именно таков был тогда лозунг группы меньшевиков-интернационалистов. А после Мартова, среди шума, протестов и аплодисментов, произнес ядовитую, негодующую, «вызывающую» речь Троцкий... Луначарский, в упомянутой своей книжке, упирает, что Троцкий одевается франтом. Сейчас ясно вижу его перед глазами в эти жаркие дни июньского С'езда: фран-

том не франтом, но в костюме fantaisie, не особенно привычном для «советского» глаза.

Конечным лозунгом Троцкого была ликвидация коалиционного правительства и передача всей власти в руки Совета. После речи, в толпе, жавшейся к стене, я подошел к Троцкому, которого, кажется, не видел со времени нашего об'яснения в типографии «Новой Жизни». Тому назад была уже «ц е л а я» неделя. Я сказал Троцкому, что совершенно солидарен с ним в пределах его речи и в его лозунгах о власти. В глазах Троцкого блеснуло удовольствие.

Конечно, «программа» Мартова — отозвание министров-социалистов, была робка, неясна, неполна, неубедительна, формалистична, «безответственна». Тут не было ни должных перспектив, ни вообще положительного содержания. Что же должно быть п о с л е в м е с т о коалиции? Я решал этот вопрос совершенно определенно: должна быть д и к т а т у р а д е м о к р а т и и, рабочих и крестьян, против буржуазии. Я не предрешал формы этой диктатуры и постольку не присоединялся к лозунгу большевиков в буквальном его смысле. Но необходимость диктатуры рабоче-крестьянского блока была для меня очевидна. Время социалистической власти наступило. До нее д о з р е л а революция; и в случае противодействия процесс ее гниения должен был развиваться отныне не по дням, а по часам.

Однако, я был в довольно неприятном положении. Со мною н е с о г л а ш а л и с ь — ни в партийной фракции, ни в редакции «Новой Жизни». Я не знаю толком, чего же именно желали в то время меньшевики-интернационалисты, возглавляемые Мартовым; но «однородной» (как говорили тогда) социа-

листической власти они не желали. Помню, я просил разрешения выступить на С'езде с требованиями передачи всей власти демократии. Но мне решительно отказали в этом товарищи по фракции, и, в частности, именно Мартов...

То же было и в редакции. В течение этих нескольких недель я непрестанно, но безуспешно убеждал редакцию. Я написал и две-три статьи, в которых хотя бы косвенно подходил к диктатуре демократии. Но мои статьи расшифровывались, мои скрытые планы, тайные козни разоблачались и статьи отвергались.

Не помню, в тот ли день 2-го июня, скорее немного спустя, я говорил тому же Троцкому о своем неприятном положении в партии и в редакции: достаточно быть в меньшинстве, чтобы чувствовать себя в роли довольно неблагодарной, — но быть (как я был почти всегда) в меньшинстве меньшинства — это удовольствие уж совсем сомнительное. Троцкий на мои слова колюче усмехался:

— Надо вступать, — говорил он, — надо вступать в такие партии и писать в таких изданиях, где можно быть самим собой.

Увы! таких не было. Не соглашаясь с Мартовым, я сходился с группой Троцкого и с его журнальчиком («Вперед») в критике коалиции и в общих программных лозунгах; но расходился с ними в понимании методов их осуществления. Как бы то ни было, вступив во фракцию меньшевиков-интернационалистов, я на деле оставался диким и во всяком случае чувствовал себя таковым. Кроме того надо сказать, что в качестве нового члена, из молодых, но позднего, только что явившегося в чужой монастырь, я стеснялся выступить в

спевшемся кружке лидеров со своими «дикими» мнениями и потому не был активен.

* * *

С'езд открылся 3-го июня. Этот день совпал со знаменательной десятилетней годовщиной столыпинского государственного переворота и разгона второй Гос. Думы... Казалось бы, свидетели обеих дат должны были с удовольствием и гордостью отметить антитезу: победоносная ликвидация правительством царя последних остатков революции 1905 года и неслыханная победа новой революции, величайшее торжество именно столыпинских жертв, ныне возглавляющих «Великую Россию» именем «всей демократии». Казалось бы, было от чего преисполниться сердцам радостью и гордостью!..

Однако, в тот момент у непосредственных участников событий, способных правильно оценивать их, сопоставление двух дат — седьмого и семнадцатого года — вызывало совсем иные ассоциации. Это была не антитеза, а аналогия, — не радость и гордость, а страх и стыд за великую революцию. В частности, именно в эти дни почтенная коалиция и ее доблестные союзники преподнесли нам целый ряд удручающих сюрпризов.

Допустим, многочисленные кары войсковым частям за неповиновение, братание и сношения с неприятелем — вызывались действительной необходимостью: эти кары, в виде каторжных работ, лишения избирательных прав, лишения прав на землю, лишения семей пайков и т. д., были установлены в приказах Керенского и всего правитель-

ства (от 1-го июня). Допустим, организуя наступление во имя светлых идеалов Антанты, наше правительство никак не могло поступать иначе: снявши голову, по волосам не плачут.

Но второе «новшество» Керенского вызвало значительно большую сенсацию: военный министр признал «несвоевременным» и запретил украинский войсковой с'езд — «в связи с военными обстоятельствами». Это, между прочим, вызвало резкий протест со стороны все-украинского крестьянского с'езда, который прислал жалобу на своего собственного эсеровского министра в Исп. Комитет, квалифицировал действия Керенского как «первый случай нарушения свободы собраний» и «слагал с себя ответственность за возможные последствия от нарушения демократических начал новой жизни»...

Но это также пустяки сравнительно со следующим сюрпризом коалиции. Накануне С'езда в газетах было опубликовано, что по требованию «министра-социалиста» Переверзева, ставленника Керенского, у нас восстанавливается старая знакомая 129-я статья уголовного уложения. Прелести этой статьи львиная доля молодых русских революционеров испытала на своей собственной спине. Статья гласила так: «виновный в (устном или печатном) призыве к учинению тяжкого преступления, к учинению насильственных действий одной частью населения против другой, к неповиновению или противодействию закону, или постановлению, или распоряжению власти наказывается исправительным домом, крепостью или тюрьмой не свыше 3-х лет». За то же самое применительно к воинским частям во время войны обещалась каторга... Именно в такой редакции министерство юстиции внесло

эту статью в кабинет министров и требовало срочного ее введения.

Это уже звучало совсем скверно. Либо это был скверный анекдот, либо резкий скачек вперед смертельной болезни революции. Если бы что-либо подобное могло удаться коалиции всерьез, то это было бы началом полного краха. Однако, удастся или нет, но наглость покушения остается. Господа министры, имея возможность напечатать любое постановление, сочли за благо восстановить именно старую 129-ю статью. Это было не только нагло, но и не умно. Но в данном случае глупость отнюдь не есть смягчающее вину обстоятельство...

Не радовали дела коалиции и во внешней политике. Еще совсем на днях наше «демократическое» правительство молча проглотило мерзость, учиненную с Албанией союзным итальянским правительством. Сейчас, накануне С'езда, еще более гнусное насилие было учинено над Грецией — уже всеми союзниками скопом. Англо-французскими войсками там был произведен переворот, при чем союзники не задумались устранить «законнейшую» власть, ликвидировать августейшего монарха при малейших его попытках отстоять самостоятельность политики и уклониться от таскания из огня каштанов для биржевиков «великих демократий». Новый насильственный акт союзников говорил опять-таки о том, что англо-французские правители, сбросив со счетов — после первого перепуга — российскую революцию и не сомневаясь больше в холопстве «революционного» правительства, решили без околичностей плевать ему прямо в физиономию. И союзники не ошибались в расчетах. Правительство «полного доверия» **приняло к сведению** новое

доказательство великой мудрости Ллойд Джорджа и Рибо. А пресса рассыпалась в комплиментах и выражала полное «удовлетворение». Было гнусно.

При обсуждении этого «инцидента» в палате общин, господин Роберт Сесиль уверял, что Россия изготовила ноту, в которой будет об'явлено о продолжении ею войны. И действительно, наш Талейран вручил ноту уезжавшему, наконец, во-свояси доблестному Альберту Тома. Нота была ответом на ответную ноту союзников по поводу декларации 27 марта. Терещенко и Церетели выражали надежду, что «тесное единение между Россией и ее союзниками обеспечит в полной мере общее соглашение по всем вопросам на основании выставленных русской революцией принципов»; а затем, подчеркивая «непоколебимую верность общему союзному делу» (!), Терещенко и Церетели «приветствуют» готовность некоторых держав пересмотреть старые договоры. Для этой цели наши министры предлагают созвать конференцию союзных держав, «которая могла бы состояться в ближайшее время, когда создадутся для этого благоприятные условия»...

Это был, стало быть, «дальнейший шаг» к миру со стороны российской революционной власти. Казалось бы, в цитированных словах видна некоторая борьба между министрами-капиталистами и министрами-социалистами. Казалось бы, дело обстояло так: союзники выражали «готовность» собраться на конференцию, чтобы запечатлеть на бумаге отказ России от Константинополя, проливов, Армении и проч; Терещенко упирался против конференции, вовсе не желая таких ее результатов, не совместимых с «жизненными интересами России»; а Цере-

тели, от имени «всей демократии», тянул министров-капиталистов на конференцию в надежде, что Англия там откажется от Месопотамии, Франция от Сирии и т. д.... Казалось бы, именно в результате такой коллизии интересов и получился этот дрянной документ о приглашении на конференцию — «когда создадутся благоприятные условия». Только впоследствии было обнаружено, что благородный Церетели, публично похваляясь «дальнейшими шагами к миру», за кулисами («от имени всей демократии»?) советовал министрам-капиталистам не торопиться с конференцией — пока союзные демократии привыкнут к мысли о мире...

А тут еще, кроме офицерского с'езда, в это время заседал в Петербурге с'езд будущей Вандеи — казачий с'езд, который взяли в свои руки кадеты. Там говорились совершенно погромные речи, выносились резолюции против Совета. Подобно более дальновидной прессе, на казачьем с'езде не ограничивались травлей большевиков, а били дальше, в советское большинство, в министров-социалистов. Контр-революция по настоящему поднимала голову — под прикрытием того же советского большинства.

И появилась тогда же в Петербурге некая «Маленькая Газета». Издавали ее все те же Суворины — под необходимым флагом «независимого социализма». Велась газета с огромным талантом. По своему внешнему облику это был «Père Duchesne», орган «простонародья». Он составлялся в соответствующем стиле и был рассчитан на то, что его формулы, выкрики, заголовки, вскользь брошенные замечания — будут бить именно в центр больных вопросов темного обывателя, будут впитываться и хвататься на лету простонародными массами. Но

это был поистине замечательный образец народного балагурства — в прозе и виршах, замечательный образец приспособления к народным вкусам и запросам. «Père Duchesne», по внешности, может считаться только слабым, грубым подобием «Маленькой Газеты». С внутренней же стороны, со стороны содержания, идей, направления — насколько беспринципен и расхлябан был орган Гебера, настолько последователен, выдержан, принципиален был орган Сувориных. Под видом «народности», крайнего демократизма и «независимого социализма», «Маленькая Газета» держала прямой и твердый курс на контрреволюционный переворот, на военно-плутократическую диктатуру. И газета читалась «простонародьем» нарасхват, расходясь в сотнях тысяч экземпляров.

Любопытно, что в кандидаты на диктатора она — сначала полегоньку, а потом без околичностей — выдвигала не кого другого, а адмирала Колчака... Пока «несознательная» буржуазно-бульварная пресса, прельстившись агитацией Керенского на фронте, спекулируя на его исключительную популярность, усиленно расстилала перед ним красное сукно и вздыхала об его диктатуре, — братья Суворины, со стоящим за ними деловыми кругами, знали, что делали: третируя Керенского, как пустого, шумливого мальчишку, они через его голову снаряжали Колчака. Разумеется, они были правы. Но с точки зрения пролетариата и революции, вся эта картина, все эти перспективы были удручающи.

Этот дух момента хорошо чувствовался в дни перед С'ездом контр-революционными кругами. На этот счет имеется характернейший документ в виде обращения Родзянки к членам Гос. Думы, напеча-

танного в газетах 3-го июня. Родзянко требовал, чтобы члены Гос. Думы, этой тени царизма, этого символа реставрации, — не раз'езжались из Петербурга, а уехавшие спешно вернулись... «Политические события текущего времени требуют, — писал экс-президент экс-парламента, — чтобы гг. члены Гос. Думы были наготове и на месте, так как когда и в какой момент их присутствие может оказаться совершенно необходимым, установить невозможно; эти обстоятельства могут наступить внезапно...» Большего красноречия странно было бы требовать от старого Родзянки.

А в общем не мудрено, что десятая годовщина столыпинского переворота вызывала не гордые, не светлые, а мрачные и скверные ассоциации. В знойный, душный день 3-го июня, в день открытия Всеросс. С'езда Советов, настроение было самое удручающее...

* * *

Заседание открылось уже к вечеру, часов в семь. Но было еще жарко, и склонившееся солнце упиралось лучами прямо в обширную президентскую эстраду, устроенную в конце длиннейшего зала. Были заняты все делегатские места; за барьером, в противоположном конце разместилась, сидя и стоя, масса гостей; неудобно, по бокам эстрады были отведены места для совещательных голосов, членов Исп. Комитета.

Чхеидзе открыл С'езд довольно безразличной речью, после которой был утвержден многолюдный президиум, намеченный всеми фракциями, не исключая даже об'единенных энесов и трудовиков. В

президиуме оказались, конечно, все знакомые нам фракционные лидеры. Из новых лиц, сколько-нибудь интересных, можно, пожалуй, назвать приехавшего с фронта большевика, прапорщика Крыленко, известного еще по 1905 году. Обращало на себя внимание большое число кавказских людей, земляков Чхеидзе, разместившихся за столом президиума: Чхеидзе, Церетели, Гегечкори, Лорткипанидзе, Саакианц...

От имени президиума Богданов предлагает в первую голову обсудить основные вопросы о войне и власти, — а затем разбиться на секции. Но большевик Позерн требует немедленного обсуждения самого острого вопроса, волнующего армию — о наступлении. Конечно, это отклоняется на том основании, что наступление вовсе не есть особый и вообще не есть политический вопрос, подлежащий обсуждению: ведь в программе С'езда есть вопрос о войне.

Ничего особенного в настроении зала пока еще не видно. Только косые взгляды на большевиков и подавляющий лес рук, легко и покорно вздымающихся за предложения «звездной палаты». Все это в порядке вещей.

Но вот со стороны совещательных голосов просит слова к порядку старый меньшевик Абрамович, приехавший с Мартовым из-за границы, интернационалист, но лойяльный большинству партии, интересный человек и хороший оратор, стоявший полгода одной ногой во фракции Мартова, другой в сферах Церетели.

Абрамович требует немедленного обсуждения события, о котором с утра говорила в тот день вся столица. Этим событием была высылка из России

знаменитого швейцарского циммервальдца, Роберта Гримма... Разумеется, это «коварное» предложение, идущее со стороны оппозиции, было бы легко и мгновенно провалено всеми руками, кроме узенькой полоски с левой стороны. Но мужественный Церетели решил поднять перчатку; правда, он не рисковал решительно ничем, ибо для него было очевидно, что сидящая перед ним мужицко-обывательская толпа поддержит решительно все, что бы ни сказал и ни сделал зарекомендованный комиссар Терещенки в Совете. Но так или иначе министр Церетели присоединился к предложению Абрамовича. И тот же самый лес рук поднялся с требованием немедленно обсуждать дело Гримма... Вот тут С'езд и показал себя лицом.

* * *

Дело Гримма состояло в следующем: швейцарский посланник в Петербурге получил телеграмму от члена швейцарского правительства Гофмана; в ней давалось поручение передать пребывающему в Петербурге Гримму некоторое «словесное сообщение». А именно, — что Германия не предпримет наступления, доколе ей будет казаться возможным соглашение с Россией, что Германия ищет почетного для обеих сторон мира, тесных экономических отношений и готова оказать России финансовую поддержку, отказываясь от малейшего вмешательства в ее внутренние дела. Гофман просил передать Гримму свое убеждение в том, что «при желании союзников России, Германия и ее союзники готовы были бы немедленно начать переговоры о

мире»; при этом, конечно, добавлялось, что Германия, с своей стороны, не желает ни аннексий, ни контрибуций...

Впоследствии выяснилось, что эта телеграмма Гофмана была ответом на запрос самого Гримма, который в России пришел к убеждению в необходимости для нее ликвидировать войну. Впоследствии выяснилось также, что Гримм, желая содействовать возвращению русских эмигрантов на родину, еще в Швейцарии шел к этой цели закулисными ходами — при посредстве того же Гофмана. Большевики, в лице Ленина и Зиновьева, об этом знали; считая необходимым (при проезде через Германию) действовать открыто и официально, они отказались поэтому от услуг Гримма и поручили посредничество Платтену. По заявлениям Гримма, он предпочитал тайную дипломатию явной, опасаясь репрессий со стороны Антанты и нарушения нейтралитета Швейцарии.

Но все это выяснилось впоследствии. Пока же, до поры, до времени, о закулисном миротворчестве Гримма не знала не только «публика», но не знали и его ближайшие «единомышленники» и спутники — Мартов, Аксельрод и другие...

Вся буржуазия схватилась за дело Гримма. Только это ей и требовалось. Не только буржуазно-бульварная пресса, но и желто-«социалистическая», в полном восторге начала свистопляску. Радость была понятна. Ведь налицо был повод втоптать в грязь Циммервальд. Помилуйте! вот они каковы на деле, эти рыцари святого Грааля! Вот они каковы, эти строгие хранители международных социалистических принципов, эти монопольные блюстители чистоты рабочего Интернационала. Поскре-

бите их, посмотрите под их белоснежные одежды, и вы увидите грязное естество агентов германского генерального штаба...

О сомнительных приемах Гримма, совершенно возмутительных для ответственного представителя циммервальда, знали отчасти только одни большевики. Прочие интернационалисты были в нелепом и затруднительном положении: не допуская того, что было в действительности, они в течение нескольких дней продолжали настаивать на лойяльности Гримма по отношению к циммервальду. Тем блистательнее была «победа», тем больше восторгов было со стороны буржуазии: стало быть, в содействии немцам, в пособничестве сепаратному миру с Вильгельмом явно замешаны все наши интернационалисты.

На самом деле Гримм не был ни циммервальдцем, ни немецким агентом. Он оказался просто заплутавшимся пацифистом. Он рассудил, что для России, для русской революции лучше сепаратный мир, чем продолжение войны. И он попытался ему содействовать грубо-наивными приемами буржуазного пацифиста. Но, повторяю, все это обнаружилось только впоследствии. А сейчас налицо была только телеграмма Гофмана — с сообщением Гримму о добрых намерениях правящей Германии.

Перехватив эту телеграмму, Терещенко и Львов бросились к Скобелеву и Церетели, которые, при разрешении в'езда Гримму, взяли его под свое поручительство (в том, что Гримм не германский агент). Скобелев и Церетели бросились к Гримму и требовали у него об'яснений: подлинный ли это документ и каково его происхождение? Церетели требовал, чтобы Гримм об'явил «провокацией» ма-

невры Гофмана. Гримм уклонялся, ссылаясь на интересы Швейцарии; но заявил, что телеграммы Гофмана ему никто ни прямо, ни косвенно не передавал, и всякую попытку пользоваться им, Гриммом, как передатчиком планов мира между империалистскими правительствами, он будет беспощадно разоблачать. Наши министры-социалисты признали эти об'яснения неудовлетворительными. Вр. Правительство предложило Гримму покинуть Россию, и Гримм выехал во-свояси рано утром того же 3-го июня.

Именно в таком виде дело Гримма и предстало перед С'ездом.

* * *

Слово для обвинения и запроса было предоставлено Мартову, которому, вместе с Аксельродом, пришлось быть посредником в переговорах между Гриммом и Церетели. Мартов ставит вопрос совершенно правильно. Так же ставила его в речах, статьях и разговорах советская оппозиция. Громкое — на весь мир! — дело, еще не слыханное в революции, имеющее огромнейшую принципиальную важность, Церетели и Скобелев проделали втихомолку, на свой страх и риск, пошушукавшись со Львовым и Терещенкой. Они выслали Гримма б е з в е д о м а Исп. Комитета, хотя было достаточно времени, чтобы испросить его санкции и посоветоваться с ним.

Но дело тут не в характерных «формальностях». Дело в принципиальной постановке вопроса. От иноземного гостя, Гримма, гражданина нейтральной страны, требовали, чтобы он всенародно обвинил

своего швейцарского министра в нарушении нейтралитета, то-есть выдал Швейцарию в лапы союзников, только что «освободивших» Албанию и Грецию. За отказ в этом Гримма выкинули административным порядком, без суда и следствия, из революционной страны в качестве германского агента.

Между тем, с заведомыми, открытыми и несомненными агентами англо-французского империализма не только нянчилось правительство, но и были в контакте, в добром согласии, в постоянном личном общении — министры-социалисты. Ведь официальные представители парижской и лондонской бирж — все эти Тома, Вандервельды и Гендерсоны, имевшие в России миссию затянуть войну без конца, до полного разгрома революции — были у нас желанными и почетными гостями. Мартов правильно поставил дело, сказав:

— Значение этого вопроса обусловливается не только именем высланного, но и тем, что на нем должен определиться весь политический облик С'езда, то-есть той силы, которая должна будет управлять творчеством русской революции.

И облик С'езда на этом деле действительно определился. Конечно, большинство собрания не имело понятия о том, кто такой Мартов, какой он партии, что он доселе делал на свете — пока его слушатели, при царизме, мирно поживали и добра наживали. Было достаточно, что оратор резко обвиняет в чем-то Церетели, тоже социалиста и притом министра, сотрудника самых почтенных, очень либеральных и крайне демократических людей...

Поднялась вакханалия, в залах начался патриотический вой; «негодование» и «гнев» против немецких

пособников стоном стояли в зале. «Кадетский корпус» развернулся боевым фронтом быстро и дружно...

Мартов был взволнован открывшейся перед ним картиной. У его ног волновалась темная стихия, которая была живой контр-революцией. Казалось, эта темная сила физически напирает на трибуну и вместе на революцию, а щуплая фигурка Мартова, угловатая, скромная, не воинственная, героически противостоит жадному, нечленораздельному, бессмысленно рычащему чудовищу. Даже Троцкий не выдержал этого зрелища:

— Да здравствует честный социалист Мартов! — закричал он, подбежав к трибуне и формулируя свое настроение.

Церетели и Скобелев не сказали, в сущности, ничего в об'яснение принципиальной стороны дела. Но этого и не требовалось. Они вызвали достаточно восторгов и гоготанья своими заявлениями, что они поручились за Гримма, а он не желал выполнить их требования; Гримму даровали полную свободу слов и действий в России, а он, ссылаясь на швейцарский патриотизм, отказался заклеймить «провокацию»; понятно, что Церетели, из русского патриотизма, не остановился перед административной расправой.

Рукоплесканиям не было конца... В царившей атмосфере не очень приятное впечатление произвело необ'яснимо сдержанное выступление Зиновьева, который также назвал об'яснения Гримма неудовлетворительными, а самого Гримма плохим социалистом. Зиновьев заявил только, что с плохим социализмом нельзя бороться репрессиями (sic!) и, в частности, высылкой. Монопольно владея некото-

рыми сведениями о Гримме, большевики почему-то помалкивали о них.

Глядя на «определившийся» С'езд, волновался мой сосед — увядший, истрепанный травлей Стеклов:

— Эх, надо бы им ответить! Эх, я бы выступил!..

— Так выступите, — не подумав, сказал я.

— Что вы, разве мне можно появиться! — ответил Стеклов, — разнесут, разорвут...

Действительно, выученики «Биржовки», «Дня» и «Единства» — собравшиеся «лучшие люди» не могли бы стерпеть перемены фамилии, в своем избытке благородства.

С'езд определился...

На открытие пожаловал и Керенский, которому устроили неистовую овацию. Но от Вр. Правительства официально никто не явился. В кадетском корпусе собралась «вся демократия» — крестьянство, армия, пролетариат. Мало того, — здесь собралось не только большинство страны, ее наличное «общественное мнение», но и надежнейшая, единственная опора этого самого правительства, его единственный базис и пьедестал. И все же кабинет полного доверия не прислал никого приветствовать С'езд. Сего 3-го июня Львов, Терещенко и Шингарев, конечно, могли вполне свободно позволить себе роскошь столыпинской повадки. На доверии и поддержке это отразиться не могло... Но все подлинные революционеры расходились из кадетского корпуса после первого заседания с определенным и острым ощущением: т р е т ь е г о и ю н я.

* * *

На другой день началось слушанием дело **о власти**, об отношении к Вр. Правительству. После доклада Либера, доклада довольно пустого, прения продолжались целых пять дней. В эти прения почему-то вклинились и «отчеты» министров-социалистов. Впрочем, это были не отчеты, а самые обыкновенные политические и полемические речи. При том Церетели, Скобелев и Чернов выступали каждую минуту, казалось по несколько раз по всякому вопросу, и оставались на трибуне целыми часами. Министр почты и телеграфа еще умудрился каким-то способом сойти за (совершенно непредвиденного) «содокладчика» о Вр. Правительстве и получить заключительное слово. Это было нестерпимо не только для здравомыслящих людей, но начинало выводить из себя и весь «кадетский корпус». Одни начали лойяльно вздыхать, другие не столь лойяльно ворчать себе под нос, третьи откровенно покрикивать: довольно, слышали, дайте послушать людей с мест!

После докладчиков и министров, как полагается, назначили выступления ораторов от фракций, то-есть опять-таки **лидеров**. На это должно было уйти целое заседание. Потом уже предполагались речи вольных ораторов, которых записался не один десяток. Я также записался одним из первых — с моими «индивидуальными» большевистскими лозунгами и меньшевистскими методами по части **диктатуры демократии**. Но звездная палата, в лице президиума С'езда, постановила: вольным ораторам не быть вовсе, а разрешить выступить по два или по три от фракции. И было по сему. Так я и остался — таить про себя или отстаивать в частных разговорах свои мнения **о власти**.

Следить за ходом прений нет никакого интереса. Уже давно в зубах навязли все эти пошленькие фразы о буржуазной революции, о выгодном соглашении с благожелательной и уступчивой буржуазией, о необходимости привлечь к творческой революционной работе «все живые силы страны»... Стоит остановиться только на нескольких характерных эпизодах, коснуться некоторых штрихов, отражающих ситуацию.

Либер и Церетели с полной наивностью воспевали коалиционную власть, «общенациональную» власть всех живых сил, всех ответственных элементов общества, власть единственно возможную и в полной мере себя оправдавшую. От пошлого и тупого хвастовства контр-революционной политикой коалиции тошнило, конечно, не одних большевиков. Но здесь не было ничего ни нового, ни любопытного.

Новое и любопытное началось, когда из фракции большевиков, в качестве оппонента, выступил сам Ленин, вышедший на солнечный свет из своих подземелий. В непривычной обстановке, лицом к лицу со своими лютыми врагами, окруженный враждебной толпой, смотревшей на него как на дикого зверя, — Ленин, видимо, чувствовал себя не важно и говорил не особенно удачно. К тому же над ним тяготели жестокие 15 минут, отведенные для фракционного оратора. Но Ленину и вообще не дали бы говорить, если бы не огромное любопытство, испытываемое каждым из провинциальных мамелюков к этой знаменитой фигуре... Ленин говорил довольно беспорядочно, без стержня; но в его речи были замечательные места, ради которых об этой речи необходимо вспомнить.

В этой речи Ленин дал свое решение вопроса о власти, а также в общих «схематичных» чертах наметил программу и тактику этой власти. Слушайте, слушайте!

— Гражданин министр почт и телеграфов, — сказал Ленин, — заявил, что в России нет политической партии, которая согласилась бы взять целиком власть на себя. Я отвечаю: «есть»... Ни одна партия отказаться от этого не может, все партии борются и должны бороться за власть, и наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком.

Это было ново, любопытно и очень важно. Это было первое открытое заявление Ленина о том, что в его устах означал лозунг: вся власть советам. Власть должна принадлежать «целиком» пролетарской партии Ленина, которая борется за власть «целиком». Другая сторона дела — та, что Ленин готов взять всю власть каждую минуту, то-есть когда его партия находится в заведомом меньшинстве. Это было не менее интересно и не менее существенно.

В общем, приведенный отрывок из ленинской речи чрезвычайно содержателен; он заключает в себе целую политическую систему, которая ныне заменяет собой, «развивает» и расшифровывает первоначальную (апрельскую) схему Ленина. Тогда большевистский вождь призывал учиться быть в меньшинстве, иметь терпение, завоевывать советы, добиваться в них большинства и передать им всю власть в центре и на местах. Ныне Ленин, не имея терпенья, не добившись большинства, не завоевав советов, требует против их воли всей власти, требует диктатуры для одной своей партии... Воз-

можно, что в тайниках ленинской головы никогда и не было иного толкования первоначальных апрельских лозунгов. Но обнародовать это толкование он счел уместным и своевременным ныне впервые.

Теперь, — что же стал бы делать Ленин, когда бы в любую минуту стал у власти?.. Я приведу его подлинные слова, цитируя их по «Правде» (№ 83, от 16-го июня нов. ст.):

— Наш первый шаг, который бы мы осуществили, если бы у нас была власть: арестовать крупнейших капиталистов, подорвать все нити их интриг. Без этого все фразы о мире без аннексий и контрибуций пустейшие слова. Вторым нашим шагом было бы об'явить народам отдельно от правительств, что мы считаем всех капиталистов разбойниками, и Терещенко, который ничуть не лучше Милюкова, только тот немножко поглупее, и капиталистов французских, и английских, и всех...

Дальнейших шагов Ленин не перечислил, отвлекшись случайными мыслями. Он только сказал еще, что большевистская власть выступила бы с предложением всеобщего мира. Но первого и второго шага было во всяком случае достаточно для того, чтобы весь зал ахнул от неожиданности, от нелепости такой программы. Не то, чтобы большинству почтенного собрания определенно не понравилась перспектива ареста сотни крупнейших капиталистов[1]): не забудем, что многие и многие из тогдашних меньшевиков это будущие «комму-

---

[1]) Лично у меня осталось в памяти, что Ленин сказал именно «арестовать 200—300 капиталистов»; в других газетах — в этом роде. Но будем больше собственных ушей верить «Правде».

нисты», а едва ли не большинство эсеров-крестьян в недалеком будущем стало левыми эсерами. Арестовать капиталистов — это очень приятно, а об'явить их разбойниками во всяком случае вполне справедливо.

Оставляя в стороне прапорщиков, либеральных адвокатов и прочих подобных, — у рабоче-крестьянской части собрания классовый инстинкт был, пожалуй, даже на стороне Ленина, хотя предубеждение мешало этому проявиться, а авторитетнейшие вожди тянули в об'ятия этих самых капиталистов. Но в качестве программы будущего правительства оба «шага» Ленина были поистине нелепы и показались нимало непривлекательны даже для маленького левого сектора. Недоумение от речи Ленина отразилось совершенно недвусмысленно и на лицах, и в разговорах крайней левой.

В глазах же большинства герой Керенский, выступивший вслед за Лениным, одержал над ним блистательную победу. Керенскому после Ленина стоило немногого нарядиться в тогу демократизма и благородства, сыпать фразами о свободе, щедро сулить мир всему миру — и разбойникам-капиталистам и товарищам-пролетариям. В ответ на проект Ленина арестовать, ради скорейшего мира, сотню-другую биржевых магнатов, Керенский, пожиная бурю аплодисментов, бросил:

— Что же мы, социалисты или держиморды?..

Впрочем, ничего любопытного Керенский тут, вообще говоря, не сказал. А когда левый сектор ответил на «держиморду» шумом и топаньем, то деревянный, с неповоротливыми мозгами председатель Гегечкори, любезный кавказскому сердцу старика

Чхеидзе, раз'яснил, что держиморда это литературное слово.

На этом основании сменивший Керенского Луначарский, с места в карьер, назвал Гегечкори держимордой... Луначарский не сказал ничего столь яркого и индивидуального, что осталось бы у меня в памяти три года, до сего дня. Но он дал превосходную, сжатую, изящную критику коалиции и сделал необходимые, логичные, правильные выводы.

Помню, в конце этого заседания, уходя в редакцию, я встретил на лестнице Троцкого, который, по обыкновению, пребывал «в массах» и сейчас поспевал на С'езд к шапочному разбору:

— Ну, что там делается? — остановил он меня. — Интересные были дискуссии? Много я потерял?

— Да ничего, был большой день, — сказал я, — но лучше всех был Луначарский, и вообще был превосходен Луначарский...

— Да? — с интересом схватил Троцкий, и в его глазах опять мелькнуло удовольствие. Луначарский ведь был второй крупнейшей величиной в крошечной группке «междурайонцев».

В своей речи о власти Луначарский дал не только блестящую критику, — он дал и положительную программу. В предложенной им резолюции намечена такая конституция российской республики:

«Переход всей власти в руки трудовых классов народа в лице Исп. Комитета Всерос. Союза Советов Р. С. и К. Деп., при контроле временного революционного парламента». Этот временный парламент избирается С'ездом, в числе 300 человек, пополняемых еще сотней депутатов петербургского совета. Парламент избирает из своей среды Исп. Комитет, который будет обладать всей исполнитель-

ной властью в стране и «осуществлять ее через своих министров и специальную государственную комиссию»(?).

Это не совсем еще ясно и убедительно, но в резолюции и не изложишь полностью конституции. Предложение Луначарского во всяком случае интересно. Вопреки Ленину, Троцкий и Луначарский вовсе не жаждут «в каждую минуту» власти одних большевиков и проектируют избрание полновластного правительства теперешним, мелкобуржуазным, капитуляторским, третьеиюльским С'ездом. Стало быть, ни анархических «советских» коммун, ни немедленного захвата власти пролетарским меньшинством здесь не предполагалось. Не приемля Ленина, можно было вполне присоединиться к постановке вопроса Троцким и Луначарским.

Дальнейшие прения о власти как будто полностью подтверждают предположение, что в очередных планах «реконструкции» власти между Лениным и Троцким еще не было настоящего контакта — в начале июня...

В числе прочих министров-социалистов дал отчет С'езду и министр продовольствия Пешехонов; но не в пример другим министрам — его речь не касалась высокой политики, не была рассуждением о войне и власти, а была целиком посвящена продовольственным делам. Поэтому, газеты квалифицировали выступление Пешехонова, как чисто деловое; а многие делегаты с удовольствием отмечали, что С'езд, мол, не только митингует, — он занимается и настоящей государственной работой.

В действительности, с речью Пешехонова дело обстояло не совсем так. Деловая-то она была дело-

вая; но «принципиальное» содержание ей было совсем не чуждо. И это «принципиальное содержание», никем — по странности — не отмеченное, было совершенно неприлично в устах «министра-социалиста», дающего ответ пославшим его представителям народных масс. Вот какую философию продовольственной проблемы дал в своей речи гражданин Пешехонов.

— Ставится на очередь самый важный вопрос о получении необходимых для деревни продуктов, которых не хватает. Производительность рабочего класса после революции упала и понятно почему. ... Размах требований, пред'являемых им, гораздо больше нормального. С повышением заработной платы цена денег падает (!), стоимость продуктов возрастает и снова приходится улучшать положение повышением платы (!). Но ведь наступит момент, когда повышать будет невозможно... Вся трудность заключается не в преодолении сопротивления буржуазии, которая во всем уступает, а в преодолении психологии трудящихся масс, которых надо призвать к самому напряженному труду, к лишениям и отказу от довольства, к необходимым жертвам... Надо ограничивать себя во всем... И если нам удастся преодолеть эти психологические затруднения масс, повести их за собой, то мы разрешим наши проблемы.

Так говорил Пешехонов. Комментировать не приходится, — но чему больше удивляться, не знаешь: теоретической невинности или политическому цинизму этого «делового» «министра-социалиста». Однако, никто не отметил всего этого в речи Пешехонова. А сменивший его Троцкий говорил так:

— С огромным интересом прослушал я речь Пешехонова, так как и у идейных противников можно поучиться... На очереди сотрудничество министров труда и промышленности, а Коновалов ушел, саботируя организацию промышленности. Ищут заместителя три недели и не могут найти. Поставьте у власти 12 Пешехоновых, и это уже громадный шаг вперед. Взамен Коновалова найдите другого Пешехонова... Вы видите, я исхожу не из фракционных соображений, а лишь из целесообразности... Надо, чтобы рабочий класс знал, что наверху стоит его собственная власть, тогда он не будет стремиться урывать в свою пользу куски, а будет относиться к правительству бережно... Мы не подрываем вашей власти, мы работаем подготовляя для вас завтрашний день. Мы говорим, что ваша политика выжидания может подкопать устои Учр. Собрания. Мы критикуем потому, что болеем с вами теми же болезнями.

В этой речи Троцкий назвал коалиционное правительство «примирительной камерой». Но он сам выступил на С'езде в виде некой примирительной камеры...

Я помню, как много-много спустя, уже прочитав первую книгу моих «Записок», Троцкий издевался надо мной, говоря со мной об этой книге:

— Вы разговаривали с Керенским! — восклицал он в саркастическом пафосе, — вы пытались «убедить» его, заведомого ставленника буржуазии, представителя враждебного класса. Ну, разве вы не земский либерал! Для революционера законен только один путь: пойти к своему классу, апеллировать к нему и призывать его к борьбе...

В речи о власти на первом С'езде советов Троц-

кий, как видим, не следовал этим мудрым принципам. Напротив, он щедро расточал самые оппортунистские, самые земско-либеральные «убеждения» по адресу прислужников буржуазии; он пытался «подойти» к их психологии, приспособиться к их образу мыслей и как будто даже зашел гораздо дальше, чем следует, в своем поссибилизме... Посадить какого-нибудь Пешехонова (а лучше социалиста без кавычек) на место Коновалова предлагал и я в Исп. Комитете — недели две назад. Но этот Пешехонов был для меня только неизбежным элементом, крайним правым флангом демократической власти. Двенадцать Пешехоновых никак не могли, в моих глазах, явиться «собственной» властью рабочего класса.

Власть, идущая на смену коалиции, была, с моей точки зрения, правительством рабоче-крестьянского блока, где представители мелкой буржуазии, Пешехоновы, Черновы и Церетели, были бы в коалиции с действительными вождями пролетариата, с Лениным, Мартовым и Троцким. Пусть первые будут в большинстве, и пусть они попрежнему тянут к «выжидательной», буржуазной политике; но зато пролетариат есть гегемон революции и носитель ее непреложной программы. Правильный ход событий был бы обеспечен при такой власти и только при такой.

Во всяком случае цитированный отрывок из речи Троцкого (по «Делу Народа», в полном соответствии с моими личными воспоминаниями) как будто бы совершенно ясно говорит о том, что Троцкий, вопреки Ленину, не ставил захвата власти большевистской партией в порядок дня. Под властью советов он как будто понимал действительно власть

советов. На захват власти столично-пролетарским меньшинством здесь нет никаких намеков... В каком же смысле, в каких пределах, с какими ограничениями надлежит понимать слова Троцкого, сказанные в «Новой Жизни», что его дорога отныне только вместе с Лениным? И не совершил ли я тогда, во время набега трех генералов на нашу газету, легкомысленной ошибки, — отвергнув союз с Луначарским и Троцким?..

* * *

Прения о власти на С'езде увенчались резолюцией. Это была, конечно, резолюция блока эсеров и меньшевиков. Содержание ее таково. В первых строках дается «историко-философское» обоснование коалиции, — а именно: «передача всей власти только буржуазным элементам нанесла бы удар делу революции, а переход всей власти к советам значительно ослабил бы ее силы, преждевременно оттолкнув от нее элементы, способные еще служить ей, и грозил бы крушением делу революции»... Больше ничего придумать звездная палата со своей периферией не могла. Поистине жалкая, убогая, дырявая нищета философии!

Затем, — «заслушав об'яснения товарищей-министров об общей политике Вр. Революционного Правительства и выражая им полное доверие, Всеросс. С'езд признает направление этой политики отвечающим интересам революции»... Как видим, это звучит довольно кисло. Не в пример тому, что сделал петербургский совет 5-го мая, в дни рождения коалиции, — «кадетский корпус» выразил «полное доверие»

не всему кабинету, где «находятся наши товарищи», а только самим товарищам... В дальнейшем резолюция «призывает Вр. Правительство решительнее и последовательнее проводить принятую им демократическую платформу»; и перечислив все ее пункты, С'езд «в особенности требует (о ужас, даже требует!) скорейшего созыва Учр. Собрания».

В этой резолюции предусматривается создание «единого полномочного представительного органа всей организованной революционной демократии России, в который должны войти представители С'езда С. Р. и С. Д. и представители С'езда Крест. Деп. Перед этим органом (Центр. Исп. Ком.) министры-социалисты ответственны за всю внешнюю и внутреннюю политику Вр. Правительства. Эта ответственность дает уверенность в том, что пока министры-социалисты остаются в составе Вр. Правительства, это правительство действует в согласии с демократией и потому должно пользоваться деятельной поддержкой всех демократических сил страны и всей полнотой власти. С'езд призывает всю революционную демократию еще теснее сплотить свои силы вокруг Советов Р. С. и Кр. Деп. и энергично поддерживать Вр. Правительство во всей его деятельности по укреплению и расширению завоеваний революции».

Если вспомнить резолюцию о власти, принятую первым советским с'ездом (мартовским «Совещанием») два с лишним месяца назад, — то будет очевидно огромное ухудшение и принижение сил демократии. Там было сплочение вокруг советов для борьбы с буржуазией за революцию. Здесь — сплочение вокруг советов для поддержки буржуазии, руководящей «коалицией». Но все же июнь-

ская резолюция выглядит приличнее тех, которые принимались правящими советскими партиями при встрече и при первых шагах нового правительства, месяц тому назад.

Об'ективный ход вещей дал себя знать. Спорить против очевидности было невозможно. За несколько недель работы слова и дела коалиции убедили не только «низы»... Правда, черноземная делегатская масса приняла бы, вслед за вельможными вожаками, какую угодно резолюцию. Но многие старые партийные работники, активные участники фракционных заседаний, посовестились быть правее и «лойяльнее» здравого смысла. И резолюция, хромающая на обе ноги, в попытках сделать шаг вперед и два назад, носит на себе следы борьбы и увечья.

Я заглядывал в меньшевистскую фракцию, когда там стряпалась эта резолюция. Зрелище было достойное слез и смеха... За доверие одним министрам-социалистам стоял докладчик, старый меньшевик, совестливый оппортунист, москвич Исув. Против этого восстал тупейший член кавказского созвездия Гегечкори, а за ним поплелся и грустный, нерешительный Чхеидзе. Но Исува поддерживали многие. И тогда справа предложили совсем опустить тезис о доверии — не сказать ни так, ни сяк. Страсти основательно разгорались. Особенно поднял настроение Церетели, который бурно выступил за доверие всему кабинету, поскольку в правительстве остается он сам и его товарищи, министры-социалисты. Выступление было опять-таки совершенно неприличного свойства. Министр почт и телеграфа требовал и вырывал силой доверие самому себе, которое товарищи были не склонны

ему дать. Но Церетели не стеснялся в своем отечестве. И желанное большинство фракции он получил, — с тем, чтобы в пленуме С'езда, по случаю партийной дисциплины, за него голосовала вся фракция.

Однако, меньшевистский центр. комитет опротестовал это решение. У него не поднялась рука вотировать доверие всей коалиции. И в конце концов был восстановлен прежний текст о доверии одним министрам-социалистам, вполне доверяющим Терещенке, Львову, Шингареву. По соглашению с эсерами эта формула собрала в пленуме подавляющее большинство.

Конечно, словесная резолюция ровно ничего не меняла в общем положении дел; она ни на ноту не укрепляла коалиции. Но она резюмировала настроение С'езда, который неуклюже, коряво, нерешительно, но все же определенно поддержал правительство и его политику. Вотум состоялся 8 июня...

Я в этот день простудился и не был на С'езде. А на следующий день, лежа в постели в редакции «Летописи», я написал по поводу этого вотума статью для «Новой Жизни». Я напоминал в ней о том, как два с небольшим месяца назад советское Всерос. Совещание тоже вотировало доверие и поддержку («поскольку-постольку») правительству Гучкова-Милюкова; а через три недели, игнорируя этот вотум «всей демократии», петербургским рабочим пришлось свергать и свергнуть это правительство, как явно непригодное, вредное и опасное для революции. Я говорил в статье, что вотум доверия коалиции неизбежно постигнет та же судьба. Словесная резолюция, ничего не изменяя, не поддержит — против об'ективного хода событий —

в конец истрепанного за месяц, ненавистного массам, явно контр-революционного знамени коалиции. Революция ушла вперед; ее программа все не выполнена и не может быть выполнена союзом Терещенки с Церетели. Наступила пора, создалась возможность, возникла необходимость, стала ясна неизбежность диктатуры демократии, перехода всей власти в руки советских партий, единственно способных идти в уровень с революцией и выполнить ее программу.

Статья моя на другой день не появилась. На запрос, мне прислали сказать, что ее отклонили, при участии самого Горького. Ну, что ж! Подождем еще неделю-другую. Не возопиют ли тогда камни?...

* * *

В прения о власти вклинился еще особый пункт о Гос. Думе. Вопрос этот был поднят Луначарским — в его вышеотмеченном выступлении. Ближайшим поводом к тому послужило цитированное письмо Родзянки, приглашающее г. г. членов Думы развести пары в ожидании чрезвычайных событий... Казалось бы, дело не могло возбудить никаких сомнений: столыпинскую третьеиюньскую Думу надлежало немедленно упразднить вместе с черносотенным сплошь Гос. Советом. Эти призраки царизма стали, если и не опасны для революции, то крайне соблазнительны для нарушителей общественного порядка и спокойствия.

Однако, не только в действительности, но и на С'езде дело приняло любопытнейший и характернейший оборот. Большинство правительства, ко-

нечно, совсем не хотело роспуска Думы: и кадеты, и «левые» их подголоски, в лице Львова, Терещенки, Годнева, — были одинаково третьеиюньцами и контр-революционерами. А по этому случаю стали упираться на С'езде и министры-социалисты. Левейший Чернов восклицал: помилуйте, нужно ли, стоит ли, можно ли убивать покойницу?! Другие отыгрывались на этой же блестящей, ультра-левой «идее». Только «государственный» Церетели не воздержался от нестерпимой пошлости, заявив:

— Надо признать, что и Гос. Дума, которую тут называли собранием мертвецов, еще пользуется большим авторитетом в очень широких слоях населения, и только в дальнейшем поступательном ходе революции может выясниться действительная роль Гос. Думы, и тогда население от нее не отшатнется.

Это было слишком даже для кадетского корпуса. Делегатская масса, не столь искушенная в политиканстве, в сущности совсем не возражала против немедленной ликвидации царского «законодательного корпуса». Напротив, она признавала это вполне логичным и очень желательным. Эсеры, в своей фракции, вынесли резолюцию, требующую декрета о роспуске Думы. Делегатским массам показалась довольно убедительной реплика Луначарского, который говорил:

— Если Дума умерла, давайте ее похороним, потому что ее разложение заражает трупным запахом революционную атмосферу. Надо вбить осиновый кол в подозрительную покойницу, которая имеет тенденцию воскреснуть... Чернов прекрасно знал, что буржуазия даст большое сражение за труп покойницы. Следовательно, он думал отвести наши дебаты от правильного русла.

Но затем делегатская масса уступила лидерам, а эсеровская фракция — меньшевистской. Дан и Церетели, суфлируемые Львовым и Терещенкой, с успехом отстояли свои «теории» бережения буржуазных живых сил. Незатейливый Гоц, только что стоявший за декрет о роспуске Думы, был выпущен на трибуну для того, чтобы грубо и плоско обрушиться на демагога Луначарского за требование того же декрета. И в заключение была принята резолюция, где констатируется, что революция уже упразднила Думу, превратив ее в собрание частных граждан; отпуск же средств на ее содержание впредь надлежит прекратить.

Авторы не желали заметить даже противоречия между этими двумя «тезисами». Но они не возражали против никчемно-крохоборской поправки Мартова — о выходе социалистов из думского комитета! — которая и была принята... Впрочем, как и всегда, никакого практического результата от этой резолюции не воспоследовало. История с Думой на С'езде заслуживала упоминания только как образец мелкого и скверного политиканства тогдашних правящих советских сфер.

* * *

С 9-го июня начались прения о войне... Докладчик Дан уже несколько дней назад представил свои тезисы Исп. Комитету. Это было уже во время С'езда. В Таврическом дворце, когда обсуждались тезисы, было налицо всего десяток молчаливых членов Исп. Комитета. Я случайно, без заранее обдуманного намерения, проявил большую агрессив-

ность и обрушился на «военную» политику советского большинства. Дан даже выражал удивление по поводу моего неожиданного «красноречия»: мы, в Исп. Комитете, уже почти перестали спорить.

Именно в эти дни мы в «Новой Жизни» особенно резко и решительно поставили вопрос о разрыве с обнаглевшим союзным империализмом. Для русской революции не было иного выхода, кроме разрыва этих цепей, в которых она уже явно задыхалась, увядала, гибла — вместе с делом всеобщего мира. Сделать «великие демократии Запада» похожими на революционную Россию не удалось; но революционная Россия не по дням, а по часам ассимилировалась с варварскими союзными странами. Во избежание окончательной капитуляции, для предотвращения полнейшего падения всякого кредита революции, — было необходимо форсировать полный разрыв с военной политикой Англии и Франции.

Но что это означает? — галдели и шипели кругом, устно и печатно. Ведь это позорный сепаратный мир, это предательство англо-французского пролетариата, это крушение дела всеобщего мира... Надо было об'ясниться до конца, поставить точки над «и», во избежание недоразумений. И мы, в редакции, именно в эти дни доработали, рафинировали наши военные формулы. Это было сделано отчасти под давлением Горького, который беспокоился и требовал ясности.

В один и тот же день мы с Базаровым принесли по статье, в которых раз'яснялось, для чего нужен и что означает разрыв с союзниками. Статья Базарова, более принципиальная, появилась на другой день; моя, более конкретная, на следующий.

Раз'яснения, довольно элементарные, сводились

к тому, что разрыв с союзным империализмом совершенно не определяет отношений к германскому. В принципе, отношение к тому и другому должно быть одинаково. Союза не должно быть ни с тем, ни с другим. Поскольку же именно германский империализм непосредственно угрожает военным разгромом революционной России, постольку с ним должна продолжаться война. Это будет война, не имеющая ничего общего ни с каким империализмом. Она будет вестись во имя принципов, выдвинутых русской революцией. Поскольку Вильгельм, Гинденбург и Кюльман не отказываются от своих грабительских целей, постольку результатом разрыва с союзниками будет не сепаратный мир, а сепаратная война революционной России с империалистской Германией.

Самый термин «сепаратная война» принадлежит Базарову. Он быстро приобрел большую популярность — к большому ущербу для существа дела. Ибо центр вопроса заключался, конечно, не в войне, а в разрыве с союзниками, как факторе мира. Сепаратная война противопоставлялась сепаратному миру, не более. Смысл же проблемы заключался в полном освобождении революции от тенет мирового империализма — ради поднятия ее престижа и превращения ее вновь в очаг ликвидации мировой войны.

Дальнейший план действий, после разрыва с союзниками, должен был состоять в том, чтобы втянуть западный пролетариат — в разрыв со своими правительствами, вслед за нами. Дальнейшая программа сводилась к тому, чтобы мирными выступлениями революционной России потрясти основы войны, создать атмосферу мира и втянуть в про-

цесс ликвидации мировой войни рабочие массы воюющих стран..

Вместо всего этого критики ополчились на сепаратную войну, как таковую. Помилуйте, как можем мы воевать без помощи наших союзников! Не будем ли мы безотлагательно разбиты и принуждены заключить тот же сепаратный мир?.. Подобные вопросы и сомнения сами по себе не были незаконны, хотя последующий ход истории вполне доказал их неосновательность. Но когда в них переносился центр тяжести, то это запутывало дело. Впрочем, это и требовалось просвещенным критикам из правящего советского блока.

Во время обсуждения «военных» тезисов в Исп. Комитете я отстаивал вышеизложенные лозунги «Новой Жизни». Дан был неподготовлен к возражениям против «новой идеи» сепаратной войны. Но никаких последствий это не имело. Надлежащее число рук не замедлило подняться за тезисы Дана. Утром 9-го он сделал свой доклад на С'езде и открыл им новые прения на три или четыре дня. В этих прениях, как и в докладе, не мало внимания уделялось сепаратной войне. Но я лично ничего этого не слышал, пролежав в постели эти дни.

В прениях о войне выступали опять все партийные советские лидеры — от Керенского до Ленина. Но в этих прениях они не могли сказать уже ровно ничего нового, характерного, интересного; тем более, что в министерских «отчетах» и в прениях о власти говорили также больше всего о войне. Большевики, в лице Ленина, отвергая сепаратный мир, шли по этой линии дальше — дальше здравого смысла — и определенно намечали перспективы священной войны до мировой социальной ката-

строфы, до освобождения Индии, Египта и всех чернокожих. Меньшевики-интернационалисты, в лице Мартова, выдвинули никчемную идею всеобщего перемирия; эта идея, очевидно, казалась вспомогательной, облегчающей, идущей по линии меньшего сопротивления; но я лично никак не мог оценить всей прелести этой выдумки моих ближайших политических друзей.

Официальная же советская позиция, выраженная в докладе, в министерских речах и в резолюции, сводилась ныне к следующему. Российское революционное правительство решительно порвало с империалистской политикой. Все, что возможно, им делается для достижения новых соглашений с союзниками — на основе принципов революции. Но при этом, во что бы то ни стало, надо избежать разрыва с союзниками. Поэтому обращаться с ними надо в высшей степени деликатно: необходимо избегать таких обращений, которые могут быть приняты за ультиматум, ибо иначе мы получим ответ, что с великими державами ультиматумами не разговаривают (Чернов). Сейчас Вр. Правительством предпринят решительный шаг к миру в виде ответной ноты министра иностранных дел от 3-го сего июня (Церетели). Этот документ есть в сущности последний шаг к миру, доступный для революционного правительства [1]). Больше оно, в сущности, ничего сделать не может. Вообще дипломатические меры уже исчерпаны. Революционная власть уже все сделала для мира. Путем дипломатических переговоров вопросы мировой важности решаться не могут (Цере-

---

[1]) Эту скверную бумаженку я цитировал выше.

тели). Путь к ликвидации войны, хотя бы и связанный с некоторой отсрочкой, только один — международный. Он состоит в прояснении сознания западной демократии и в ее давлении, совместно с нами, на международный империализм. Проблема мира может быть разрешена только в таком международном масштабе совместными усилиями рабочих всех стран. Решающее значение в деле мира должна иметь стокгольмская конференция (Дан). А затем, нужна армия, готовая к наступлению. Нельзя вести полу-войну, надо вести войну, как ведут все. Подготовка наступления укрепляет революцию и создает надежную базу для постановки вопроса о всеобщем мире — на реальной почве (Церетели, Дан, Чернов, Керенский и пр., и пр., и пр.).

Комментировать тут нечего. Внутренняя борьба за мир совершенно ликвидирована и фактически, и формально. Вместе с тем полностью уничтожено и всякое возможное влияние русской революции на дело всеобщего мира. Правящий буржуазный блок, устами лидеров своей демократической части, об'явил для всеобщего употребления рабочих, крестьян и солдат: подождем, пока в дело вступится западная демократия...

Резолюция, принятая 12 июня, расписывается в этом черным по белому. Ее содержание таково. Конечно, С'езд «отвергает всякую политику, направленную на деле к осуществлению сепаратного мира или его преддверия — сепаратного перемирия». Затем, — «окончание войны возможно лишь при условии об'единенных усилий демократии всех стран». Поэтому, необходимо: а) обратиться с призывом к западной демократии, б) содействовать вос-

становлению Интернационала и в) обратить внимание демократической Европы на то обстоятельство, что отсутствие поддержки с ее стороны ставит нашу революцию в затруднительное положение... Не правда ли, только одни безответственные демагоги могут сказать, что эта программа «всей революционной демократии» будто бы недостаточно содержательна?

Ну, а о нашей собственной внешней политике — неужели так-таки и нет ни слова? Нет, как можно! Ведь резолюцию писали социалдемократы, сибирские циммервальдцы. Они, конечно, не могли упустить из виду внутренние классовые взаимоотношения собственной страны. И они писали: «признавая, что Вр. Рев. Правительство положило в основу своей международной политики программу мира, выдвинутую русской демократией, — С'езд считает необходимым, чтобы правительство в кратчайший срок приняло все зависящие от него меры для присоединения союзных держав к этой программе», а в частности, «для ускорения пересмотра договоров». Отлично, отлично! И достойный, внушительный тон, и волки сыты, и овцы целы, и решительно никого, решительно ни к чему не обязывает. Тем более, что поставленная задача заведомо невыполнима.

Но этим резолюция не ограничивалась. Она кроме того констатировала, что «необходимо обновление личного состава министерства иностранных дел и дипломатического корпуса!»... Обычное и неизбежное з а к л ю ч е н и е также отлично редактировано в этом документе: «до тех пор, пока усилия международной демократии не положат конца войне, русская революционная демократия обязана все-

мерно содействовать боевой мощи нашей армии и ее способности к оборонительным и наступательным действиям»...

Нового во всем этом нет ровно ничего. Все это сполна определилось гораздо раньше. Но все же могли быть вполне довольны наши шейдеманы и те, для служения коим они существуют.

Однако, подчеркиваю: о мире еще говорили — так, как обычно говорят о мире те, кто делает войну. Будет время, когда и разговоры о мире, и самое это слово станут неуместны и бестактны в устах представителей «всей демократии». Сейчас торжествующая «Речь» делала вид, что она недовольна резолюцией именно из-за этих слов о мире: ведь мир будет достигнут только полной победой!.. Но имейте же терпение, почтенная «Речь»!

* * *

В резолюции и в докладе о войне между прочим содержалось предложение послать в Европу советскую делегацию, которая занялась бы пропагандой, агитацией и подготовкой международной конференции. Речь о такой делегации заходила уже довольно давно. Я, в Исп. Комитете, настаивал на том, чтобы это представительство революции в Европе было как можно более внушительно. С этой точки зрения я настоятельно предлагал командировать в Европу самого Чхеидзе. Его имя, в глазах западных социалистов, несомненно, ассимилировалось со всей советской Россией; вместе с тем Чхеидзе, не будучи вдохновителем и существенным фактором политики, всегда представитель-

ствовал с большим достоинством... Однако, звездная палата величественно отмахнулась и процедила сквозь зубы:

— Об этом не может быть речи. Эти разговоры бесполезны. Положение слишком тревожно. Присутствие Чхеидзе необходимо здесь.

Они надеялись на Чхеидзе в тревожном положении. Жалок, кто верует!..

Затем, как никак, было желательно обеспечить состав делегации, максимально приличный по своему направлению. До сих пор было два несомненных кандидата звездной палаты, знакомые нам Эрлих и Гольденберг. Могло быть и хуже: это были правые, но корректные люди. Но — между прочим — в составе делегации из пяти человек это было уже два еврея. Остальных было необходимо найти русских по происхождению и по имени. Ибо ведь для всех было очевидно, как встретит делегацию вся буржуазия Европы, какое море грязи и клеветы выльется на Совет в связи с ее работой, как тщательно будет изыскивать поводы для травли вся европейская продажная печать и, в частности, шовинисты прекрасной Франции. Игра на «еврействе» Совета тут должна была сыграть не последнюю роль.

Вообще составить подходящую делегацию было не легко. Один был «не русский», другой не знал никаких языков, третий «не понимал линии Совета»; вместе с тем было желательно послать рабочего, а также представителя армии и т. д.... Ради наиболее левого состава, я настаивал на эсере Русанове, редакторе «Рус. Богатства», имевшем несомненные заслуги в деле литературной борьбы с империализмом еще при самодержавии. Русанов

имел при том связи среди французских социалистов. Сам Русанов охотно согласился. Но сначала воспротивился эсеровский Центр. Комитет: Русанов был довольно левый и недостаточно хорошо понимал линию Совета. Но все же, за отсутствием других, дело уладилось: Русанова утвердили. Двумя остальными делегатами оказались два однофамильца Смирновы, — один известный петербургский рабочий, другой — прапорщик, отысканный на С'езде.

Делегации придавали очень большое значение и стремились обставить ее как можно более торжественно. Она должна была быть утверждена самим С'ездом. Кроме того предполагалось познакомить с делегатами лично весь петербургский пролетариат и гарнизон: для этого их собирались «выставить» на эстраде на Марсовом Поле во время манифестации, назначенной на 18 июня — с тем, чтобы мимо них продефилировали воинские части и рабочие батальоны. Но из этого ничего не вышло.

Для напутствия делегации, в Таврическом дворце в один из вечеров состоялось «частное совещание», в котором участвовали работники международного отдела, а также и случайные люди — я в том числе . . .

В эти дни в газетах было опубликовано австрийское официальное сообщение — как бы в ответ со стороны враждебных держав все на тот же российский акт 27 марта. Это было «резюме» всех австро-германских заявлений о готовности заключить почетный мир. Начиная с известного декабрьского предложения, здесь были перечислены все ноты, официозные статьи, министерские заявления, свидетельствующие об отсутствии всяких агрессивных намерений у центральных держав. «Резюме» кон-

чалось утверждением, что они готовы заключить мир без аннексий и контрибуций, что их военные цели вполне совпадают с теми, которые выдвинуты русской революцией; Германия и Австрия готовы заключить не только сепаратный, но и всеобщий мир; если же доселе австро-германские предложения адресовались именно к России, а не ко всем союзникам, то это лишь потому, что одна Россия, с своей стороны, выразила желание мира.

Разумеется, насчет искренности этих заявлений двух мнений быть не могло. В мире вообще центральные державы, несомненно, нуждались. Но демократического мира, в частности, они желали так же мало, как и наши доблестные союзники. Однако, не в этом было дело. Важно было то, что центральные державы вновь выступали с мирным предложением. И даже, на словах, предлагали демократическую платформу. Во всяком случае перед нами снова был законный повод проявить мирную инициативу и втянуть всю Европу в атмосферу мирных переговоров. Революционная Россия, поставившая дело мира «во главу угла», была обязана подхватить австро-германское выступление и нанести мировой бойне сокрушительный удар...

Для этого был не только законный повод: для этого были решительно все основания. Ибо что же иное могли сделать центральные державы в ответ на наш собственный «отказ от аннексий» 27 марта? Допустим, наш Милюков был способен произносить только искреннейшие и благороднейшие слова, а вражеские правители заведомо лицемерные. Но ведь во всяком случае они сделали то самое, чего от них требовали и что сделала революционная Россия: они официально присоедини-

лись к русской формуле. Насколько кто говорил искренне — это могло только выясниться при мирных переговорах. И всякий честный гражданин, не окончательно посвятивший себя служению империализму, должен был понимать достаточно ясно, что ныне эти переговоры необходимо начать.

Я схватился за австро-германское выступление в своей газете. Я настаивал, между прочим, и на совещании с заграничными делегатами, на необходимости широко использовать его во время агитации в союзных странах. Но результаты моих стараний ясны сами собой. Вся буржуазная клика, поскольку нельзя было об'явить «резюме» центральных держав просто несуществующим, об'явила его провокационным и нестоящим внимания. А услужающие «социалисты» из советского большинства положили свои силы, конечно, не на то, чтобы использовать австро-германское выступление для дела мира, а на то, чтобы замазать и уничтожить его в глазах народных масс. Австрийское «резюме» не имело никаких последствий. Ибо отлично работали предатели революции и их несмышленные подголоски.

* * *

В конце прений о войне, в вечернем заседании 12-го, перед С'ездом появился знаменитейший Вандервельд. Блестящий оратор, опытнейший парламентский боец — он очень волновался и частями — между неожиданно-корявыми переводами нарочито выставленного златоуста Гольденберга, — прочитал по записочке всю свою речь. Бывший со-

циалист, очевидно, хорошо помнил, как ему не давали говорить на митингах даже в Париже, как резко протестовали против его шовинизма даже французские рабочие. Понятно, что не без душевного стеснения он предстал перед бандами русских нигилистов, пацифистов, циммервальдцев, на разгоне коих штыками уже давно, но безуспешно, настаивали его не столь осведомленные друзья. Заискивая и угрожая, в кабинетах и передних российской столицы, гражданин Вандервельд провел уже целый месяц. Он отлично знал, что все штыки находятся в распоряжении Совета. Но тем более этот Совет являлся перед ним в образе чудища обла, огромна, озорна, стозевна...

Однако, не в пример парижским митингам, здесь в кадетском корпусе, все обошлось как нельзя лучше. Вандервельд выдавал себя за старинного нашего свата и кума, говорил о полной солидарности во взглядах на войну, кощунственно призывая в свидетели Карла Либкнехта и Розу Люксембург, звал к совместной борьбе с деспотизмом кайзера. Речь была построена ловко и по-французски звучала очень красиво. Кадетский корпус был в восторге. Чхеидзе, креня влево, отвечал сдержанно, с достоинством и тактом. Но он не мог дать больше, чем имел... Бельгийского шейдемана «вся российская революционная демократия» провожала бурной овацией...

* * *

13-го июня С'езд покончил с обще-политическими вопросами и разбился на секции для подготовки национальной, аграрной, рабочей, продовольствен-

ной, военной и прочих резолюций. Секционные занятия продолжались около недели. Я совершенно не участвовал в этой «органической» работе и только заглядывал по временам в ту или другую секцию. Я не обнаруживал там ровно ничего интересного. Вся эта работа не имела ни практического, ни теоретического значения и могла занять только любителей словесности. И вся она тут же канула в Лету. Едва ли нашлась на нашей планете хоть одна душа, которая вспомнила бы хоть раз, по какому-нибудь поводу, обо всей этой работе. Бог с ней!..

Пленарные заседания также происходили в эти дни. Тут выслушивались многочисленные приветствия иноземных гостей и занимались разными «неорганическими» делами, о которых дальше будет особая речь.

Вечером 17-го, С'езду сделал доклад председатель верховной следственной комиссии над царскими сановниками, очень известный московский адвокат Муравьев. Незадолго перед тем он делал этот доклад в небольшом (новожизненском) кругу на квартире у Горького. Он собрал нас собственно для того, чтобы посоветоваться и поделиться своими мнениями. Положение его было, действительно, не из легких. Революция не стерла с лица земли старых царских палачей и душителей России. Все они были живы-здоровы — частью в заключении, частью на свободе, частью в эмиграции. Их нельзя было не судить. Но нельзя было судить их всех. Кого же судить было можно и должно? И по каким же таким законам?.. Судить за одни злоупотребления, за одни нарушения царских законов было бессмысленно. Судить за исполнение царских законов про-

тив народа — было очень трудно «юридически». Тут решительно не хватало ни строгих правил адвокатского искусства, ни преданий старины...

Верховная комиссия, насколько я помню, так и не вышла из этих затруднений до самых большевиков. В эти месяцы был проведен только один процесс Сухомлинова, с которым дело обстояло юридически довольно просто. Впрочем, нынешний министр юстиции, Переверзев, одна из подозрительнейших фигур в коалиционном правительстве, щедро ликвидировал эти процессы и распоряжался об освобождении из Петропавловки самых гнусных деятелей царских застенков, вроде жандарма Собещанского.

В своем докладе Муравьев, между прочим, опроверг не заслуживавшую опровержения убогую либеральную басню о германофильстве царского двора и об его стремлении к сепаратному миру. Ни в каких бумагах не было найдено ни намека на что либо подобное — к великому огорчению наших убогих сверх-патриотов.

* * *

После десяти дней работы С'езд, изнывая от жары и сутолоки, стал быстро распускаться и разлагаться. Больше, чем в секциях, делегаты пребывали в кулуарах и слонялись в городе. Делегатская масса была пассивна; она уже выдохлась и проявляла все меньше страсти, все больше равнодушия, утомления, тяги во свояси. Иные говорили так:

— У себя, в губернском городе, я одновременно являюсь председателем совета и исп. комитета, редактором местного советского официоза, местным

партийным лидером, главным организатором, единственным агитатором и самым вероятным кандидатом в городские головы. Фактически я являюсь начальником губернии и городской милиции, так как без исп. комитета, без его содействия и санкции, никакие официальные учреждения не способны к действию. Казалось бы, при таких условиях, кипя в котле, я имею все основания чувствовать себя перегруженным и утомленным работой у себя на месте. Но сейчас, в Петербурге, я вспоминаю о своей работе дома, как о днях мирного и спокойного жития. В сравнении с здешним водоворотом, беспокойством, дерганьем — моя провинциальная работа сущие пустяки. Мои провинциальные нервы положительно не выносят здешней температуры. Я чувствую постоянное головокружение и дурноту. И не дождусь возвращения к пенатам.

Это говорили иные совершенно пассивные, только слушающие делегаты. Они устали от толчеи и впечатлений. При таких условиях надо оценить всю ту огромную массу энергии, какую развивали лидеры, звездная палата, партийные центры, президиум С'езда и т. д. Мне лично, не обездоленному работой, приходилось изумляться, глядя на то, как Церетели или Дан, с кинематографической быстротой, мелькали и метались среди труднейших, ответственнейших дел, между высшими точками революции: с трибуны С'езда после доклада — в редакцию официоза, для писания передовицы; оттуда в партийный ц. к., оттуда на трибуну публичного собрания, оттуда за кулисы Таврического или Мариинского дворца, оттуда в президиум или в Исп. Комитет, и снова за кулисы для тайной дипломатии, и снова на трибуну для явной... Ничего, —

выдерживали, — как, бывало, выдерживали и мы в более трудные дни мартовского переворота.

В секциях было довольно мало людей и еще меньше оживления... В аграрной шло словопрение между партиями правящего блока, эсерами и меньшевиками. От первых, явным победителем, выступал Чернов; вторые, не имея ни устойчивых идей, ни интересных аграрных людей, выпустили тяжеловесного академика Маслова, с его все той же неуклюжей, надуманной, беспринципной, допотопной, утопичной программой «муниципализации» земли. Не только его программа, но и его критика была слаба и не имела ни малейшего успеха у эсеровского, крестьянско-солдатского большинства. Свои положения, уже хорошо нам известные, Чернов легко провел и в секции, и в пленуме С'езда... Но все это были декларации, журавль в небе — для Учр. Собрания.

А синица в руки решительно не давалась. Элементарная рациональная текущая политика решительнс не клеилась — стараниями благожелательных коллег по министерству. В газетах сообщалось, что Чернов внесет, вносит, уже внес в совет министров целый ряд отличнейших проектов. Но... земельные, напр., сделки попрежнему совершались, земельный фонд попрежнему расхищался — до Учр. Собрания; крестьянство попрежнему разочаровывалось в революции, озлоблялось и все легче шло на эксцессы. Синица в руки не давалась. «Самая большая партия», партия крестьян, партия Чернова была бессильна — от бессилия революции.

В экономической секции министериабельные ораторы гремели в трубы и литавры. Еще бы! Вр. Правительство только что опубликовало «финан-

совую реформу». Да еще какую! Вся буржуазно-желтая печать носилась с ней две недели, тыкала ею в глаза обывателю, заставляла его силой преклониться перед гражданскими чувствами нашей плутократии и перед ее великой жертвой на алтарь отечества. Постановлениями от 12 июня, во-первых, повышались ставки подоходного налога, во-вторых, вводился единовременный подоходный сбор и, в-третьих, вводилось обложение военных прибылей. Главным козырем для рекламы было то, что в тексте постановлений фигурировали слова «90% дохода».

Теперь капиталисты, имевшие какие-нибудь 10 тыс. годового дохода, должны были отдавать, как дань патриотизму, целых шестьсот рублей. Особенно же несчастны были те, кто получал 100 и больше тысяч руб. в год; они должны были нести на алтарь отечества по 20 тысяч и больше, оставляя себе на пропитание всего по 80 тыс... Что же касается цифры 90% дохода, то тут был просто маленький обман малых сих: таких плательщиков у нас заведомо не существовало. Все это было своевременно и легко разоблачено — хотя бы у нас, в «Новой Жизни». Но патриотический восторг и гимны буржуазии от этого, конечно, не прекратились.

Экономическая секция приготовила для С'езда резолюцию, где повторялись основы экономической программы Исп. Ком. 16-го мая. В ней, между прочим, иные места прямо заострялись против буржуазии, т. е., конечно, против «безответственных» элементов ее. «Попытки саботажа и локаута, — говорилось там, — должны встретить решительный отпор со стороны государства... Обнаружен-

ное недавним с'ездом промышленников организованное сопротивление государственному вмешательству должно быть сломлено»... Очень хорошо.

В ответ на это представители крупнейших банков, с таким успехом проводивших бойкот «займа свободы», обратились к министру финансов с письмом-протестом против прославленной «финансовой реформы»; протест был, конечно, подкреплен патриотическим обещанием, во-первых, устроить «отлив» русских капиталов за границу, а во-вторых, организовать «перемещение бумаг в несгораемые ящики и хранение их на дому».

А петербургские заводчики обнародовали документ о создании боевой, локаутной организации — с железной дисциплиной, с гарантиями против самочинных действий (в виде предварительной выдачи векселей) и с ярко выраженной готовностью к наступательным операциям против рабочих. Министр Чернов обрушился на эту милую организацию в своем «Деле Народа» и назвал фабрикантов заговорщиками — в pendant большевикам. Но больше никакого «отпора со стороны государства» замечено не было. Локаутная кампания все разрасталась.

Зато, повелением правительства от 22 июня, исполнилось реченное в первые дни революции. Было опубликовано постановление об учреждении при Вр. Правительстве Экономического Совета и его исполнительного органа «Главного Экономич. Комитета». Это была (в проекте) жалкая пародия на громановский замысел о «комитете организации народного хозяйства и труда»; вместе с тем это был прообраз большевистского «высшего совета народного хозяйства». Никаких сколько-нибудь опреде-

ленных функций, прав и обязанностей в постановлении правительства указано не было. Что же касается состава будущего органа, то рабочие и советские делегаты тонули в массе представителей всевозможных организаций крупной и мелкой буржуазии: с'езда промышленности и торговли, совета банков, с'езда биржевой торговли, союзов старых земств и старых городов и т. д.... Но, повторяю, это был еще только проект: до фактической работы нового органа пока было так же далеко, как от начала его фактической работы было далеко до каких бы то ни было ее результатов.

А пока что действовал министр труда Скобелев. По поручению своих коллег он только что принимал энергичные меры к ликвидации частичных забастовок на николаевской и финляндской жел. дорогах. В конце же июня он обратился с огромным воззванием к товарищам рабочим, где дал поистине американскую рекламу деятельности коалиционной власти. По слову православного катехизиса, невидимое он представил как бы в видимом, желаемое и ожидаемое — как бы в настоящем. Он, между прочим, уверял, что Главный Экономич. Комитет «начинает действовать и должен решительно вмешаться во все отрасли народного хозяйства». А вместе с тем утверждал, что «правительством революции изданы законы, проводящие суровое обложение крупных доходов и военных прибылей»...

Для чего же эта реклама буржуазии перед лицом товарищей (чуть не сказал: братцев) рабочих? Да все для того же — для «самоограничения»... «Вопреки всем возможностям, не считаясь с состоянием предприятия, в котором вы работаете, и во вред классовому движению пролетариата, вы иногда до-

биваетесь такого увеличения заработной платы, которое дезорганизует промышленность и истощает казну... Помните не только о своих правах, но и об обязанностях, не только о желаниях, но и о возможности их удовлетворения, не только о своем благе, но и о жертвах»...

Все это могло бы напомнить доброго старого Смайльса, если бы было не столь явно продиктовано акулами биржи и периферии Вр. Правительства. Вообще, тут комментировать нечего: как в головах рабочих отражались подобные нравоучения, на фоне очевидной действительности, — это ясно само собой. Вместе с тем понятно, что отличнейшая словесность рабочей секции с'езда, самая передовая во всей Европе, не имела при данных условиях ни малейшего значения. Да она собственно и не могла дать ничего нового, сравнительно с тем, что было говорено на мартовском С'езде.

В эти же дни, в двадцатых числах, в Петербурге состоялась первая всеросс. конференция профессиональных союзов. За С'ездом и другими собраниями ей было уделено очень мало внимания. Руководство на ней захватили правые меньшевики. Большевики и пролетарские низы были представлены довольно слабо. Судя по отчетам, конференция дала мало интересного — политически и органически — сравнительно со С'ездом советов. И словесность ее также прошла бесследно.

* * *

В национальной секции верховодил докладчик Либер. Там было неблагополучно. Представи-

тели национальностей, впадая в «крайности» и встречая отпор, разогрели атмосферу. Положение было трудное и нелепое... Получившие свободу мелкие российские национальности, существующие и выдуманные, действительно не знали никакого удержа и разрывали на части государственный организм. Я уже упоминал о том, какую скверную игру затеяли на Украине, от нечего делать, иные группы наших южных интеллигентов, у которых знания и понимания было еще меньше, чем совести. Что им удавалось играть на недовольстве народных масс, в этом не было ничего удивительного: гибельная политика коалиции дала себя знать массам на юге так же, как и на севере. И если темным слоям народа указывали выход в отделении от России, то они воспринимали его не менее легко, чем на севере — пропаганду Ленина. Но Ленин проповедывал социалистический переворот; а украинские интеллигенты были махровой буржуазией, затеявшей просто дрянную авантюру. Двух мнений о них не могло быть среди сознательных элементов всех партий. Но о тактике по отношению к украинским делам можно было спорить.

Вр. Правительство обратилось 16 июня с увещанием к украинскому народу. Оно убеждало повременить с окончательным закреплением украинского государства до Учр. Собрания, не раскалывать армии, не содействовать военному разгрому, который будет гибелью самого же украинского дела... Началась увещательно-протестующая газетная кампания по всей России. От нее стояли в стороне одни только большевики, храня принципы крайнего «демократизма». Это удавалось им без большого труда, так как они обходили вопрос по существу, а упи-

рали только на **формальную** сторону дела: имеет или не имеет права отделиться от России всякая нация, которая того захочет? Может ли Россия держать ее силой, или подобная политика свойственна только империалистам и буржуазным националистам?..

Однако, никакие увещания не помогли. Киевский губернский национальный с'езд постановил 19 июня, что все распоряжения Вр. Правительства должны предварительно проходить через центральную раду; только через нее допустимы сношения с Вр. Правительством каких бы то ни было украинских учреждений; все изданные ранее декреты и распоряжения по всем отраслям государственной жизни также должны быть пересмотрены центральной радой; все учреждения должны «украинизироваться»...

На следующий день Вр. Правительство постановило послать на Украину делегацию из некоторых своих членов и авторитетнейших людей, чтобы достигнуть приемлемого соглашения. Делегация, в лице Терещенки и Церетели, выехала уже после С'езда, в самом конце июня... Беспардонные украинские делегаты действовали и в национальной секции С'езда. Либер отбивался с трудом.

Так же безответственно, хотя и с бо́льшими основаниями, вели себя и другие национальности. Литовский сейм еще в начале июня постановил об'явить Литву «независимым, навсегда нейтрализованным государством»; гарантии нейтральности должны быть даны мирным конгрессом, на котором должны быть представители Литвы. Постановление вызвало раскол сейма. Но меньшинство вынесло резолюцию почти такого же содержания.

Борьба со всем этим была до крайности трудна — особенно для социалистических групп, настаивавших на праве самоопределения. Принцип был, конечно, правилен. Но когда его взялись осуществлять кто во что горазд, среди поля сражения, не разбирая правого и виноватого, при помощи одних примитивных деклараций, — то это было совсем не национальным самоопределением, а просто дезорганизацией и путаницей. Ведь было же смешно говорить тогда о действительной неотложности дела, о действительных потребностях в «независимости» от России мелких наций. Ведь абсурдна была самая мысль о возможности какого бы то ни было национального «гнета». Все это было буржуазно-интеллигентской игрой, заменяющей классовое самосознание и отчасти рассчитанной именно на это.

Совсем в особом положении находилась Финляндия. Ее требования независимости в ее внутренних делах были более, чем законны. И поскольку они встречали отпор со стороны российского буржуазного правительства, Финляндия была безупречно права в возникшем затяжном конфликте.

Финляндские настроения против России в это время основательно окрепли. Между тем, коалиционное правительство, в виду бойкота «займа свободы» собственными патриотическими толстосумами, сочло за благо прибегнуть к Финляндии за финансовой поддержкой — в размере 350 милл. руб. Разумеется, ни малейшего сочувствия среди финнов это не встретило. Тогда Шингарев и Терещенко поручили своему комиссару по советским делам снарядить в Финляндию демократическую экспедицию. Церетели немедленно исполнил поручение, и в Гельсингфорс, на предмет давления, выехал

премудрый Гегечкори с двумя достойными товарищами, Авксентьевым и Завадье. Они ходили по учреждениям и лицам, оказывая давление. Но ничего не выдавили. Финны денег не дали — под предлогом, что российское революционное правительство, обещавшее вести политику мира, бесплодно истратит эти деньги на войну ради интересов англо-французской биржи.

В «национальной» резолюции, принятой С'ездом 20 июня, все нации России призываются «направить усилия на обеспечение возможности скорейшего созыва Всеросс. Учр. Собрания», которое «гарантирует незыблемость прав всех национальностей». Вместе с тем резолюция заявляет, что Россия должна немедленно вступить на путь децентрализации управления и декларировать «признание за всеми народами права на самоопределение вплоть до отделения, осуществляемого путем соглашения во всенародном Учр. Собрании»... Большевики, в лице Колонтай, возражали, требуя предоставления права немедленного отделения.

В особой резолюции по украинским делам С'езд санкционирует создание временного украинского национального центра, с которым предлагает войти в контакт Вр. Правительству. В специальной же резолюции о Финляндии, выработанной по соглашению с представителями финской социал-демократии, С'езд признает за сеймом всю полноту власти во внутренних финских делах (кроме военного законодательства и управления). — Так говорил С'езд. Либеру и другим деятелям национальной секции пришлось идти далеко налево под давлением национальных групп.

Но это совсем не соответствовало видам плуто-

кратии, а стало быть и коалиционного кабинета. Воля же «всей демократии», при наличии звездной палаты в распоряжении Львова и Терещенки, разумеется, сущий пустяк...

В соответствии с волей С'езда финляндский сейм постановил 28 июня: сейм окончательно решает все государственные дела Финляндии — кроме военной политики, военного законодательства и военного управления. Сейм сам назначает время своего созыва и роспуска, и сам конструирует исполнительную власть... Даже редакция этого постановления текстуально совпадает с резолюцией С'езда.

Но вся буржуазия немедленно подняла оглушительный визг и вой. «Речь» в передовице от 30 июня развила такую наивную полицейскую идеологию, какой я не упомню при царизме. И она знала, что делает. Вр. Правительство немедленно приняло меры.

Но какие оно могло принять меры? Оно приказало тому же Церетели послать в Финляндию авторитетнейшего Чхеидзе, с тем же авторитетнейшим Авксентьевым и еще с несколькими агентами звездной палаты, — чтобы попытаться унять финнов.

Делегатов пригласили в «закрытое заседание» коалиционного правительства и внушали им надлежащие мысли. А затем делегаты выехали в Гельсингфорс — вместе с финляндским генерал-губернатором Стаховичем, ныне фактически упраздненным. Надо ли упоминать, что эта карательная экспедиция, предпринятая за выполнение резолюции Всеросс. Советского С'езда, была отправлена без малейшей санкции Исп. Комитета?... Но она опять-таки ничего не добилась и вернулась

ни с чем. Экспедиция осталась только памятником того, как высоко тогда держали знамя революции ее официальные лидеры.

* * *

Что касается Учр. Собрания, то С'езд назначил максимальным сроком его созыва 30-ое сентября. Надо сказать, что Вр. Правительство неделю назад назначило его на 14-ое сентября, но очевидно, что эта дата была писана вилами на воде...

Зато каждый день газеты приносили вести о состоявшихся выборах в новые городские думы, об открытии новых демократических муниципалитетов. И повсюду неизменно социалистические партии были в огромном большинстве. Конечно, это было большинство правящего советского блока. Но очень часто в абсолютном большинстве были эсеры. Особенно блестящей и шумной была их победа на городских выборах в Москве: они собрали там больше 60% голосов и ошеломили не только своих противников, но и самих себя. Они не знали, что делать со своей победой, не имея ни подготовленных муниципальных деятелей, ни, в частности, подходящего человека в городские головы. Пришлось избрать не подходящего, хотя и очень почтенного человека по своему революционному стажу, виднейшего участника московского восстания, Руднева-Бабкина, не в меру правого эсера, оставившего потом довольно печальную память в революции.

Тогда же (20-го июня) была сконструирована и новая временная петербургская «коммуна» — на место кое-как заплатанной старой думы, работавшей с марта месяца. Правильных общегородских

выборов еще не было: центральная дума была избрана районными. В ней 55 голосов принадлежало цензовым элементам (кадетам), 115 — советскому блоку, 35 — большевикам...

Реакционная политика коалиции давала себя знать и по отношению к муниципалитетам. Петербургскую думу, при всей ее умеренности, всячески ограничивали в ее финансовой и социальной политике. Ее тяжба с министерством внутренних дел была перманентной и нудной. В общей же политике она не играла никакой роли. Где уж там, когда советский блок в думе слился воедино с кадетами, чтобы выступать единым фронтом против большевиков! Здесь было хуже, чем в Совете...

* * *

Накануне закрытия С'езда, 23-го числа, Вр. Правительство опубликовало сообщение по внешней политике. Там говорилось, что в середине июля состоится в Париже союзная конференция по балканским делам. Вр. Правительство дает своим представителям директивы отстаивать принципы революции. В частности, это касается греческих дел: к способам смены королей, произведенной союзниками, Вр. Правительство относится отрицательно. Работы этой балканской конференции будут находиться в связи с работами предстоящей общей конференции союзников, к подготовке которой Вр. Правительство уже приступило.

Не правда ли, отличный повод для агентов звездной палаты снова безудержно расхвастаться победами демократии и энергичной работой коалиции для всего мира?.. Но кадетская «Речь» отлично

оценила этот дрянной, трусливый документ, опубликованный исключительно для внутреннего употребления. Весь смысл его, конечно, заключался в последней фразе о некой общей конференции союзников, якобы поставленной на очередь и якобы имеющей отношение к делу мира. Именно этот пункт должен был содействовать затемнению народных мозгов... Балканская же конференция, действительно, вскоре состоялась; никаких принципов революции там никто не защищал и никаких протестов против союзной политики никто не выражал. Сохрани, Боже!..

* * *

Помню, в конце С'езда, в одном из маленьких отдаленных классов кадетского корпуса, собралась — перед тем, как раз'ехаться по домам — крошечная фракция меньшевиков-интернационалистов... Было ясно, что особое существование предстоит вести и впредь: многие определенно чувствовали себя по разным сторонам баррикады с Даном и Церетели. Толковали о работе и об организационных связях в провинции. Если не формально избрали всероссийский центр, то установили его фактическое существование в Петербурге. И постановили издавать свою газету, пока еженедельную. Я предложил назвать газету «Искрой» — по имени старого пионера русского марксизма: сейчас для социалдемократии было необходимо снова найти последовательную классовую линию между оппортунизмом и анархо-бланкизмом. Предложение было принято. Но «Искра» появилась еще не так скоро.

* * *

Заключительным актом С'езда было создание нового полномочного советского органа — на место прежнего, петербургского Исп. Комитета, пополненного делегатами мартовского совещания. Этим делом занималась организационная секция. Но, как видим, это была не просто организация: по существу, это было творчество нового государственного права. Значение этого было ясно далеко не для всех работников самой организационной секции. Отчасти поэтому стряпня получилась довольно сомнительного качества.

Прежде всего возник вопрос, создавать ли единый советский орган с Крестьянским Центр. Исп. Комитетом или образовать отдельный, самостоятельный рабочий и солдатский центральный орган. «Крестьяне», указывая на свою особую линию в земельном вопросе, предпочитали независимое существование и только совместное решение важнейших политических вопросов. Но потом они согласились на слияние — при условии, что их Ц. И. К. войдет полностью в единый орган. Эсеры, конечно, поддержали «крестьян», — ибо они большинство населения. Но меньшевики, вместе с большевиками(!), требовали равного представительства — от рабочих, солдат и крестьян. Крылья правящего блока так и не сошлись в этом деле. И в конце концов было решено: двум центральным органам существовать отдельно и сходиться в особо важных случаях...

Это было очень удобно для меньшевистского большинства звездной палаты: в крайних случаях, если бы на эсеров нашла какая-нибудь блажь, решение можно было провести в рабочем и солдатском органе голосами меньшевиков и большевиков. Вообще же реакционнейший состав верхов-

ного советского учреждения, с подавляющим большинством чистейшей буржуазии, мог быть обеспечен в любой момент: для этого надо только назначить «самое авторитетное» совместное заседание... Впрочем, свободный советский «парламентаризм» уже отошел в область преданий; и такие ухищрения на практике совершенно не требовались советской диктаторской группе.

Образованный С'ездом орган был назван Всеросс. Центр. Исп. Ком. Советов Р. и С. Деп. (Ц. И. К.). Он должен был состоять из 300 членов. Половина их избирается С'ездом из кого угодно — из «достойнейших». Сто человек должны быть обязательно местными, провинциальными работниками: они должны были немедленно вернуться по домам или в особо указанные пункты, чтобы продолжать там работу в качестве уполномоченных центрального советского органа. Остальные 50 человек должны быть взяты из состава петербургского Исп. Комитета...

По этому последнему пункту возникли споры и упорная борьба. Исп. Комитет, как известно, был слишком лев по сравнению с Советом. Поэтому звездная палата требовала, чтобы сначала были произведены перевыборы Исп. Комитета, а потом уже были включены из него 50 человек в состав Ц. И. К. Между прочим, этой операцией из Ц. И. К. заведомо выбрасывалась целиком вся группа интернационалистов, «начинавших революцию»: Стеклов, Соколов, Гриневич, Капелинский, я и другие. Большевики пострадали бы от этого гораздо меньше.

Но, в конце концов, эта комбинация, над которой особенно хлопотал, помнится, Либер, — не прошла. Она наткнулась на солидный подводный камень.

В самом деле, естественно ли переизбирать Исп. Комитет, когда ежедневно происходят перевыборы самого Совета? Не естественно ли подождать конца перевыборов? В Совете же ежедневно вливающиеся новые делегаты не нынче-завтра создадут большевистское большинство. И тогда Совет немедленно вновь переизберет Исп. Комитет, об'явив неправомочными петербургских представителей в Ц. И. К.... Не лучше ли при таких условиях совсем не поднимать вопроса о перевыборах Исп. Комитета и не вводить этого обычая? Несмотря на забегания своих ретивых агентов, звездная палата решила, что так действительно лучше.

Ц. И. К., за вычетом сотни своих иногородних членов, должен был постоянно действовать в составе 200 человек. В особых же случаях должен был спешно созываться пленум. Это также представляло существенные удобства для правящего кружка: любое постановление можно было об'явить настолько важным или настолько спорным, что его можно было положить под сукно — «до пленума Ц. И. К.»...

Центральный советский орган был ответственным перед С'ездом. А С'езд было постановлено — подчеркиваю! — созывать раз в три месяца. Стало быть, следующий С'езд, по конституции, должен был состояться в двадцатых числах сентября.

Выборы были пропорциональные, — т. е. С'ездом были утверждены кандидаты фракций. Ц. И. К., по партийному составу, следовательно, вполне точно отражал С'езд... Мы знаем, как бессильна была левая оппозиция и в прежнем Исп. Комитете. Но все же понятно, насколько теперь ухудшился состав центрального советского органа. Раньше оппозиция

составляла процентов 35. Теперь из 300 человек — большевиков было 35, меньшевиков-интернационалистов, междурайонцев, об'единенных интернационалистов, вместе взятых, человек 15; еще несколько человек было левых эсеров, голосовавших ныне независимо от своей партии, т. е. против нее. Вся оппозиция не достигала теперь одной пятой, 20 %.

Что касается персонального состава, то как это ни странно, но я храню впечатление совершенно ничтожных перемен сравнительно с прежним. Бездействовало и помалкивало, правда, не мало новых людей, безыменных и бесследных. Но действовали все те же. Несущественная разница была та, что прежние почетные совещательные голоса были переведены в решающие. Но заметные персональные дополнения насчитывались единицами. Из большевиков Зиновьев и москвич Ногин; из междурайонцев Луначарский; из левых эсеров Камков, Алгасов и знаменитая Спиридонова; из меньшевиков Абрамович, Хинчук, Вайнштейн, Каменский; из официальных эсеров могу припомнить Гендельмана, Саакианца... Во всяком случае все сколько-нибудь видные фигуры революции теперь состояли членами высшего советского органа. Из именитых деятелей социализма я припоминаю сейчас только два исключения: Плеханова и Потресова. Habent sua fata...

Полномочия, функции и задачи нового органа не были сколько-нибудь определенно установлены писаной конституцией. Это было опять-таки удобно для ликвидаторов революции: ибо уже открывался поход против советов вообще. В те времена, впрочем, формулировкой прав и задач интересовались мало:

они разумелись, по традиции, сами собой. Но впоследствии пришлось не мало спорить, — исполнительный ли орган Ц. И. К. или законодательный? Решить этот вопрос во всеоружии старой государственной науки было явно немыслимо.

Но как бы то ни было, в качестве исполнительного органа Ц. И. Комитета, было немедленно избрано из его состава новое бюро. Теперь уже не было попыток искусственно сделать его однородным. Но в этом не было и надобности. Бюро было составлено из 50 человек, из которых оппозицию составляло не более десятка. Меньшевикам-интернационалистам предоставили в бюро всего одно место; с трудом удалось отвоевать второе; эти места заняли Мартов и я. Стеклов также с трудом отвоевал себе место от «об'единенных»...

Но, пожалуй, эти хлопоты и не стоили труда. Я помню первое заседание нового органа — еще до закрытия С'езда, в большой зале кадетского корпуса. Говорили о внутренней структуре и финансах, о президиуме, о командировках членов в провинцию и в армию. Было ясно при первом взгляде: это мертвое, никчемное учреждение. Не ему вести революцию, ни вперед, ни даже назад...

Заседания назначались, как и раньше, два или три раза в неделю — в старой небольшой зале Исп. Комитета в Таврическом дворце. То обстоятельство, что вместо 80—90 чел. теперь было 200, этому отнюдь не препятствовало: заседания были так же малолюдны, как и раньше. С трудом удавалось собрать человек 40—50. Как и раньше, заседания были не публичны, хотя казалось бы теперь мы находились в настоящем, большом революционном парламенте. Как и раньше, функции

бюро не отличались от функций пленума, и нельзя было понять, когда что заседает. Как и раньше, Ц. И. К. занимался главным образом пустяковой вермишелью, — пока звездная палата, в укромных уголках, вершила высокую политику.

В числе членов Ц. И. К. были, конечно, и Керенский и Ленин. Но они не были в нем ни разу. Вообще добрая половина была мертвыми душами, которые не появлялись в советском центре почти никогда. Ему не придавали значения, не принимали его всерьез; никто не видел и не чувствовал, что это учреждение может иметь отношение к судьбам революции.

Я, как следует, не знаю, были ли реорганизованы отделы и кто ныне поставлен во главе их. Знаю только, что в один прекрасный день во главе аграрного отдела оказался, вместо меня, некий эсер Саакианц, человек крайне словоохотливый и благодушный, но с невыясненным отношением к аграрному вопросу.

— Да, добрый человек товарищ Сакó, — сказал про него Зиновьев с глубоким вздохом облегчения, когда мы остались с ним вдвоем в автомобиле, довезя до места этого Саакианца, душившего нас всю дорогу нестерпимой обывательской болтовней.

Самым важным органом Ц. И. К. был, конечно, его президиум. Формально именно там решались все дела, фактически решенные в звездной палате. Во главе президиума был единодушно поставлен Чхеидзе. Затем, кроме прежних, в нем появились и новые члены. Но кто они были, не помню. Ибо их как бы не было.

Оставляя вместо себя блюсти революцию свой полномочный орган, — С'езд покончил со своей про-

граммой. Он тихонько закрылся 24-го июня, проработав три недели с лишним.

Я старался проследить существенные черты выполненной им «органической работы». Но этой работой не ограничивалась его миссия... С другой стороны, С'езд вообще не был центром революции в эти три недели. В этом мы не замедлим убедиться, обратившись опять-таки к другой стороне медали — к тому, что в это время происходило в стране, в столице, в народных массах.

---

5 КОАЛИЦИЯ ТРЕЩИТ ПОД НАПОРОМ

Эксцессы растут. — «Бунт в Севастополе». — Анархисты действуют. — Дача Дурново. — Дела 8-го июня. — С'езд советов или департамент полиции? — Большевики в столичном гарнизоне. — Они назначили манифестацию. — Паника звездной палаты. — Ночью на 10-е июня. — Утром 10-го. — Принципы и информация. — Елейный Луначарский и твердокаменный Дан. — Еще одно «историческое заседание». — Елейный Дан и твердокаменный Церетели. — «Заговор против революции». — Советский комиссар и буржуазная диктатура. — Не мерзавец, но версалец. — Попробуйте, разоружите! — «Мирная общесоветская манифестация». — Был ли заговор? Правда о деле 10 июня. — Стратегическая часть. — Политическая часть. — В Центр. Ком. большевиков. — Мое посещение Петропавловской крепости. — Впечатления. — Узники. — Увоз фрейлины Вырубовой. — Подготовка «общесоветской» манифестации 18 июня. — В Исп. Ком. — Мудрость Либера. — Я на даче Дурново. — «Может быть и без оружия, а может быть с оружием». — Нескромный Церетели и скромный Каменев. — Манифестация 18 июня. — «Неудача». — «Вся власть Советам!» — «Долой десять министров-капиталистов!» — Анархисты в Выборгской тюрьме. — Итоги манифестации. — Торжество скромного Каменева; Katzenjammer нескромного Церетели. — Наступление на фронте. — Поражение революции. — На улицах. — В кадетском корпусе. — Трубы и литавры звездной палаты. — Ход наступления и крах авантюры. — Что было делать интернационалистам? Реакция на наступление петербургских масс. — Разгром дачи Дурново. — Волнения. — С'езд и петербургский совет унимают рабочих. — Рабочие не унимаются. — Напор «низов» усиливается с каждым часом. — В Старом Петергофе. — Избиение советской делегации на фронте. —

Столица пропитана слухами о «выступлениях». — Слухи принимают реальные формы. — Что делать? Что делать? — Конференция «междурайонцев» 2-го июля. — Троцкий вместе с Лениным забыл об экономике социализма. — 2-го июля в Мариинском дворце. — Развал первой коалиции. — Уход кадетов. — Кризис назрел. — События давят снизу и сверху. — Что-то будет через несколько часов?

В стране продолжались эксцессы, беспорядки, анархия, захваты, насилия, самочинство, «республики», неповиновение и расформирования полков... В первых числах июня произошел «военный бунт» в Севастополе, в черноморском флоте. Матросы и офицеры не смогли найти за эти месяцы необходимого «кондоминиума». Несколько офицеров было арестовано. На митинге матросы постановили обыскать поголовно всех офицеров и отобрать у них оружие. Делегатское же собрание постановило сместить командующего флотом, либерального адмирала Колчака. Правительство, с своей стороны, вызвало Колчака в Петербург «для личных об'яснений», по случаю «допущенного им явного бунта». Матросы успокоились, и дело тем кончилось. А чтобы впредь не повторялось, Львов, Керенский и Церетели послали в Севастополь Бунакова-Фундаминского, который и урезонивал черноморский флот чуть ли не до самого октября.

В Петербурге, между прочим, развили усиленную «деятельность» анархисты. Они имели территориальную базу на Выборгской Стороне, на отдаленной и укромной даче бывшего царского министра Дурново. Дачу эту они захватили уже давно и держали крепко. Это анархистское гнездо пользовалось в столице завидной популярностью и репу-

тацией какого-то Брокена, Лысой-Горы, где собирались нечистые силы, справляли шабаш ведьмы, шли оргии, устраивались заговоры, вершились темные и — надо думать — кровавые дела. Конечно, никто не сомневался, что на таинственной даче Дурново имеются склады бомб, всякого оружия, взрывчатых веществ. И понятно, как косились официальное и советское начальство на это непристойное место в недрах самой столицы. Но — не хватало смелости, ждали особых поводов и пока терпели.

В последнее время анархисты стали находить не мало сторонников среди рабочих масс, густо населявших Выборгскую Сторону. И вместе с тем стали предпринимать наступательные операции. До сих пор они захватывали в Петербурге только жилые дома, откуда их вскоре выселяли. Но 5-го июня они решили сделать попытку установить анархистский строй в одном промышленном предприятии. Они выбрали для этого опыта великолепную типографию сумбурно-желтой газеты «Русская Воля», основанной еще царским министром внутренних дел Протопоповым.

В типографию явилось человек 70 вооруженных людей, занявших все входы и выходы и об'явивших местным рабочим, что типография ныне передается в их руки. Рабочие, однако, не проявили достаточного сочувствия этому начинанию. А тем временем на место анархистской революции явились власти, в лице членов Исп. Комитета. Они, жаргоном Церетели, об'явили захват «ударом по революции» и вообще сделали все, что им полагалось, но успеха не имели. Анархисты арестовали администрацию, выпустили рабочих и отказались очистить типо-

графию. Пока шли переговоры, они напечатали свою прокламацию, где заявляли, что они убивают двух зайцев: ликвидируют подлую газету и возвращают народу его достояние... Около здания собралась огромная возбужденная толпа. Были присланы две роты солдат, которые оцепили прилегавшую улицу и не знали, что делать дальше.

Тогда дело предстало перед самим С'ездом советов. Это было, казалось бы, обращение не совсем по адресу. Но во всяком случае это признавалось сильно действующим средством. С'езд, в пленарном заседании, немедленно принял внеочередную резолюцию — с осуждением захвата и с предложением немедленно очистить занятое помещение. С этой резолюцией, для личного воздействия, были командированы авторитетные вообще (sic!) члены президиума, Гоц и Анисимов, и большевик Каменев, авторитетный специально для анархистов. Вечером анархисты «сдались» — под двойным давлением: С'езда и пассивной осады. Несколько десятков человек разоружили, арестовали и отвезли... в кадетский корпус, где и оставили под стражей. «Речь» вскипятилась на другой день: почему арестованных отвезли «на С'езд»? Разве нет для того более подходящих учреждений? Разве нет законных властей, законного суда и расправы? — Но все это были праздные вопросы.

* * *

Как бы то ни было, после этого захвата законные власти решили приступить к действию. Седьмого июня министр юстиции распорядился о выселении анархистов-коммунистов из дачи Дурново.

Срок был дан — 24 часа. А с утра 8-го на Выборгской Стороне забастовало 28 заводов, и к даче Дурново потянулись толпы, манифестации, вооруженные отряды рабочих. Собрали огромный митинг, отправили делегатов в Исп. Комитет — с просьбой принять меры против выселения и закрепить дачу за «трудовым народом». В Исп. Комитете депутацию встретили совсем недружелюбно и выпроводили ни с чем. Тогда с дачи Дурново отправили туда вторую депутацию, уже с заявлением, что анархисты будут защищать дачу сами и в случае надобности окажут вооруженный отпор.

Угроза могла оказаться не пустой: Выборгская Сторона имела для того и подходящее настроение и достаточно оружия. Тогда Исп. Комитет передал дело опять-таки Всеросс. С'езду.

Тем временем на дачу Дурново приехал непосредственный исполнитель приговора, прокурор Бессарабов. Он без большого труда проник внутрь помещения, и перед ним предстала неожиданная картина. Ничего ни страшного, ни таинственного он не обнаружил; комнаты застал в полном порядке; ничего не было ни расхищено, ни поломано; и весь беспорядок выражался в том, что в наибольшую залу были снесены в максимальном количестве стулья и кресла, нарушая стильность министерской обстановки своим разнокалиберным видом: зала была предназначена для лекций и собраний.

По отношению к представителю власти толпа не проявила никакой агрессивности и преподнесла ему новый сюрприз. Дача Дурново, пустовавшая и заброшенная, была действительно занята анархистами-коммунистами; но ныне там помещался целый ряд всяких организаций, ничего общего с анархистами

не имеющих: профессиональный союз булочников, секция народных лекций, организация народной милиции и др.... Всем этим учреждениям деваться некуда. Огромный же сад при даче, всегда переполненный детьми, служит местом отдыха для всего прилегающего рабочего района. Всем этим, главным образом, и об'ясняется популярность дачи Дурново на Выборгской Стороне.

В результате, прокурору пришлось просто на просто ретироваться для доклада министру юстиции о «новых обстоятельствах дела». «Законной власти» пришлось пойти на попятный, раз'яснив, что постановление министра не касается ни сада, ни какихлибо организаций, кроме анархистов, среди которых «скрываются уголовные элементы». Проворчали также власти нечто о провокации безответственных людей, волнующих рабочих и стремящихся довести власть до кровопролития. Но в общем дело, пока что, было лучше всего замять. Разведенная волна забастовок и возбуждения в столице явно не стоила проблематичных «уголовных элементов».

Однако, дело уже началось слушанием в верховном органе всей демократии. Стараниями ретивых слуг «законной власти», Всеросс. С'езд снова прервал свои работы для полицейских функций. Президент Гегечкори уже предложил длинную резолюцию, которая об'являла захваты «направленными против дела русской революции», настаивала на «освобождении помещения дома Дурново», предлагала рабочим немедленно прекратить забастовки и вооруженные демонстрации. Затем, получив «новые» сведения от министра юстиции, многодумный президент раз'яснил, что требование о выселении

относится только к людям «под именем анархистов учинивших уголовные преступления».

Все это было очень странно. Луначарский естественно требовал назначения комиссии для расследования. К этому присоединился даже и сконфуженный министр Переверзев, появившийся на С'езде и подписавшийся под тем, что приговоры он выносил до следствия. Но для поддержки «литературного держиморды» выступил без лести преданный Гоц, который раз'яснил, что анархисты не только захватчики, но и вообще большие преступники: они требуют не только оставления их на даче, но и «освобождения всех арестованных социалистов и анархистов, арестованных во время революции», а также и конфискации ряда типографий для партийных организаций. Надо этих господ «осудить». И С'езд подавляющим большинством принял предложения Гегечкори.

Полицейский окрик был сделан. И, как всегда, это имело совсем не те результаты, на которые рассчитывали мудрые политики мелкобуржуазного большинства. Анархисты не подчинились воззванию и остались на даче: преследовать уголовных выселением было по меньшей мере абсурдно для ученых юристов коалиции. Но среди петербургского пролетариата полицейские подвиги «С'езда всей демократии», конечно, произвели удручающее впечатление. В глазах рабочих советское большинство, во главе с его лидерами, час от часа превращалось из идейных противников в классовых врагов. Ленин пожинал обильную жатву.

* * *

В распоряжении большевистского центрального комитета, вместе с большинством петербургского пролетариата, было и большинство рабочей секции в Совете. Кроме того, как мы знаем, наиболее близкие рабочим организации — фабрично-заводские комитеты — об'единялись ныне в едином центре, который был совершенно забыт официальным Советом и находился в полнейшей власти большевиков. Это были щупальцы на всю рабочую столицу...

Но час от часу такое же положение создавалось и в войсках петербургского гарнизона. Уже давно и успешно работала большевистская военная организация, во главе с Подвойским, Невским, Крыленко, под тщательным наблюдением самого Ленина. Этот орган растущей и крепнущей партии не ограничивался пропагандой и агитацией: она успела раскинуть недурную организационную сеть и в столице, и в провинции, и на фронте. Не мало прозелитов насчитывалось и среди офицеров-прапорщиков. А в Петербурге, кроме известного 1-го пулеметного полка, в распоряжении большевиков ныне уже находились и другие: Московский, Гренадерский, 1-й запасный, Павловский, команда Михайловской Артиллерийской Школы с ее орудиями и др. Организации большевиков были и в остальных полках. Если они в целом и были против Ленина, то не были ни за Чернова-Церетели, ни тем паче за Вр. Правительство. Они были в общем «за Совет». Это несомненно.

Во всяком случае, петербургский гарнизон уже не был боевым материалом. Это был не гарнизон, а полуразложившиеся воинские кадры. И поскольку они не были активно за большевиков, они — за исключением двух-трех полков — были равно-

душны, нейтральны и негодны для активных операций ни на внешнем, ни на внутреннем фронте.

Правящий советский блок уже выпустил из своих рук солдатские массы; большевики крепко вцепились в некоторые части и час от часу проникали в остальные. Слова о «всей демократии» получили более, чем относительное значение в устах Церетели: они становились смешны.

С'езд, заседавший в кадетском корпусе, по настроению, был **противоположен** рабоче-солдатской столице. Советские лидеры были слепы. Жалкое здание коалиции стояло на фундаменте более, чем сомнительном.

И вот наступили события... В вечернем заседании С'езда 9-го числа Чхеидзе взял слово для внеочередного заявления. Он заявляет, что на завтра, на субботу 10 июня, назначены в Петербурге большие демонстрации. Если С'ездом не будут приняты соответствующие меры, завтрашний день будет роковым. Возможно, что С'езду придется заседать всю ночь.

Редакция заявления Чхеидзе была не совсем ясна. Но она была крайне внушительна. И она вызвала величайшее волнение среди делегатов. Поднялся шум, возгласы, вопросы с мест. Все требовали сведений, что же именно случилось... Для успокоения и частного осведомления делегатов пришлось об'явить перерыв. Делегаты разошлись по фракциям и группам, и о положении в столице узнали вот что.

Волнения на Выборгской Стороне со вчерашнего дня все еще не улеглись. Да и вообще эти волнения начались не со вчерашнего дня, не с выселения анархистов. Они связаны с общим недо-

вольством и тяжелым положением рабочих. Уже несколько дней ходят по городу неясные слухи о каких-то «выступлениях» петербургских рабочих — против правительства и его сторонников. Сейчас волнение охватило всю рабочую столицу и, в частности, Васильевский Остров, где заседает С'езд. А на даче Дурново заседает некое специальное делегатское собрание рабочих, которое об'явило на завтра вооруженное выступление против Вр. Правительства. На это собрание прислал своих представителей и Кронштадт.

Но, разумеется, дело не ограничивалось под'емом рабочей стихии. Без вмешательства солидных рабочих центров положение в данный момент уже не могло бы так обостриться. И таким центром, конечно, явились большевики. В рабочих районах 9-го июня были развешаны прокламации, подписанные большевистским центр. комитетом и центральным бюро фабрично-заводских комитетов. Эти прокламации призывали петербургский пролетариат на мирную манифестацию против контр-революции 10-го июня в 2 часа дня...

Прокламация эта очень существенна. С ней не мешает познакомиться поближе. — Сначала она в боевых, сильных выражениях дает острую и справедливую характеристику общего положения дел и коалиционной власти. Затем, ссылаясь на право свободных граждан, она зовет протестовать против политики коалиции и в виде протеста выйти «на мирную демонстрацию — поведать о своих нуждах и желаниях». Эти нужды и желания, т. е. лозунги демонстрации, таковы: «Долой царскую Думу!» «Долой Госуд. Совет!» «Долой десять министров-капиталистов!» «Вся власть Всеросс. Со-

вету Раб., Солд. и Крест. Депутатов!» «Пересмотреть декларацию прав солдата!» «Отменить приказы против солдат и матросов!» «Долой анархию в промышленности и локаутчиков-капиталистов!» «Да здравствует контроль и организация промышленности!» «Пора кончить войну!» «Пусть Совет Депутатов об'явит справедливые условия мира!» «Ни сепаратного мира с Вильгельмом, ни тайных договоров с французскими и английскими капиталистами!» «Хлеба, мира, свободы!» — Я выписал лозунги полностью. От комментариев, пожалуй, воздержусь, но внимательно ознакомиться с этими лозунгами очень рекомендую.

Не знаю, была ли эта прокламация в руках возбужденных делегатов С'езда 9-го числа. Вообще я лично не присутствовал на месте событий ни в этот, ни на следующий день: я был в эти дни болен и восстанавливаю события только по рассказам и газетам... Но во всяком случае в кадетском корпусе было известно, что в манифестации решили принять участие 1-ый пулеметный, Измайловский и еще какие-то полки. Следовательно, манифестация на деле оказывалась вооруженной. Это, конечно, усиливало волнение.

Однако, надо сказать, что делегатская масса была взвинчена главным образом усилиями президиума, правящих сфер и их столичной периферии. Эти сферы действительно впали в панику и старались заразить ею С'езд, но не имели достаточно данных. Звездной палате доставляли сведения, что выступление предполагается заведомо вооруженное. Затем ходили неясные слухи о каких-то особых планах большевиков. Источником таких сведений был, говорят, главным образом Либер. Но ничего сколь-

ко-нибудь оформленного известно не было. А между тем мирная манифестация вовсе не представлялась делегатским массам таким страшным делом. Ведь вся Россия неустанно манифестировала в те времена. К уличным выступлениям привыкла вся провинция. Да и в Петербурге, в те же дни, манифестировали «сорокалетние», женщины, — вообще манифестировали все, кому было не лень! Никаких разрешений для этого не требовалось. Никого доселе Совет не стеснял (кроме особых случаев, в апреле), и любая группа выступала на улицу, «пользуясь правами свободных граждан».

Источник переполоха на верхах был не вполне ясен делегатской массе. И те, кто не был особенно пугливым, кто не имел особой веры в таинственное, — выражали скорее недовольство. Всероссийский С'езд собрался не для того, чтобы решать одно за другим местные дела. Если готовятся беспорядки, то дело местного, петербургского совета, а не С'езда — предотвратить их. В Петербурге происходит склока между правящим блоком и большевиками; но с какой стати С'езду разбирать ее?... Делегаты вспоминали фразу Луначарского о превращении С'езда в департамент полиции и ворчали на неосведомленность петербургского совета в положении дел. Они констатировали его оторванность от масс и неспособность справиться с ними.

И это, конечно, была святая, элементарнейшая правда. Между столичными массами и советскими сферами не было не только идейного контакта, не только не было органической связи, но не было и общения. Исп. Комитет, тихо умиравший в Таврическом дворце, был совершенно беспомощен. И он апеллировал к С'езду, как к последней инстанции.

«Законная власть», вечером 9-го, с своей стороны, принимала меры. Она «призвала население к спокойствию» и обещала «все попытки насилия пресекать всей силой государственной власти». Это, конечно, пустяки. Никакой силы там не было. Но патрули во всяком случае раз'езжали по городу и демонстрировали тревожное состояние столицы...

В Таврическом же дворце, тогда же вечером, состоялось заседание солдатской секции Совета. Там представители Исп. Комитета, Богданов и Войтинский, принимали меры пресечения. Демонстрация, по словам Богданова, подготовлялась большевиками втихомолку от Совета уже несколько дней, и день 10 июня может оказаться днем гибели революции. В принятой резолюции демонстрация, назначенная без ведома и согласия Совета, была признана «актом дезорганизаторским, способным вызвать гражданскую войну»; и было постановлено — без призыва Совета солдатам не принимать ни в каких манифестациях никакого участия.

По кулуарам Таврического дворца и кадетского корпуса ходили еще слухи. Будто бы прибывшие с фронта какие-то воинские части готовы, по приказу властей, поставить город на военное положение и обратить оружие против рабочих. Называли цифру в 20 тысяч казаков, вызванных Керенским. Будто бы в рабочих районах уже видели казачьи части, которые держались вызывающе. Эти слухи шли, надо думать, с Выборгской Стороны, от завтрашних манифестантов: они старались подкрепить необходимость решительного протеста против властей.

Но наряду с этим говорили, что волнение рабочих разрастается, вооруженные их отряды стягиваются

к кадетскому корпусу и чуть ли не угрожают С'езду. Поговаривали, что заседать ему на Вас. Острове ныне становится не безопасно. Предлагали немедленно перекочевать в Таврический дворец...

Вместе с тем, утверждали, что дело тут не только в большевиках. Одновременно с ними собираются «выступить» и монархические элементы. Вообще «слухи» шли с разных сторон. Делегаты, слоняясь по фракциям и кулуарам, волновались и томились в жаркой атмосфере.

Заседание С'езда возобновилось в кадетском корпусе в половине первого ночи. Чхеидзе предоставил слово и дело все тому же своему любезному сородичу Гегечкори. Этот достопочтенный джентльмен, собравшись с духом, развил большой пафос. Он ссылается на резолюцию С'езда, принятую только вчера, по поводу дачи Дурново, о воспрещении вооруженных демонстраций. И демонстрирует С'езду цитированную прокламацию большевиков. Он призывает дать решительный отпор тем, кто готовит удар и посягает на свободу. «Прочь грязные руки!» — кончает он.

Большевистская фракция проявляет некоторую растерянность. Она, видимо, недостаточно в курсе дел столицы и своих лидеров. А лидеры отсутствуют. Нет ни Ленина, ни Зиновьева, ни Каменева, которые заняты важными делами в других местах. Нет и Троцкого. Из большевистской фракции на эстраде президиума сидит Крыленко; а по поручению этой фракции действует междурайонец Луначарский.

Председатель вносит предложение: создать бюро для решительного отпора тем, кто об'являет борьбу С'езду. В это бюро входит и Луначарский. Однако,

он поясняет, что немедленно выйдет из бюро, если оно вступит на путь прямой борьбы. И добавляет, что большевики уполномочили его подчеркнуть мирный характер предполагаемой демонстрации. Крыленко, с своей стороны, выражает протест против образа действий С'езда: зачем он выносит постановления, не вступив в переговоры с большевиками? Большевики охотно пошли бы навстречу С'езду.

Налицо Керенский. Он заявляет внушительно и определенно:

— Слухи о войсках, стянутых в Петербург с фронта, для борьбы с рабочими, совершенно ложны. Ни одного солдата, не принадлежащего к столичному гарнизону, в Петербурге нет. Вообще — войска, по моему приказанию, движутся и будут двигаться только из тыла к фронту, для борьбы с внешними врагами революции. Но обратно, с фронта в тыл, для борьбы с рабочими — никогда.

Очень хорошо. Так и запомним... Выступает и Мартов, высказываясь против дезорганизаторских действий большевиков, но призывая С'езд к спокойствию и хладнокровию.

А затем, конечно, принимается новое воззвание к солдатам и рабочим. «В этот тревожный момент — говорилось там, — вас зовут на улицу для пред'явления требования низвержения Вр. Правительства, поддержку которого Всеросс. С'езд только что признал необходимой. Те, кто зовут вас, не могут не знать, что из вашей мирной демонстрации могут возникнуть кровавые беспорядки... Вашим выступлением хотят воспользоваться контр-революционеры. Они ждут минуты, когда междоусобица в рядах революционной демократии даст им возможность раздавить революцию». Затем следовал при-

зыв никому не ходить на завтрашнюю манифестацию и запрещение уличных собраний и шествий в течение следующих трех дней.

Этим труды С'езда еще не кончились в беспокойную ночь на 10 июня. Делегаты были разбиты по районам Петербурга и разосланы по заводам, полкам и ротам для непосредственного воздействия и предотвращения манифестации. Делегаты работали всю ночь. А утром, в 8 часов, было условлено собраться в Таврическом дворце для учета итогов. Там же в 2 часа дня было назначено собрание всех батальонных комитетов столичного гарнизона — по вопросу о вооруженных выступлениях войск.

Но спрашивается, что же делали в это время главные герои дня и виновники суматохи?.. Призывать на мирную демонстрацию с любыми лозунгами было их неот'емлемым правом. Но теперь уже несколько часов, как вполне определилась воля С'езда, определилось резко отрицательное отношение к их затее со стороны советского большинства. Как же большевики реагировали на это? Что предпринимали они?... Конечно, деятельность большевистских центров была покрыта глубокой тайной. Что думали и делали Ленин, Зиновьев, Каменев, Сталин, скрывшиеся куда-то со С'езда, — об этом никто ничего не знал. А, кстати сказать, — где Троцкий, который двое суток назад взывал к двенадцати Пешехоновым, а теперь также исчез со С'езда, не желая высказаться о манифестации?.. Все они, конечно, не спали и не гуляли в эту ночь. Но не докладывал о своих кознях Цицерону Катилина.

* * *

О некоторых результатах ночной работы большевистских лидеров делегаты С'езда узнали рано утром. Крыленко, очевидно, знал, что говорил ночью на С'езде: большевики действительно пошли навстречу правящему советскому большинству. Их центральный комитет ночью отменил манифестацию. В «Правде», на первой странице, на месте известной нам прокламации, корректурой коей потрясал вчера Гегечкори, — красовался аршинный плакат, извещавший о новом решении большевиков. Лойяльный до галантности документ гласил так. «В виду того, что С'езд советов постановил, признавши обстоятельства совершенно исключительными, запретить всякие, даже мирные демонстрации на три дня, Ц. К. постановляет отменить назначенную им демонстрацию и призывает всех членов партии и сочувствующих ей провести это постановление в жизнь»... В других местах «Правды», посвященных ранее демонстрации, теперь зияли белые плешины. Это большевистские лидеры сделали ночью.

В девятом часу утра, 10-го июня, в Таврический дворец стали стекаться делегаты, пребывавшие ночью среди петербургских масс. Сначала образовались митингующие группы по кулуарам; потом открылось совещание в белом зале. Его первая, «принципиальная» часть была непродолжительна, но крайне характерна. Луначарский сообщает об отмене манифестации и рассказывает историю всего дела. Инициатором выступления была, собственно, дача Дурново, где заседает самочинный комитет из представителей 90 заводов. Большевики же были против демонстрации. Во всяком случае сегодня никаких выступлений не будет. Инцидент ликвидирован. И теперь следует прекратить межпартий-

ную склоку, забыв о прошлых ошибках ради предстоящих задач.

Информация Луначарского была явно недостоверна. Большевистский центр с полной бесцеремонностью ввел его в заблуждение. Но выводы Луначарского были не только прямодушными, человечески-разумными, но и политически единственно правильными. Однако, на него немедленно обрушился Дан — не за информацию, а именно за выводы.

— После всего происшедшего елейность неуместна, — заявил маститый член звездной палаты, — необходимо раз навсегда покончить с тем положением, при котором возможны такие неожиданные осложнения. Необходимы реальные гарантии. Необходимо детально расследовать, выяснить виновников...

Речь Дана покрывается аплодисментами. Тогда Луначарский выступает снова и пытается раз'яснить, что дело не в виновниках и не в большевиках, поиски которых только обострят положение. Глубочайшее брожение рабочих вызвано общими причинами, на которые и следует обратить внимание... Луначарского дополняет большевик Ногин, который требует, чтобы расследовали деятельность не большевиков, а Вр. Правительства, союзных агентов и отечественных локаутчиков.

В итоге перед нами, как «в капле воды» — классические взаимоотношения между властью и оппозицией, или — между беспочвенной диктатурой и поборниками демократизма. Положение остро, под ногами трясина, надо устранять общие факторы и принимать радикальные меры; но для слепых правителей не существует никаких сомнений в правильности их путей к истине и никаких препятствий кроме злоумышленников.

Налицо сейчас был и Троцкий. Его усиленно звали на трибуну, но он отмалчивался и не пошел. Почему?..

Не менее любопытна вторая, информационная часть этого совещания. Делегаты, которые провели ночь среди петербургских масс, докладывали о положении дел в полках и на заводах. И эти доклады как будто бы не могли оставить сомнений в том, что поисками злоумышленников, расправой над ними — дела коалиции исправить нельзя. На трибуне прошло десятка полтора докладчиков — сторонников коалиции и правящего советского блока. И все они говорили приблизительно одно и то же.

Делегатов повсюду встречали крайне недружелюбно и пропускали после долгих пререканий. На Выборгской Стороне — сплошь большевики и анархисты. Ни С'езд, ни петербургский совет не пользуются ни малейшим авторитетом. О них говорят так же, как и о Вр. Правительстве: меньшевистско-эсеровское большинство продалось буржуям и империалистам; Вр. Правительство — контр-революционная шайка. В частности, на даче Дурново заявили, что постановление С'езда не имеет ни малейшего значения, и выступление произойдет. На Вас. Острове — то же самое. «Выступление» среди рабочих крайне популярно. С ним связываются самые реальные надежды на изменение кон'юнктуры... В полках — пулеметном, Московском, 180-м об'являли С'езд сборищем помещиков и капиталистов или подкупленных ими людей; ликвидация коалиционного правительства считается неотложной. Верят только большевикам. Будет или не будет выступление — зависит только от большевистского

ц. к. Министров-социалистов третируют, как изменников и подкупленных за деньги людей.

В опаснейший 1-й пулеметный полк была двинута тяжелая артиллерия, в лице Чхеидзе и Авксентьева. Их согласились выслушать и постановили: «в согласии с ц. к. (большевиков) и военной организацией (их же) полк откладывает свое выступление и эти три дня использует для организации выступления всего пролетариата в пользу мира и хлеба». Очень содержательно...

В московском районе делегатам упорно не давали говорить. Сколько-нибудь авторитетными оказывались только ссылки на «Правду»... Лучше других положение на Путиловском заводе, крупнейшей рабочей цитадели столицы. Там большинство заводского комитета принадлежит не большевикам. Тем не менее рабочие заявили, что постановления С'езда для них не обязательны, что они будут подчиняться только своим заводским организациям и сочувствуют Ленину...

Сведений противоположного характера почти не было в докладах. Одно-два исключения подтверждали правило.

Впечатления делегатов во всяком случае сходились в том, что суть дела не в манифестации и не в ее ликвидации. Корни движения слишком глубоки, и разлив его слишком широк. Сдержать напор народных «низов», подлинных рабочих масс — нет возможности. Если сегодня выступление предотвращено, то оно неизбежно завтра. Никакого контакта, примирения, соглашения между рабочей столицей и правящим советским блоком не может быть. База коалиции трещит и расползается по всем швам.

* * *

Однако, как бы то ни было, 10-е июня прошло безо всяких выступлений. В течение дня Исп. Комитет и звездная палата получили целый ряд успокоительных сведений. На многих фабриках и в воинских частях были приняты резолюции, что назначенного выступления быть не должно. Было даже вырвано несколько выражений лойяльности по отношению к Всеросс. С'езду Советов. Затем состоялось совещание полковых и батальонных командиров, где была принята резолюция с осуждением самочинных манифестаций и с выражением доверия С'езду...

У звездной палаты поднялся дух. Исключения, видимо, показались ей правилом, воинские организации — солдатскими массами, а доверие С'езду министры-социалисты, видимо, приняли на свой счет, то-есть на счет всей коалиции. Все это создало достаточное настроение для принятия «решительных мер».

Но что же это за меры? Не спохватились ли советские лидеры? Не задумали ли они воспользоваться передышкой, чтобы изменить политику коалиции, чтобы перейти к решительному выполнению программы мира, хлеба и земли? А, может быть, они даже готовы, после печального опыта, пойти навстречу требованию создания действительно революционной демократической власти?

Увы! только одного рода меры были доступны мудрости звездной палаты. Преодолев панику, собравшись с духом, меньшевистско-эсеровские лидеры бросились в наступление против большевиков... В воскресенье 11-го июня, часов в пять дня, в одном из классов кадетского корпуса, было назначено закрытое совместное заседание высших со-

ветских коллегий: Исп. Комитета, президиума С'езда и бюро каждой его фракции. Всего было налицо около 100 человек и в том числе большинство партийно-советских лидеров. Налицо и Троцкий; не помню Зиновьева, но Ленина, конечно, нет... Я к этому времени уже выздоровел и присутствовал на этом знаменательном заседании.

Его цель была, помнится, известна только одним приближенным звездной палаты. Но атмосфера была очень напряженная и была насыщена страстями. Здесь было уже не только возбуждение, но и жестокая ненависть. И было ясно, что правящая кучка готовит какой-то сюрприз...

За председательский стол, учительскую кафедру, сел Чхеидзе, который об'явил, что обсуждаться будет вопрос о несостоявшейся вчерашней манифестации. Около председателя, создавая вид беспорядка, сидели на каких-то примитивных скамьях, а также и стояли приближенные и просто «инициативные» люди. Остальные, расположившись на ученических партах, в сосредоточенном молчании, ожидали, что будет.

Оказалось, что существовала некая специальная комиссия для подготовки этого собрания. И от ее имени с докладом выступил тот же Дан.

— То, что делали большевики, — говорит он, — было политической авантюрой. В будущем манифестации отдельных партий должны допускаться только с ведома Советов и их согласия. Воинские части, как таковые, то-есть с присвоенным им оружием, могут участвовать в манифестациях, устраиваемых самими советами. Партии, которые не подчинятся этим требованиям, ставят себя вне рядов демократии и должны исключаться из советов.

Смысл всего этого был элементарен. Большевики были в советах в меньшинстве; вводя разрешительную систему на манифестации и упраздняя «право свободного гражданина», «особая комиссия» отдавала большевиков во власть меньшевиков и эсеров и фактически лишала их права манифестаций. Делалось это для того, чтобы злоумышленные большевики не использовали права манифестаций для восстаний, подобных апрельскому, или для всяких иных замыслов против правящего блока. Это был, собственно, исключительный закон, исключительный декрет против большевиков...

Больше ничего не могла выдумать мудрость звездной палаты для спасения революции. Но Дан забыл крылатое слово Камилла Демулена: декретом нельзя помешать взять Бастилию... Если дело шло о восстании, то — Боже! как смешно было ополчаться против него с декретом, хотя бы и исключительным.

Но Дан забыл и о другом, не менее существенном. Когда в зале начались иронические возгласы, протесты, сарказмы, смех, — то один из первых ораторов, правейший меньшевик, рабочий Булкин, напомнил ему об элементарном факте. Он сказал, что времена меняются, и сегодняшнее большинство может оказаться в меньшинстве завтра. Может оказаться, что оно готовит репрессии против самого себя и вводит в практику революции такие методы политической борьбы, от которых придется плохо их инициаторам.

Это была, конечно, святая истина, но ещё не вся: превращение большинства в меньшинство и обратно — было не только возможно; оно было неизбежно в самом близком будущем. А для

тех, кто знал большевиков так хорошо, как знал их Дан и его товарищи, казалось бы, должно было быть ясно, что в случае действительной победы Ленина правящему блоку не поздоровится... Но меньшевистско-эсеровским лидерам ничто не было ясно. Они были слепы, как совы среди белого дня.

Собрание пожелало выслушать об'яснения самих большевиков. От их имени отвечает на запрос Каменев. Он пытается быть спокойным, солидным и ироническим — под взорами большинства, преисполненными ненависти и презрения. Он даже пытается перейти в наступление. В самом деле, — из-за чего весь шум? Чего, собственно, желает большинство, подпирающее коалицию?.. Была назначена мирная манифестация, что вытекает из права революции и никем не было ранее воспрещено. Затем манифестация была отменена, лишь только С'езд пожелал этого. Где тут хотя бы тень незаконности, во-первых, и нелойяльности, во-вторых? Аргументация Каменева, кажется, вполне ясна и убедительна. Повидимому, многим и многим она представляется неоспоримой. Но почему-то ирония все-таки плохо удается Каменеву... Казалось бы, он «умеет быть в меньшинстве» и привык к ненавидящим взорам. Но он до странности взволнован и бледен. И его состояние передается всей кучке большевиков, разместившихся на задних партах, слева, недалеко от двери.

Каменеву задают целый ряд вопросов. Вопрошающих ораторов записана уже целая вереница. Но вскакивает Церетели и требует прекращения вопросов: ибо дело не в деталях, и вся проблема требует совсем иной постановки. Церетели, конечно, получает слово вне очереди — по существу. Но он

бледен не меньше Каменева и, волнуясь как никогда, он усиленно переминается с ноги на ногу. Повидимому, он собирается сказать что-то из ряда вон выходящее.

И действительно, выходит из ряда вон уже то, что Церетели публично выступает против Дана: очевидно, в «особой комиссии» Церетели оказался в меньшинстве и ныне апеллирует к собранию. Резолюция Дана никуда не годится. Церетели пренебрежительно машет на нее рукой. Теперь нужно другое, также из ряда вон выходящее.

— То, что произошло, — кричит Церетели, с надувшейся жилой поперек лба, — является не чем иным, как заговором против революции, заговором для низвержения правительства и захвата власти большевиками, которые знают, что иным путем эта власть никогда им не достанется. Заговор был обезврежен в тот момент, когда мы его раскрыли. Но завтра он может повториться. Говорят, что контр-революция подняла голову. Это неверно. Контр-революция не подняла голову, а поникла головой. Контр-революция может к нам проникнуть только через одну дверь: через большевиков. То, что делают теперь большевики, это уже не идейная пропаганда, это заговор. Оружие критики сменяется критикой оружия. Пусть же извинят нас большевики, теперь мы перейдем к другим мерам борьбы. У тех революционеров, которые не умеют достойно держать в своих руках оружие, надо это оружие отнять. Большевиков надо обезоружить. Нельзя оставить в их руках те слишком большие технические средства, какие они до сих пор имели. Заговоров мы не допустим...

Церетели сел. В собрании поднялась буря и пол-

ное смятение умов. Одни были подавлены исключительным содержанием слов Церетели, другие были подавлены их неясностью и странностью. Оппозиция негодовала и требовала раз'яснений. Каменев кричит:

— Господин министр, если вы не бросаете слов на ветер, не ограничивайтесь речью, арестуйте меня и судите за заговор против революции...

Церетели молчит. С шумом поднимается вся кучка большевиков и с протестами выходит из зала...

Но посчитаться с Церетели было кому и помимо большевиков. В зале остался междурайонец Троцкий. Немедленно требует слова Мартов. Но и среди большинства настроение далеко не в пользу господина министра. Какой-то офицер, совершенно потрясенный происходящим, испускает истерические крики. Какой-то трудовик, аттестуя себя самым правым в собрании, отмежевывается от Церетели и его методов... Вообще — началась экзекуция на два фронта: и по адресу большевиков и по адресу Церетели.

В самом деле, прежде всего — какими особыми сведениями располагает господин министр? Если есть определенные сведения о покушении на государственный переворот, — то сообщите их. Если нет, не делайте ваших выводов... Затем, что разумеете вы под заговором? Есть ли это злоумышление кучки людей против Вр. Правительства и существующего строя? В вашей куриной слепоте вы можете думать как угодно. Но для зрячего ясно, что перед нами огромное народное движение, что речь может идти только о восстании пролетарских и солдатских масс столицы, и тут никакими ре-

прессиями против **кучки**, даже против **партии** помочь нельзя. Тут необходима перемена режима, ликвидация свобод, военное положение, ежовые рукавицы для рабочих; тут логика одна: **буржуазная диктатура** и конец революции.

Церетели предлагает «**разоружить большевиков**». Что, собственно, это значит? Отнять какой-нибудь особый арсенал, имеющийся у большевистского центр. комитета? — Пустяки: ведь никаких особых складов оружия у большевиков нет. Ведь все оружие — у солдат и рабочих, которые в огромной массе идут за большевиками. Разоружение большевиков может означать только разоружение пролетариата. Мало того — это разоружение войск. Это не только буржуазная диктатура, но и наивная бессмыслица. Или, может быть, поднять в рабочей среде брата на брата, разделить пролетариат на белую и черную кость, раздавать оружие в зависимости от партийного ярлыка, — может быть, создать особые кадры преторианцев звездной палаты, Церетели и Терещенки?..

Ну, хорошо. Допустим, что эта программа превосходна, преисполнена подлинным демократизмом и истинной государственной мудростью. Но спрашивается, как осуществить ее? Не собственноручно ли отберет оружие Церетели у пролетарско-солдатских масс, чтобы сложить его к ногам Терещенки? «Мы не допустим, мы перейдем к другим мерам»... Но каким способом?

Конечно, в Петербурге очень много рабочих и еще больше солдат, которые не станут участвовать в большевистском заговоре и не пойдут свергать коалицию с оружием в руках. Но где хоть тень оснований думать, что они пойдут с этим оружием

на своих товарищей, на солдат и рабочих соседних заводов и полков? Напротив — есть все основания думать, что для великолепной программы господина министра наличные не-большевистские полки решительно не годятся.

А еще более очевидно, что **большевистские** рабочие и части, по доброй воле, **не отдадут** винтовки, которую дала им революция. Разоружить их можно только **силой**, которой нет. Слова великолепного Церетели о «новых мерах борьбы» были тем же жалким лепетом Львова о «решительных мерах» и о «всей силе государственной власти». Их не было. Программа господина министра была утопией.

Но, допустим, что силы против внутреннего врага у правящего блока нашлись бы. Допустим, полки выступили бы, под лозунгами «разоружение рабочих!» Что означало бы это? Это означало бы катастрофу свирепой гражданской войны, в которой от Петербурга остались бы одни развалины, а от коалиции — во всяком случае гораздо меньше. Это была программа Церетели...

Этот господин знал только одно: что коалиция священна и ее политика — политика Шингарева, Львова, Терещенки — должна быть незыблемой. Больше он не знал и не видел ничего, как ребенок, готовый разбить себе орех бомбой с динамитом, как медведь, избавляющий друга-пустынника от мухи ударом по лбу увесистым булыжником... Мартов, тут же в прениях, напомнил изречение Кавура, что при помощи осадного положения может управлять каждый осел. Так впоследствии управляли большевики. Увы! лидеру звездной палаты, ныне далеко опередившему своих собственных коллег, было бы

это не под силу даже при помощи осадного положения.

Я не помню всего хода этого «исторического» заседания. Но во всяком случае не надо думать, что министр почт и телеграфа остался без поддержки. Все в той же напряженной, насыщенной страстями атмосфере выступил ему на помощь присяжный большевикоед, неистовый и надрывающийся Либер. Он был, несомненно, главным источником информации насчет заговора. Откуда он черпал свои сведения и что именно он слышал, мне неизвестно. Но во всяком случае здесь, на собрании, он не сообщил большего, чем уже сказал Церетели. Его поддержка состояла не в новых сведениях, а в углублении государственной мудрости своего лидера. Подняв свои два пальца, он обрушился на большевиков с яростью голодного зверя, с упоением и сладострастием. Подскакивая на цыпочки, держась на высоких нотах и действуя на нервы аудитории, он требовал в исступлении самых «решительных мер», требовал обуздания, искоренения, наказания непокорных рабочих всеми средствами государства...

— Мерзавец! — раздалось вдруг со скамьи, где сидел Мартов.

Зал ахнул и потом застыл, вместе с президентом и самим оратором. Атмосфера была до крайности раскалена; все вместе взятое было угнетающе и довело участников до последних градусов нервного напряжения. Но все же такого рода «обмен мнений» у нас в революции доселе не практиковался... Потом оказалось, что Мартов бросил Либеру не «мерзавец», а «версалец». Это было не бранное слово, а характеристика. И эта характеристика была совершенно точной.

Прения продолжались много часов, до полного изнеможения. Но результаты не выяснились. Заседание было прервано, и вновь открылось только ночью. Принятие резолюции Дана было обеспечено. Но Церетели не хотел с этим примириться и настаивал на принятии иных, не словесных мер. Он боролся со свойственной ему энергией, можно сказать, напропалую. Бесцеремонно злоупотребляя своим министерским положением, он брал слово вне очереди каждую минуту. Я, наконец, не выдержал и крикнул ему какую-то фразу вроде той, какую бросил Луве Дантону, когда тот начал речь без разрешения председателя: «ты еще не король, Дантон!»... Церетели молчал несколько секунд, переминаясь с ноги на ногу и не зная, как выразить свое презрение, а затем бросил, махнув рукой: «я говорю не для Сухановых!»...

Но он все же не убедил и остальных... Точно я не помню, чем кончилось это заседание уже при утренней заре: была ли тут принята резолюция или избрана какая-нибудь редакционная комиссия. Но факт тот, что в общем собрание согласилось с большинством звездной палаты, а не с ее зарвавшимся лидером.

* * *

На следующий день, 12-го вечером, после торжественных проводов Вандервельда, вопрос о несостоявшемся выступлении предстал перед пленумом С'езда. Церетели не выступал совсем. Но в качестве докладчика на трибуне появился Либер. И понятно, что весь доклад его был ламентацией насчет мягкости и добросердечия лидеров правя-

щего блока, которые согласились ограничиться только осуждением попытки 10-го июня и воспрещением манифестаций без разрешения советов. Либер, между прочим, сообщил в докладе, что такое мягкое решение вопроса, в интересах единства, было принято единогласно в собрании, подготовлявшем резолюцию; меньшинство, которое настаивало на гораздо более решительных мерах, «сознательно сняло свое предложение, хотя у него не доставало всего одного голоса».

А затем, после возражений оппозиции, С'ездом было принято вчерашнее предложение Дана о мирных и вооруженных манифестациях. Ему было предпослано некое введение, где говорилось о контр-революционных силах, стремящихся раз'единить демократию и использовать брожение среди народных масс; а кроме того глубокомысленно указывалось, что это брожение — на почве голода, разрухи и войны — коренится в несознательности масс, «не отдающих себе отчета, что кризис не может быть полностью разрешен даже решительными мерами»...

Вероятно, потому министерское большинство и не обещало ни одной меры к разрешению кризиса, кроме воспрещения самочинных манифестаций. Впрочем, надо было и без слов понимать, что Терещенке и Львову требуется «самоограничение».

Еще до принятия резолюции, на этом заседании произошел «инцидент» с большевиками. От имени их фракции Ногин просит слова и оглашает заявление большевистского центр. комитета, адресованное С'езду. Заявление довольно длинно, весьма знаменательно и отлично написано. Легко допу-

скаю, что непартийный большевик, междурайонец Троцкий к нему руку приложил...

В заявлении говорится, что дело о манифестации началось и кончилось независимо от воли С'езда, по постановлению большевистского ц. к. Он согласился на отмену потому, что С'езд указывал на опасность использования манифестации организованными контр-революционными силами. Если так, то следовало ожидать, что в порядке дня будет поставлено расследование замыслов контр-революции. Вместо того С'езд учинил суд над большевистской партией. Дан предложил ввести разрешительную систему на манифестации. Но ц. к. категорически заявляет: он не подчинится этим ограничениям и не наложит на себя оков, — готовый «идти навстречу тюрьме и другим карам во имя идей интернационального социализма, отделяющего нас от вас»... Но Церетели пошел дальше Дана. Он обвинил партию в военном и рабочем заговоре. Это совершенно не согласуется ни с официальными доводами против демонстрации, ни с внесенной на С'езд резолюцией Дана. Сам Церетели не делает выводов, не назначая расследования заговора. Мнимый заговор понадобился ему только для того, чтобы выдвинуть явно контр-революционную программу: «фикция военного заговора выдвинута членом Вр. Правительства только для того, чтобы провести обезоружение петербургского пролетариата и раскассирование гарнизона». Смысл этого говорит сам за себя. К таким мерам всегда прибегала буржуазная контр-революция. Но рабочие массы никогда в истории не расставались с оружием без боя. Стало быть, правящая буржуазия со своими министрами-социалистами сознательно

вызывают гражданскую войну. Партия предупреждает рабочий класс об этой провокационной политике и разоблачает ее перед лицом С'езда. Партия призывает рабочих к стойкости и бдительности.

Большевик Ногин, по словам председателя, затеял свое чтение не совсем во время. Кроме того, как видим, в документе предаются гласности некоторые сведения о закрытом заседании, описанном выше. Поэтому, Гегечкори не больше, не меньше как лишил слова большевистского оратора. После неистового шума и протестов большевики снова покинули заседание. Отношения все обострялись...

* * *

А в конце заседания слово для внеочередного предложения от имени президиума получил Богданов. Предложение было интересно. Потом я узнал, что его инициатором был Дан. Это было предложение устроить в Петербурге, а по возможности и в других городах, в ближайшее воскресенье, 18 июня, общесоветскую, рабоче-солдатскую мирную манифестацию. В этот напряженный момент внутри-советской борьбы она должна знаменовать собой единство демократии и ее силу перед лицом общего врага. Лозунгами этой манифестации должны быть только те, которые свойственны всем советским партиям и об'единяют их. По мнению инициаторов, эти лозунги суть: об'единение демократии вокруг советов, мир без аннексий и контрибуций и скорейший созыв Учр. Собрания.

В идее этой манифестации как никак проявилось

торжество более мягкого течения в звездной палате по отношению к большевикам. Это была идея смягчить принятый «исключительный закон» отеческим назиданием и ликвидировать всю историю демонстрацией единства в «слейной» атмосфере. Правда, на всякую «государственность» довольно наивности: лозунги, по нынешним временам, были, как видим, очень сладенькие. Они не для всех советских партий имели — не то что боевое, а просто **политическое** значение. Было странно думать, что ими можно будет ограничиться, что они удовлетворят...

Но как бы то ни было, идея манифестации 18 июня была данью порока добродетели. Предложение было, конечно, принято — в отсутствии большевиков. У большевиков, разумеется, также нет причин возражать. Посмотрим, что выйдет.

* * *

Дело о несостоявшемся большевистском выступлении этим все еще не кончилось. В среду 14-го в Александринском театре заседал петербургский совет по тому же делу. Большевики, которые составляли уже около трети собрания, а может быть и больше, — не пожелали участвовать в обсуждении этого пункта и опять-таки с протестами покинули залу. Без них тот же Либер выступил с тем же докладом и с той же резолюцией, что и на С'езде. Петербургский совет, за вычетом большевиков, послушно и единогласно, присоединился к постановлению «всей демократии».

А затем был поставлен вопрос об официальной

манифестации 18-го июня. В это время от имени всеросс. бюро профессиональных союзов на каждом заседании стал выступать Рязанов. Выступления его были большевистскими и притом очень бурными, в соответствии с его темпераментом. Депутатская масса их любила, но президиуму от них была одна неприятность... Сейчас Рязанов заявил, что бюро проф. союзов выступит на манифестации с официальными лозунгами С'езда; но отдельные союзы ими явно не удовлетворятся.

От имени большевиков было заявлено, что они в манифестации примут живейшее участие; но лозунги у них будут свои собственные, те самые, что были приготовлены для несостоявшейся мирной манифестации 10-го числа... Ораторам оппозиции возражал Дан, инициатор выступления 18 июня. Надо сказать, что речь его, призывавшая к единству и забвению, была вполне «елейной» и даже была выдержана в тонах патетического красноречия...

* * *

В номере от 13 июня газета «Правда» напечатала заметку под названием «Правда о демонстрации». Обвинение в заговоре она назвала там грязью и низкой клеветой. А в подтверждение привела свою снятую прокламацию 10-го числа, с перечисленными в ней лозунгами манифестации.

В те времена, летом 17-го года, правда о несостоявшемся выступлении 10-го июня представлялась участникам событий именно в том виде, как было описано на предыдущих страницах. Разумеется, вся буржуазная и услужающая печать целую

неделю жевала «заговор», сеяла панику, разливала злобу, философствовала, читала нотации, охала и вздыхала. Эта печать, для спокойного взора, была смешна: надо же, в самом деле, разоряться так из-за несостоявшейся манифестации!..

Но вот теперь, ровно через три года, я могу добавить об этом деле следующее. То, что заявляли в заседаниях большевики, то, что печатала «Правда», была во всяком случае не вся правда о демонстрации. Правду в то время некоторые «чувствовали», но никто не знал ее, кроме десятка, много двух, большевиков. Правду я лично узнал много-много спустя, уже в 1920 году. Источник моих сведений я обещал пока не называть в печати, но его «непосредственность» и достоверность не подлежит ни малейшему сомнению.

Действительного «заговора» не было. Определенного плана свержения правительства и захвата власти не существовало в те времена. Ни стратегической диспозиции, ни плана оккупации города, его отдельных пунктов, учреждений — не было разработано. С другой стороны и политические намерения низвергателей, кажется, были оформлены не больше. Но все же дым был не без огня.

Необходимо как следует усвоить, что большевистский «заговор» или большевистское восстание, если бы оно произошло в то время, имело бы свою непреложную логику. Какую цель оно могло иметь? В отрицательной части это не вызывало сомнений: надо было уничтожить коалицию, что было само по себе легче легкого. Но положительная часть? Она — на словах — выражалась словами: вся власть советам. Но ведь «советы» были

все тут налицо, в виде С'езда. Они стояли **за коалицию** и категорически отказывались от власти. Навязать им власть против их воли было невозможно. Восстание **могло** их толкнуть на путь приятия власти; но было более вероятно, что восстание сплотит советско-буржуазные элементы против большевиков и их лозунгов. Во всяком случае было очевидно: если поднимать восстание, то поднимать его придется не только против буржуазии, но и **против советской демократии**, воплощенной в авторитетнейшем для нее С'езде. Петербургскому пролетариату и большевистским полкам, в качестве инициативного меньшинства, с лозунгами «вся власть советам», предстояло выступить против советов и С'езда. Эта означало, что власть, по ликвидации Вр. Правительства, могла перейти **только к центральному комитету большевиков**, поднимающему восстание.

Вообще — это вполне естественно и неизбежно: в случае успеха восстания, власть, добываемая через него, переходит к тому, кто его поднимает. Такова была непреложная логика и такова была положительная программа большевистского восстания, если бы большевики его подняли в те времена.

Но восстания, прямо направленного к такой цели, большевики не поднимали. Тот густой дым, который еще долго клубился у нас после 10-го июня, пошел от небольшого огонька, светившего вокруг Ленина в конспиративной комнате большевистского ц. к.... Положение формулировалось так. Группа Ленина не шла прямо на захват власти в свои руки, но она **была готова взять власть при благоприятной обстановке, для создания которой она принимала меры.**

Говоря конкретно, ударным пунктом манифестации, назначенной на 10 июня, был Мариинский дворец, резиденция Вр. Правительства. Туда должны были направиться рабочие отряды и верные большевикам полки. Особо назначенные лица должны были вызвать из дворца членов кабинета и предложить им вопросы. Особо назначенные группы должны были, во время министерских речей, выражать «народное недовольство» и поднимать настроение масс. При надлежащей температуре настроения Вр. Правительство должно было быть тут же арестовано. Столица, конечно, немедленно должна была на это реагировать. И в зависимости от характера этой реакции, центральный комитет большевиков, под тем или иным названием, должен был об'явить себя властью. Если, в процессе «манифестации», настроение будет для всего этого достаточно благоприятно, и сопротивление Львова-Церетели будет невелико, то оно должно было быть подавлено силой большевистских полков и орудий.

По данным большевистской «военной организации», выступление против большевиков допускалось со стороны полков: Семеновского, Преображенского, 9-го кавалерийского запасного, двух казачьих полков и, конечно, юнкеров. Полки стрелковой гвардии (4), Измайловский, Петроградский, Кексгольмский и Литовский оценивались большевистскими центрами как колеблющиеся и сомнительные. Ненадежным представлялся и Волынский полк. Но во всяком случае эти полки считались не активной враждебной силой, а только нейтральной. Предполагалось, что они не выступят ни за, ни против переворота... Финляндский полк, издавна бывший уделом интернационалистов не-боль-

шевиков, должен был соблюдать, по меньшей мере, благожелательный нейтралитет. Крайне важная часть гарнизона, первостепенный фактор восстания, броневой дивизион, в те времена делился пополам между Лениным и Церетели; но если бы дело решало большинство его состава, то мастерские давали Ленину определенный перевес.

Вполне же верные большевикам полки, готовые служить активной силой переворота, были следующие: 1-й и 2-й пулеметные полки, Московский, Гренадерский, 1-й запасный, Павловский, 180-й (со значительным числом большевистских офицеров), гарнизон Петропавловской крепости, солдатская команда Михайловской артиллерийской школы, в распоряжении которой находилась артиллерия. Надо заметить, что все эти части были расположены на Петербургской и Выборгской Стороне, вокруг единого большевистского центра, дома Кшесинской. Кроме того восстание должны были активно поддержать окрестности: во-первых, Кронштадт; затем в Петергофе стоял 3-й запасный армейский полк, где господствовали большевики, а в Красном Селе — 176-й полк, где прочно утвердились «междурайонцы». Эти части могли быть немедленно, по нужде, вызваны в Петербург.

Все эти «повстанческие» полки, вместе взятые, должны были подавить сопротивление советско-коалиционной военной силы, устрашить Невский проспект и столичное мещанство, и послужить реальной опорой новой власти. Главнокомандующим всеми вооруженными силами «повстанцев» был назначен вышеупомянутый вождь 1-го пулеметного полка, прапорщик Семашко.

Со стороны военно-технической успех переворота был почти обеспечен. В этом смысле большевистская организация уже тогда была на высоте. И один из двух главных ее руководителей, Невский, настаивал на форсировании движения, на доведении его до конца. Другой же, Подвойский, требуя осторожности, едва ли руководствовался при этом «стратегическими», а скорее политическими соображениями.

В политическом центре «восстания», в центр. ком., дело ставилось, как мы видели, условно, факультативно. Переворот и захват власти должны быть совершены при благоприятном стечении обстоятельств. Здесь на деле воплощалось то, что за три дня до того говорил Ленин на С'езде: что большевистская партия готова одна взять в свои руки власть каждую минуту. Но готовность взять в руки власть означает только настроение, только политическую позицию. Она еще не означает определенного намерения взять власть в данную минуту. Поставить вопрос таким образом большевистский ц. к. не решился. Он решил только всеми мерами способствовать созданию благоприятной для переворота обстановки. И это отлично отразило те колебания, какие испытывал он в эти дни. И хочется, и колется. И готовы, и не готовы. И нужно, и страшно. И можно, и нельзя...

Разумеется, колебания вызывались главным образом мыслями о том, что скажет провинция. Это понятно без комментариев. Расчеты же основывались преимущественно на популярности большевистской программы, которая подлежала немедленному осуществлению. Эту программу, со слов Ленина, мы хорошо знаем.

Колебания большевистского ц. к. выражали позицию его отдельных членов, центральнейших фигур тогдашнего большевизма. Понятно, колебания их были тем меньше, а стремление к перевороту тем больше, чем меньше им было дано мыслить и рассуждать, или — чем больше преобладали у них темперамент и воля к действию над здравым смыслом. Безапелляционно стоял за переворот Сталин, которого поддерживала Стасова, а также и все те из периферии, которые были посвящены и полагали, что революционной каши брандмейстерским маслом не испортишь. Ленин занимал среднюю, самую неустойчивую и оппортунистскую позицию, — ту самую, которая и явилась официальной позицией ц. к. Против захвата власти был, конечно, Каменев и, кажется, Зиновьев. Из этой «парочки товарищей» один был — soit dit — меньшевик, а другой, при своих очень крупных способностях, вообще обладал известными свойствами кошки и зайца. Не знаю, кто еще из большевистских вождей решал тогда судьбу переворота.

В ночь на 10-е, когда «заговор был раскрыт», названные лица, в соответствии с занятой общей позицией, решали вопрос об отмене выступления. Сталин был против отмены: он полагал, что сопротивление С'езда ничуть не меняет об'ективной кон'юнктуры, а «запрещение» Цицерона действовать Катилине само собою подразумевается; и с своей точки зрения Сталин был прав. Напротив, «парочка», конечно, стояла за подчинение С'езду и за отмену манифестации. Трудно думать, что она непременно нуждалась в декрете, разрешающем взять Бастилию; скорее она просто воспользовалась предлогом, чтобы сорвать авантюру.

Но решил дело, конечно, Ленин. В своем оппортунистском настроении он получил толчок и — в нерешительности воздержался. «Манифестация» была отменена.

Какова была роль и позиция «междурайонца» Троцкого во всем этом деле? Я ничего не знаю об этом в данную минуту. Я мог бы собрать справки из самых непосредственных источников, но доселе мне этого не случилось, а обязанным делать это я себя не считаю: я пишу только воспоминания... Ленин, за два-три дня до «манифестации» говорил публично, что он готов взять в свои руки всю власть. А Троцкий говорил тогда же, что он желал бы видеть у власти двенадцать Пешехоновых. Это разница. Но все же я полагаю, что Троцкий был привлечен к делу 10 июня. Я не имею сейчас иных данных кроме отмеченных «штрихов» в его поведении: если они недостаточны для характеристики его позиции, то они как будто ясно говорят об его осведомленности, а также и о том, что Ленин и тогда не склонен был идти в решительную схватку без сомнительного «междурайонца». Ибо Троцкий был ему подобным монументальным партнером в монументальной игре, а в своей собственной партии после самого Ленина не было ничего долго, долго, долго.

Таково было дело 10-го июня, одного из знаменательнейших эпизодов революции.

Дело 10 июня было «благополучно» ликвидировано звездной палатой при помощи С'езда и петербургского совета. Но, понятно, это ровно ничего не изменило в общей политической кон'юнктуре того времени. Вожди не прозрели, правители себе не изменили, и настроение масс осталось прежним.

Столица явно жила на вулкане. Правительство «управляло» в Мариинском дворце; С'езд и его секции вели «органическую работу» в кадетском корпусе. Но все это могло закрыть истинную перспективу только самым заскорузлым мещанам. Гвоздь же ситуации был в том, что в трещине между расколовшейся демократией ныне с полной отчетливостью обозначился силуэт баррикады.

Страсти продолжали кипеть в кадетском корпусе среди нудной и никчемной органической работы. Обе стороны готовились к смотру своих сил на общесоветской манифестации 18 июня.

* * *

В один из этих дней, перед вечерним заседанием С'езда, в кадетский корпус явился доктор Манухин и разыскал меня среди толп кадетского корпуса по спешному делу. Дело состояло в следующем. Манухин, в качестве доверенного и известного лица, по предложению председателя верховной следственной комиссии, Муравьева, состоял тюремным врачом при Петропавловской крепости. Было уже несколько случаев, когда Манухин, признав условия Петропавловки гибельными для заключенных, требовал перевода некоторых из них в другие места заключения. Кажется, кого-то куда-то переводили. Сейчас Манухин требовал, чтобы из Петропавловки перевели в другое место знаменитую царицыну фрейлину Вырубову. Прокурор согласился и сделал соответствующее распоряжение по всей форме. Но гарнизон крепости заявил, что — какова бы ни была прошлая практика — впредь он

никому не позволит вывозить из крепости царских слуг: он не доверяет правительству и не видит иных гарантий правосудия для своих палачей, кроме содержания их в крепости под охраной своих штыков. Это было знамение времени, это был продукт разложения коалиции...

Взволнованный Манухин впопыхах об'яснял мне причину своей спешки и необходимости чрезвычайных мер. В гарнизоне окончательно оформилось настроение в пользу самочинной расправы с заключенными. Был констатирован род заговора, первой жертвой которого должна была пасть Вырубова. Как раз истекшей ночью у стражи пропало несколько револьверов. Избиений можно было ожидать с часу на час.

Манухин с жаром настаивал, чтобы я сейчас же, вместе с ним, поехал в Петропавловку. В качестве члена Исп. Ком. я должен был внушить гарнизону всю недопустимость его образа действий, должен был усмирить его и лично вывезти Вырубову из крепости. Экскурсия нарушала мои планы, но все же я не заставил себя долго упрашивать. В знаменитую крепость дотоле еще не вступала моя нога. Случай посетить ее преставлялся мне соблазнительным. Задача же не казалась мне трудной. Я полагал, что перед именем Исп. Комитета гарнизон не устоит... Для большей верности я пригласил поехать и встретившегося мне члена президиума Совета, Анисимова, которому в качестве вполне официального лица надлежало ex officio защищать коалиционный закон и порядок. Член президиума Совета мог оказаться более авторитетным для «лойяльной» части гарнизона, тогда как я мог оказаться полезным в качестве представи-

теля левой оппозиции, протестующей в моем лице против самочинства солдат. По существу вопрос мне не внушал сомнений: правительство, конечно, не заслуживало доверия; как граждане, солдаты могли и должны были протестовать против его действий и добиваться его устранения, но пока оно было у власти они, как солдаты, были обязаны выполнять его приказания. Во всяком случае самоуправство отдельных групп должно пресекаться; рабочие и солдаты могут делать политику только по воле Совета. Такую линию я проводил всегда.

Мимо бойких, долго читавших наши бумаги часовых, я с трепетом и благоговением проехал под ворота российской Бастилии. Очутиться за стенами, где пили свои чаши авангарды многих русских поколений, — мне лично пришлось в качестве «начальства». Манухин сильно беспокоился, как встретит нас гарнизон и что выйдет из нашей экспедиции. Он сомневался даже, допустит ли нас стража в Трубецкой бастион. Я же больше был занят созерцанием обстановки.

Впрочем, все обошлось совершенно благополучно. В мрачное, примитивное комендантское помещение был вызван комендант, недавно назначенный молодой, скромный инвалид, без руки. С большевиствующим гарнизоном он, видимо не имел настоящего контакта и совершенно не ручался за его настроение. Его команда не ждала нашего приезда и разбрелась по своим делам кто куда. Комендант собрал представителей отдельных частей гарнизона, к которым мы, члены Исп. Комитета, и обратились с увещательными речами. Наши слушатели не спорили; и если не согласились, то во

всяком случае были готовы подчиниться. Правда, с оттенком осуждения, они кивали на настроение своих частей, которые де зря волнуются и могут привлечь их к ответу за самовольное решение. Но в конце концов они взяли на себя ответственность за выпуск Вырубовой из крепости — если только согласятся часовые в самой тюрьме.

Все мы должны были направиться непосредственно в Трубецкой бастион. Совсем над головой вдруг заиграли знаменитые куранты, отбивавшие последние минуты стольким казненным в крепости. Но в общем, ни на широкой площади, поросшей травкой, ни в окружающих зданиях, — не было решительно ничего ни грозного, ни мрачного. Мимо каких-то развалившихся телег, заржавленных котлов и других совершенно прозаических предметов мы, во главе с комендантом, подошли к примитивной и не внушительной калитке Трубецкого бастиона. Часовой пропустил беспрекословно и совершенно равнодушно...

Привычный к обстановке Манухин все еще беспокоился, торопил и отвлекал меня разговорами о своем конкретном деле, — вообще не понимал меня. Я же был всецело поглощен осматриваньем тюрьмы, отставал от шествия и приставал с посторонними вопросами к слегка недоумевающему коменданту... Тюрьма, однако, в некотором смысле совершенно разочаровала меня.

Нас провели в контору, куда должны были привести и Вырубову. Две или три не только не тюремного, но даже и не казенного вида комнаты с потрепанной почти домашней обстановкой. Здесь мы должны были ждать какое-то особое куда-то запропастившееся лицо, которое одно имело право

проникать под священные своды, к самым камерам...

Корпус двух-этажной тюрьмы образует треугольник. Царскими сановниками были в то время заняты только комнаты второго этажа, где помещалась и контора. Может быть, в этой веселенькой конторе происходили и сверх'естественные обыски новичков. Из ее окон, выходящих внутрь треугольника, был виден треугольный садик, поросший густой травой. Треугольником же, вдоль стен, по садику были проложены мостки. По ним гуляли заключенные. А в углу, кажется, под деревом, виднелась крошечная избушка, совсем пасторального вида: это баня.

В ожидании смотрителя я выразил решительное желание пройти к самым камерам и осмотреть самые недра тюрьмы. Дежурный, человек солдатского вида, не возразил с своей стороны и только выразил сомнение, пустит ли часовой, стоявший у железной двери, напротив конторы. Но часовой, после нескольких слов, пустил. Мы вошли в широкий коридор, идущий по внешней стороне треугольника. Нас встретил надзиратель, бывший по старому обычаю в валенках, ради полной тишины. Он был чуть ли не один на все три крыла. Дежурный предлагал войти в камеры и поговорить с заключенными. Но это было, пожалуй, неуместно и неудобно, хотя быть может и не безынтересно. Я уклонился. Но не мог воздержаться от того, чтобы посмотреть в глазок в несколько камер. Имена называли дежурный и Манухин, бывший здесь, как дома.

Для меня, довольно привычного тюремного сидельца, это наблюдение из глазка за человеком

в клетке, было делом также довольно привычным. Скольких своих знакомых, товарищей, я видел в своей жизни только из глазка! И сейчас, когда передо мною были мои собственные тюремщики, любопытство легко заслонило брезгливость. Помню, крепко спал спиною к двери Протопопов. С книжкой в руке сидел на койке Штюрмер... А затем назвали фамилию моего личного старого знакомого, одного из талантливейших и вреднейших царских охранников, Виссарионова. В бытность свою московским товарищем прокурора он «наблюдал» за разбором жандармами моего громоздкого дела, моего «тяжкого» преступления и, бывало, посещал мою камеру в Таганке. Впоследствии, уже во время войны, когда он был начальником петербургских цензоров, мне приходилось спешно отвертываться в сторону при его появлении, когда я посещал цензуру по делам «Современника» и «Летописи»: я жил в столице нелегально, а наметанный глаз охранника мог узнать меня, пожалуй, и через десяток лет... Сейчас Виссарионов, сидя за столом, держал в руках исписанный лист писчей бумаги и внимательно читал его.

— Донос! — мелькнуло у меня, хотя в данном случае это занятие было бы совершенно нестоящим.

По моей просьбе, открыли пустую камеру. Отличные камеры в Петропавловке! Светлые, чистые и по размерам вдвое большие, чем в «образцовых» тюрьмах.

— Дай Бог всякому! — резюмировал я свои впечатления. — Такие ли тюрьмы мы видели!

Тем временем сообщили, что Вырубова уже готова в дорогу, и дело за нами. Мы направились к ее

камере. Навстречу нам поднялась молодая красивая женщина с простым, типично русским лицом, очень взволнованная предстоящей переменой, как всегда бывает в тюрьме. Она была на костылях — кажется, в результате крушения, которое она потерпела на Царскосельской железной дороге.

— А пальта у меня нет! — вдруг наивно и растерянно произнесла Вырубова, немедленно подкупив меня обращением с этим злосчастным искони русским словом, которое, как известно, образованные русские люди доселе не склоняют...

Приходилось ехать без «пальта». Волнение Манухина достигло крайних пределов. Нашей медленной процессии приходилось преодолеть целый ряд часовых... Да, время было такое, что часовой значил никак не меньше министра юстиции... Часовые смотрели на наше шествие довольно мрачно и подозрительно, но задерживать не решались. Манухин требовал, чтобы мы, члены Исп. Комитета, лично вывезли Вырубову за самые ворота крепости и проводили до тюремной больницы. Все обошлось благополучно.

* * *

Советские партии готовились к манифестации 18 июня. Правящий блок, впрочем, делал это с прохладцей: во-первых, он не сомневался в победе — под «общесоветским» флагом; во-вторых, он не имел ни надлежащих тяготений к массам, ни сноровки в обращении с ними. Вообще, меньшевистско-эсеровский блок тогда являл собой образец разлагающейся власти, застывшей в своей самоуверенности, в самодовольстве и слепоте. Напро-

тив, большевики лихорадочно орудовали в недрах пролетарской столицы, поднимали целину и строили прозелитов в боевые колонны.

Массы же рвались в бой. Дело 10 июня не дало выхода их настроению и только озлобило их. Официальная советская манифестация, конечно, нисколько не удовлетворяла большевистских рабочих и солдат. Об'ективно — она должна была служить неким предохранительным клапаном против взрыва: общесоветское выступление было явно непригодно в качестве противосоветского. Но потому-то оно суб'ективно и не удовлетворяло: рабоче-солдатские массы, не отказываясь 18-го июня просто продемонстрировать свою силу, надеялись в близком будущем применить ее.

Я не помню, чтобы Исп. Комитет, как таковой, занимался специальной подготовкой своей собственной официальной манифестации. А когда вопрос о ней был все же поставлен, то эта постановка получила следующий своеобразно-характерный вид. Накануне манифестации, в субботу 17-го июня, в разгар «органической работы» С'езда, в одном из казенно-неуютных помещений кадетского корпуса состоялось заседание Исп. Комитета. Членов набралось много, сесть было некуда, большинство стояло, сгрудившись вокруг примитивного стола и двух-трех первобытных скамеек. Была жара, духота и атмосфера раздражения: еще раньше, чем говорить о манифестации, снова схватились по поводу перевыборов Исп. Комитета.

Кажется, налицо были все лидеры; но застрельщиком по делу о манифестации оказался Либер. С яростью и неистовством он снова стал рассказывать о каких-то «приготовлениях» большевиков

и об опасностях, грозящих завтра свободе и существующему порядку. Большевистские отряды рабочих и солдат собираются выступить вооруженными. Эксцессы, кровопролитие, попытки нападений на правительство — неизбежны. Необходимо все это пресечь в корне самыми решительными мерами. Надо не допустить оружия на улицу во что бы то ни стало. И, в частности, для этого следует поставить по надежному отряду у ворот каждых ненадежных казарм и у каждого завода, откуда должны будут выходить манифестанты: если они окажутся с оружием, то надежный отряд должен их предварительно разоружить.

Так, в лице Либера, защищали меньшевистско-эсеровские банкроты коалицию, свободу и порядок. Я не помню, кто еще из правого крыла выступал с поддержкой либеровского рецепта. Но я помню, что я лично потерял равновесие и набросился на Либера с неменьшей яростью, чем он на большевистских предателей и заговорщиков... Я признавал опасность бессмысленного кровопролития и самочинных авантюр при наполнении оружием улиц Петербурга. Но государственная мудрость Либера и его методы, разумеется, ничего этого не предотвращали, а напротив — все это делали неизбежным. Ведь смешно же было предполагать, что рабочий или солдатский отряд, выходя со сборного пункта с оружием в руках вопреки постановлению Совета, отдаст это оружие без боя либеровской «национальной гвардии». Схватка совершенно неизбежна в силу самого факта наличия заградительного отряда. А десяток таких схваток есть огромное кровопролитие, есть начало нелепого восстания, есть гражданская война,

созданная паникой и государственной глупостью. Это — чисто практическая сторона дела. С принципиальной дело обстояло не лучше. Но тут не приходилось спорить: у парижан с версальцами были споры особые.

Практически я предлагал, в виду тревожного настроения масс, в виду вероятных эксцессов — немедленно раз'ехаться по заводам и казармам, раз'яснить непосредственно характер и значение завтрашней манифестации, убеждать не брать с собой оружия во избежание несчастных случаев и бессмысленного случайного кровопролития. Меня поддержали многие — в числе других, если не ошибаюсь, Чернов. Так и было постановлено. Немедленно установили «опасные» пункты и назначили туда по два-три товарища. Большевики также приняли участие в этих экскурсиях: их центральный комитет, повторяю, не связывал с манифестацией 18-го июня никаких особых планов и смотрел на нее, как на мирную демонстрацию сил... Было постановлено: вечером, часов в 10, собраться снова в Таврическом дворце и каждой делегации доложить о результатах своей поездки.

Меня послали в самый щекотливый пункт, на дачу Дурново. Со мной должны были поехать, для максимальной убедительности: упоминавшийся выше рабочий Федоров и кронштадтский матрос Сладков. Тут же снарядили автомобили, и делегации полетели в разные концы.

Я ехал с сомнениями в таинственное гнездо страшных анархистов. Пустят ли? Станут ли разговаривать? А то — чего доброго — в случае серьезных намерений на завтрашний день не задержат ли в качестве советского заложника?.. Од-

нако, миссия окончилась если не совсем удачно, то во всяком случае вполне благополучно.

Мы беспрепятственно в'ехали в тенистый двор дачи. На крыльце никаких часовых, никаких пропусков и вообще никакого внимания к нашим особам. Видимо, посещения всеми желающими посторонними людьми были вполне свободны и очень часты. Мы спросили, где бы официально, от имени Совета, переговорить с официальными представителями анархистской организации. Нас попросили в клуб. Тут весть о нашем прибытии моментально распространилась, и нас стали окружать любопытные лица, с довольно ироническим видом. Комнаты были в порядке, мебель в целом виде, хотя и поставлена с нарушением всех стилей. В ожидании официальных парламентеров мы расположились в большой зале, превращенной в аудиторию, разубранной черными знаменами и другими эмблемами анархизма.

В качестве представителя местных высоких сфер довольно быстро явился знакомый нам Блейхман, обычный советский оратор. С ним было еще несколько человек разного вида, рабочего и интеллигентского. Я изложил цель посещения, упирая главным образом на возможность несчастных случаев, непроизвольных эксцессов и самостреляющих винтовок. Я сообщил о настояниях Совета и просил изложить мне планы и виды самих анархистов. Блейхман отвечал без лишних слов: Совет для анархистов совершенно не авторитетен; если к его решению присоединятся большевики, то это ничего не значит, — Совет в целом служит буржуазии и помещикам; никаких определенных намерений у анархистов на завтра нет; участвовать в манифеста-

ции они будут — со своими черными знаменами; а насчет того, будут ли с оружием, — то, может быть, пойдут без оружия, а может быть и с оружием.

Диалог завязался довольно продолжительный и довольно нудный. Я не мог добиться более определенного ответа: были ли какие-нибудь постановления о характере завтрашнего выступления? решили идти без оружия или с оружием?.. И моя дипломатия, мои убеждения оставить оружие дома — также не имели сколько-нибудь определенного успеха. Я наталкивался на довольно простую и вместе с тем непреодолимую преграду: на то, мол, мы и анархисты, чтобы никому не подчиняться и действовать, как Бог на душу положит... Только когда официальная беседа перешла в частную, мои собеседники стали издавать немного успокоительные звуки.

— Ничего, не тревожьтесь, пронесет, все обойдется благополучно, мы не какие-нибудь, — прямо или косвенно говорили они.

Как частных гостей, они повели нас показывать свои владения. Мы вышли в огромный тенистый сад, где мирно гуляли большие группы рабочего люда. Площадки и лужайки были усеяны детьми. У входа помещался киоск, где продавалась и раздавалась анархистская литература. На высоком пне стоял оратор и говорил наивную речь об идеальном общественном строе. Его слушало не особенно много людей. Здесь, видимо, больше отдыхали, чем занимались политикой. И вполне понятна была популярность этого анархистского гнезда среди самых широких рабочих кругов столицы.

Я был не прочь подольше потолковать с местной публикой на общие темы и, пожалуй, даже не прочь

был также взобраться, в свою очередь, на пень. Но пошел хороший, теплый дождь. Сопровождаемые большой, уже благожелательной группой, мы отыскали свой автомобиль и отправились восвояси.

Вечером Исп. Комитет собрался снова в Таврическом дворце. Было довольно много народа. Делегаты делали доклады о своих посещениях ненадежных мест. Доклады все были оптимистического свойства. Настроение всюду было «лойяльное», эксцессов не предполагалось, оружия брать не собирались. Наиболее сомнительной оставалась дача Дурново; но — надеялись, что «ничего, пронесет, обойдется благополучно».

Не помню и не знаю, почему именно, но Церетели, под влиянием благоприятных сообщений, вдруг торжественно обратил гневно-назидательную речь к большевикам — в частности, к Каменеву:

— Вот теперь перед нами открытый и честный смотр революционных сил. Завтра будут манифестировать не отдельные группы, а вся рабочая столица, не против воли Совета, а по его приглашению. Вот теперь мы все увидим, за кем идет большинство, за вами или за нами. Это не подстроенные действия исподтишка, а состязание на открытой арене. Завтра мы увидим...

Каменев скромно молчал. Был ли он так же уверен в своей победе, как Церетели был уверен в своей? Помалкивал ли он исподтишка или молчал, не уверенный в итогах смотра?.. Я лично не был вполне уверен в них, когда поздно ночью ехал на ночлег на Петербургскую Сторону, в редакцию «Летописи».

* * *

На другой день, в воскресенье 18-го, я вышел из дому часу в двенадцатом. Участвовать в шествии я, по обыкновению, не предполагал, — хотя было решено, что С'езд пойдет в полном составе... Я направился, неподалеку, к Горькому. Может быть, он или кто-нибудь из близких литературных людей пойдет со мной посмотреть на манифестацию. Но из литературных людей никого налицо не было. А Горький заявил:

— Манифестация не удалась. Мне говорили из нескольких мест. Ходят маленькие кучки. На улицах пусто. Нечего смотреть. Не пойду...

Гм!... Где-то, у кого-то уже готовы выводы. При том эти выводы, если они верны, можно толковать двояко. Манифестация «не удалась» потому, что революционная энергия масс иссякает; они уже не хотят, по зову Совета, выступать с требованиями мира и проч.; они хотят перейти к мирному труду и кончить революцию — вопреки призывам советских демагогов и крикунов. Понятно, какие именно сферы, в своей жажде реакции, предвосхищали именно такие выводы...

Но можно было понимать дело и иначе: демократическая столица осталась сравнительно равнодушной к манифестации потому, что она была официальной, «общесоветской», и ее лозунги не соответствовали настроению масс; революционная энергия, быть может, давно и решительно перевалила за ту границу, на которой пыталась остановить ее звездная палата...

Но позвольте же, не спешите! Может быть, неудача манифестации это чистый вздор. Ведь все советские партии постановили в ней участвовать и готовились к ней!... Я пошел один, направляясь

к Марсову Полю, через которое должны были продефилировать все колонны. На Каменноостровском проспекте, у Троицкого моста, у дома Кшесинской — было действительно пустовато. Только на другой стороне Невы виднелись отряды манифестантов. День был роскошный, и уже было жарко.

На Марсовом Поле не было сплошной, запружавшей его толпы. Но навстречу мне двигались густые колонны.

— Большевистская! — подумал я, взглянув на лозунги знамен.

Я подходил к могилам павших, где стояли, пропуская манифестацию, плотные группы знакомых советских людей... Оказывается, манифестация несколько запоздала. Районы тронулись со сборных пунктов позднее назначенного времени. Через Марсово Поле дефилировали еще только первые отряды петербургской революционной армии. Во всех концах Петербурга колонны еще были в пути. Ни о каких эксцессах, беспорядках и замешательствах, впрочем, не было слышно. Оружия с манифестантами не было видно.

Колонны шли быстро и густо. О «неудаче» не могло быть речи. Но было некоторое своеобразие этой манифестации. На лицах, в движениях, во всем облике манифестантов — не было заметно живого, действенного участия в делаемом деле. Не было заметно ни энтузиазма, ни праздничного ликования, ни политического гнева. Массы позвали, и они пошли. Пошли все — сделать требуемое дело и вернуться обратно... Вероятно, одна часть, вызванная в этот воскресный день из своих домов, оторванная от частных дел, — была равнодушна. Другая считала манифестацию казенной и чувство-

вала, что делает **не свое**, а заказанное, пожалуй, лишнее дело. На всей манифестации был **деловой** налет. Но манифестация была грандиозна. Как при похоронах 23 марта, как в первомайской манифестации 18 апреля, — в ней попрежнему участвовал весь рабочий и солдатский Петербург.

Но каковы же лозунги, какова политическая физиономия манифестации? Что же представляет собою этот отразившийся в ней рабоче-солдатский Петербург?..

— Опять большевики, — отмечал я, смотря на лозунги, — и там, за этой колонной идет тоже большевистская...

— Как будто... и следующая тоже, — считал я дальше, вглядываясь в двигавшиеся на меня знамена и в бесконечные ряды, уходящие к Михайловскому замку, вглубь Садовой.

— «Вся власть Советам!» «Долой десять министров-капиталистов!» «Мир хижинам, война дворцам!»

Так твердо и увесисто выражал свою волю авангард российской и мировой революции, рабоче-крестьянский Петербург... Положение было вполне ясно и недвусмысленно... Кое-где цепь большевистских знамен и колонн прерывалась специфическими эсеровскими и официальными советскими лозунгами. Но они тонули в массе; они казались исключениями, нарочито подтверждающими достоверность правила. И снова, и снова, как непреложный зов самых недр революционной столицы, как сама судьба, как роковой бирнэмский лес — двигалось на нас:

— Вся власть советам! Долой десять министров-капиталистов!..

Удивительный, очаровательный этот лозунг! Воплощая огромную программу в примитивно-аляповатых, в наивно-топорных словах — он кажется непосредственно вышедшим из самых народных глубин и воскрешает бессознательный, стихийно-героический дух великой французской революции. Стоит вглядеться в этот лозунг, взвесить, просмаковать каждое слово и оценить совсем особый аромат его!.. А скромный, но хорошо понимающий политику «глава правительства», премьер Львов по поводу этого лозунга в частных разговорах пожимал плечами:

— Не понимаю, чего они хотят! Они сами не знают, чего хотят! «Десять министров-капиталистов!».. Но у нас в правительстве всего два капиталиста: Терещенко и Скобелев!..[1]).

Здесь тоже что ни слово — золото!.. Но так или иначе — понимает или не понимает, чего она хочет, пролетарская столица, — при виде мерно ступающих боевых колонн революционной армии, казалось, что коалиции уже пропета отходная, что она уже ликвидирована формально, что господа министры, по случаю явного народного недоверия, сегодня же очистят место, не дожидаясь, пока их попросят более внушительными средствами...

Я вспоминал вчерашний задор слепца-Церетели. Вот оно состязание на открытой арене! Вот он честный смотр сил на легальной почве, на общесоветской манифестации!..

---

[1]) Министр-капиталист Терещенко был крупнейшим сахарозаводчиком, а министр-социалист Скобелев происходил из крупнобуржуазной семьи. Все остальные буржуазные министры коалиции, после ухода Коновалова, были «интеллигенты».

В нескольких шагах от меня виднелась в негустой толпе приземистая фигура Каменева, как бы принимающего парад победителя. Но вид у него скорее был несколько растерянный, чем торжествующий.

— Ну, что же теперь? — обратился я к нему. — Какая же нынче будет власть? Пойдете в министерство с Церетели, Скобелевым и Черновым?

— Пойдем, — ответил Каменев, но как-то не совсем определенно.

Программа действий была, видимо, совершенно неустойчивой в головах большевистских лидеров. А лично Каменев был воплощенным колебанием среди них.

Подходил отряд с огромным тяжелым стягом, расшитым золотом: «Центральный Комитет Рос. Соц. Дем. Раб. Партии (большевиков)». Предводитель потребовал, чтобы, не в пример прочим, отряду было позволено остановиться и подойти к самым могилам. Кто-то, исполнявший обязанности церемониймейстера, пытался вступить в пререкания, но тут же уступил. Кто и что могло помешать победителям позволить себе этот пустяк, если они того захотели?.. Затем появилась небольшая колонна анархистов. Их черные знамена резко выделялись на фоне бесконечных красных. Анархисты были с оружием и пели свои песни со свирепо-вызывающим видом. Однако, толпа на Марсовом Поле встретила их только иронией и весельем: они казались совсем не опасными.

Как будто все шло гладко, об эксцессах и беспорядках слышно не было. Простояв у братских могил часа два, насытившись зрелищем, оценив манифестацию количественно и качественно и не

надеясь более на перемены, я отправился с компанией в какой то близ-лежащий ресторанчик. Там сообщили о происшедшем столкновении неподалеку от Марсова Поля. Какая-то группа — может быть «Единство» или советские «трудовики» — решились выступить с плакатом: «полное доверие Врем. Правительству». Собственно это был официальный лозунг Совета и С'езда. Он, правда, не был официально рекомендован для манифестации; но он, конечно, имел в тысячу раз больше прав фигурировать на знаменах, чем лозунг долой правительство («в коем участвуют лучшие из наших товарищей!»)... Однако — не то другой отряд манифестантов, не то встречная толпа — бросилась на хоругвеносцев злосчастной группы и изорвала знамя в клочки. До такой степени старая «линия Совета» приходилась не ко двору в столице.

А затем оказалось, что вооруженный отряд анархистов с Марсова Поля прямым рейсом отправился к Выборгской тюрьме (к «Крестам») и разгромил ее. Анархисты имели главной целью освободить нескольких своих товарищей, с дачи Дурново, арестованных по разным делам о захватах. Но разгром принял довольно широкие размеры. Вместе с непосредственными вершителями социальной революции из тюрьмы ушло до 400 человек уголовных, которые на радостях учинили в тот же день несколько погромов в разных частях города. Тюремная стража не оказала анархистам сколько-нибудь серьезного сопротивления и дело, кажется, обошлось без малейшего кровопролития. Но факт крупнейшего бесчинства оставался фактом.

Вместе с тем расшифровывалось вчерашнее двусмысленное поведение анархистов во время пере-

говоров со мной. Они, как оказалось, действительно не замышляли ничего — во-первых, **политического**, во-вторых, **во время** самой манифестации. Тут они не замутили воды, и самый «общесоветский» смотр прошел благополучно. Но **после** манифестации анархисты учинили «уголовное деяние», которое они могли бы с равным успехом учинить и во всякое другое время...

Таково было в Петербурге 18-ое июня. Оно было основательным ударом хлыста по лицу советского большинства, обывателя и буржуазии. Оно было неожиданным, было откровением для звездной палаты и ее слепого лидера. Но, собственно, какое употребление может сделать слепец из удара обухом по темени? Влекомому своим слепым инстинктом, ему все равно не свернуть с дороги...

Буржуазия и политиканствующий обыватель оценили дело лучше. Но что им было делать? Обыватель просто перешептывался, терзаемый предчувствиями. А буржуазия?... Ее правительство, ее министры, конечно, не вышли в отставку, не очистили своих мест добровольно. Таким путем, в данной обстановке, они бы ничего не выиграли и все бы проиграли. Ведь нельзя же, в самом деле, охраняя буржуазную диктатуру, серьезно считаться с доверием или недоверием народных масс. Ведь нельзя же, в самом деле, оставить добровольно власть, когда она всерьез, легко и безболезненно может перейти в руки врагов. Эксперимент очистки места можно допускать только тогда, когда это вызовет затруднения, разведет мутную волну, расстроит вражий стан, послужит к укреплению реакции и буржуазной диктатуры... А сейчас выходить в отставку не стоит... Но что же делать, когда недра рево-

люционной столицы предстали перед самыми глазами?

Делать — понятно, что. Во-первых, официально игнорировать. Во-вторых, посредством «общественного мнения», т. е. большой прессы, доказать как дважды два, что манифестация не удалась, и жалкие обрывки «революционной демократии», бывшие на улицах со своими демагогами и крикунами, ровно ничего не отражают. В-третьих, спрятаться от них за действительную «революционную демократию», за подавляющее большинство ее: это не столичные большевики, а Всероссийский С'езд; это не Ленин и Троцкий, а Чайковский и Церетели. Их, правда, надо тут же лягнуть, чтобы знали свое место; но все же надо надеяться, что они не выдадут. Все это и разыграла по поводу манифестации «большая пресса».

А «советская», естественно, раскололась. Правая, официальная, испытывала тяжкий Katzenjammer: «Рабочая Газета», устами Череванина, наивно восклицала без обиняков: и кому это пришла в голову злосчастная мысль устроить эту «общесоветскую» манифестацию! Мы знаем, что эта елейная мысль пришла в голову ближайшего соратника Череванина, меньшевистского лидера Дана. Уж и досталось ему потом от всей звездной палаты, крепкой задним умом!.. Большевистская «Правда» торжествовала. А я, в «Новой Жизни», с удвоенной силой стал завинчивать винт вокруг проблемы власти.

* * *

«Мистическое» совпадение! Ровно два месяца назад, 18 апреля, состоялся грандиозный первомай-

ский смотр революционных сил. Это был **праздник**, торжество революции. Это было знамение ее огромных достижений и побед. И в тот же день, 18 апреля, из тайников министерских кабинетов для нее готовился предательский подкоп. Милюков писал свою знаменитую ноту, утверждавшую старую царистскую программу войны, сводившую на нет всю борьбу, всю победу, все значение демократии.

Теперь, через два месяца, 18-го июня, снова состоялся грандиозный смотр рабоче-солдатской революционной армии. Он также свидетельствовал о новых достижениях, об огромном движении вперед, о под'еме революции на новые высоты. И в тот же день ей наносился новый предательский удар...

Как и два месяца назад, о нем в этот день в столице еще ничего не знали. О нем узнали на другой день. И в лагере «революционной демократии» **два эти удара оценили по разному**. В апреле Церетели был не прочь взять Милюкова под свое прикрытие, но он все же был далек от восхищения его нотой 18 апреля. Сейчас кровавую рану, нанесенную рабочему делу, Церетели и его друзья об'явили величайшей победой революции. Но тем сильнее об'ективно был понесенный урон, что некогда единая революционная демократия стояла ныне по разным сторонам баррикады.

Предательство 18 июня совершалось не в кабинете. Его ареной были бесконечные равнины и поля, а его действенными участниками — бесчисленные невинные жертвы.

Дня два-три тому назад в газетах было напечатано странное сообщение: военный и морской министр Керенский отбыл в Казань!.. Но Керенский

поехал не в Казань. В день манифестации 18-го июня он, на фронте, **повел в наступление революционные полки.**

Свершилось! Союзный капитал мог праздновать долгожданную и огромную победу. Всеевропейская каннибальская кампания завершилась счастливым концом. Русская революция, с высоты англо-французской биржи, могла казаться совершенно аннулированной. Дело всеобщего мира могло казаться проигранным. Дело мировой революции приниженным и оплеванным. Это усугубляло торжество англо-франко-русских биржевиков. Ведь победа над революцией стоила, пожалуй, не меньше, чем ожидаемая пиратская добыча в результате разгрома Германии.

И кто же это воскресил вновь все былые надежды? Кто победил революцию? Кто заплатил за будущее благо союзных биржевых тузов настоящей алой кровью, драгоценной жизнью десятков тысяч «свободных граждан»? Это был «социалист» Керенский. А кто об'явил его преступное дело своим великим торжеством и победой пролетариата? Это «социалисты» того самого Совета, который союзные правители столько раз требовали разогнать штыками. Это удесятеряло радость победителей...

Да только недолго они тешились. Наступление 18-го июня было не только великим преступлением: оно было великой глупостью.

В Петербурге о начавшемся наступлении стало известно в понедельник днем. Известия были получены в редакциях и в правительственных учреждениях довольно рано, а из них стали быстро облетать весь город. Но я лично узнал об этом в середине дня, когда ехал в трамвае на С'езд на

Васил. Остров. О наступлении уже выкрикивали мальчишки-газетчики... Известие поразило меня в самое сердце.

При входе в кадетский корпус я встретил радостно возбужденную группу мамелюков, во главе с Гоцом, который победоносно во весь рот улыбался, размахивая мне навстречу листом специального газетного выпуска. Ну, беда!..

На Невском начались сборища и «патриотические» манифестации. Столичное мещанство под предводительством кадетов потянулось на улицу. Шествия, локализированные в центральных кварталах, были не велики, но бурны и полны одушевления. Во главе каждой манифестировавшей группы несли, как иконы, большие и малые портреты Керенского. На Невском я встретил, между прочим, манифестацию плехановской группы «Единство». Окруженная сотней-двумя разных господ — посреди улицы двигалась какая-то колесница, разубранная цветами, с огромным портретом героя 18 июня. На колеснице же восседал старый ветеран революции, Лев Дейч, что-то выкрикивавший толпе, а может быть распевавший — в патриотическом восторге. Жалкое, удручающее зрелище!

Когда на другой день, во вторник 20-го, вышли газеты, то в них, конечно, сопоставлялись две манифестации: воскресная общесоветская, казенная, потерпевшая «жалкий провал», и наступленская, грандиозная, неподдельная, отразившая поистине всенародное ликование. Ну, что ж! Пусть делают вид, что верят в это.

* * *

В кадетском корпусе, в понедельник 19 числа, также происходила вакханалия глупости и шовинизма. В открывшемся заседании С'езда порядок дня был, разумеется, нарушен. Говорили о наступлении. Его «приветствовали», до одурения, все министры-социалисты. Церетели и Чернов произнесли по две речи. Авксентьев беззубо-плоско выражал восторг от имени крестьян. Оппозиция же твердо защищала пролетарские посты.

Резко говорил Мартов, присоединяясь к министерской оценке наступления, как огромного события, но, — не в пример министрам — оценивая его, как катастрофу для международного пролетариата. «Наши лозунги, — говорил Мартов, — остаются прежними: долой войну! да здравствует рабочий интернационал!»...

От имени большевистских групп, соблюдая необходимую дипломатию перед лицом мещанской толпы, выступали Луначарский и Зиновьев. С ними искусно полемизировал наторелый в диалектике Чернов. А Церетели, не гоняясь за тонкостями, шагая прямо, рубил как топором по трафарету Рибо и Ллойд-Джорджа:

— Та задача, во имя которой наша армия пролила свою кровь, — достижение всеобщего мира на условиях, исключающих всякое насилие. Россия не могла оторваться от об'ективных условий жизни народов всего мира. И чтобы устранить эту оторванность, армия исполнила свой долг, перешла в наступление. Шатания, которые имели место в некоторой части русской демократии, должны быть ликвидированы наступлением. Если бы наши войска не были поддержаны нами и дрогнули, этим был бы нанесен удар в самое сердце революции. Теперь

для нас наступил поворотный момент. И если тыл стойко выдержит, революция спасена.

Тут же С'ездом было принято воззвание к армии, где повторялись те же фразы (1914 года) о «войне за мир». На следующий день, 20-го, вопрос о наступлении был поставлен в петербургском совете, в Александринском театре. Там почтенная меньшевистская тройка, Церетели, Либер и Войтинский, произнесли еще более шовинистские, поистине социал-предательские речи о «защите родины», о «германском империализме», о том, что ныне «все для фронта». А в тот же день, резюмируя новую ситуацию, прямо продолжая Церетели, кадетская «Речь» писала ...«Жалкая попытка большевиков зажечь пламя восстания, вызвать гражданскую войну — опрокинута на голову новым великим подвигом революционной армии, справедливо награжденной красными знаменами (?). Последние недели производили неотразимое впечатление, что мы неудержимо летели в бездну, что как и при старом режиме нас стихийно увлекает ход событий, что сколько мы ни говорим, как отчетливо ни сознаем надвигающуюся опасность, мы бессильны что либо ей противопоставить и должны покорно ждать ударов судьбы. Благая весть о решительном и удачном наступлении дает надежду, что будет положен конец охватившей нас нравственной распущенности, что интересы и судьбы родины возьмут верх над классовыми домогательствами и своекорыстными расчетами и что таким образом великие завоевания революции будут спасены»...

Еще через день газеты печатали телеграммы с «откликами» союзников на наше наступление. Французские газеты совершенно захлебывались от во-

сторга перед этим сюрпризом. Они не жалели места для аршинных портретов Керенского и русских генералов. «Победа! — писал ренегат Эрве. — Сегодня мы можем дышать. Дружественная и союзная армия выздоравливает. Русская революция спасена»... Английская пресса была более сдержанна. Тяжеловесный «Times» — «пока воздерживался от поздравлений»: наступление началось только на южной половине фронта, надо подождать выступления бездействующих армий к северу от Припяти.

Всем этим торжеством заклятых врагов измерялась глубина урона, понесенного революцией.

* * *

Самое наступление, как описали газеты, происходило так. Приказ-прокламация военного министра была подписана 16 июня. Через двое суток армии юго-западного фронта, 6-я, 7-я и 11-я двинулись в бой. Повидимому, наступление шло довольно дружно. Но все же, в своей телеграмме, тут же посланной на имя премьера Львова, Керенский говорит о «небольших группах малодушных в немногих полках», которых пришлось «с презрением оставлять в тылу».

Наступление было успешно. Германский фронт был прорван, были захвачены пленные и трофеи. Первым перешедшим в наступление полкам было пожаловано звание «полков 18 июня»... Трудно предполагать, чтобы сила удара была велика. Но сила германского сопротивления была еще меньше: частью германский фронт был количественно слиш-

ком разжижен, частью качественно расслаблен и неподготовлен. Во всяком случае наступление продолжалось, и русские армии, на различных участках, продвигались вперед в течение целых двух недель. Несомненно, что германское сопротивление становилось при этом все сильнее, а затруднения при посылке в бой солдат — все больше. Даже бульварная пресса не особенно распространялась об энтузиазме войск. Все эти две недели дело, конечно, висело на волоске.

И для каждого простого здравого рассудка было ясно заранее, что этот волосок не нынче-завтра должен был оборваться. Было ясно, что наступление русской армии — во всем контексте обстоятельств — есть легкомысленная авантюра, которая должна лопнуть в ближайшем будущем. Было ясно — и честному социалисту, и каждому патриоту без кавычек, что наша армия, при данном об'ективном положении, при ее суб'ективном настроении не могла быть орудием победы против тогдашней Германии.

Однако, наши верховные правители, а тем более генералы, не были ни честными социалистами, ни действительными патриотами. Они шли напропалую — не только на авось, но отчасти и на определенный эксперимент: они хотели наглядно учить Россию и «спасать революцию» ценою поражения.

Впоследствии Керенский писал о наступлении так: «План наступательной операции 18 июня в общих чертах состоял в том, что все фронты, один за другим в известной последовательности наносят удары противнику, с таким расчетом, чтобы противник не успевал сосредоточивать во-время свои силы на месте удара. Таким образом, общее на-

ступление должно было развиваться довольно быстро. Между тем, на практике все сроки были сразу разрушены, и необходимая связь между операциями отдельных фронтов быстро утеривалась. А следовательно исчезал и смысл этих операций. Как только это сделалось более или менее очевидным, я... предлагал ген. Брусилову прекратить общее наступление. Однако, сочувствия не встретил. На фронтах продолжались отдельные операции, но живой дух, разум этих действий исчез. Осталась одна инерция движения, только усиливающая разруху и распыляющая армию...»

Наступление развивалось, главным образом, на галицийском фронте, а главным военным героем был генерал Корнилов, искусство и доблесть которого тогда воспевала большая пресса. К концу месяца, 27-го числа, русскими войсками был взят Галич, и снова открыты пути ко Львову. Пресса делала вид — перед доблестными союзниками — что «оздоровленная армия» повела дело вполне серьезно. Но на деле не только здравомыслящим людям, а и ближайшим руководителям авантюры была ясна близкая катастрофа.

Как бы то ни было, дело всеобщего мира было возвращено к дореволюционному состоянию. Международная работа интернационалистов была окончательно ликвидирована. Надежды на русскую революцию окончательно исчезли. Социал-патриотизм англо-французских рабочих ныне освящался шовинизмом «пацифистской» российской демократии. А агрессивность Согласия заставляла передовые слои Германии, жаждавшие мира, вновь сплотиться вокруг заправил милитаризма и снова крепче сжать винтовки в усталых руках.

Российский интернационализм был в трудном положении. Он считал наступление величайшим ударом. Но оно стало фактом, оно уже уносило тысячи жертв. Могли ли пролетарские группы России взять на себя его непосредственную дезорганизацию, пытаться прекратить его революционными, «самочинными» средствами? Дело было, конечно, не в «измене родине». «Изменниками» мы были и без того: большая пресса ежедневно публиковала проскрипционные списки германских агентов и уголовных преступников из состава оппозиционных советских партий. Но ведь непосредственная дезорганизация наступления, помимо неизбежных лишних жертв, была, действительно, непосредственной помощью германскому генеральному штабу, который, собрав силы, легко разгромил бы русскую армию и без нашей помощи... Когда наступление стало фактом, нам оставалась только одна трудная и неустойчивая позиция: невмешательство в стратегию и содействие устойчивости армии во избежание ее разгрома, но вместе с тем — разоблачение политической стороны дела и создание такой политической кон'юнктуры, которая уничтожила бы значение 18 июня.

Группы, к которым примыкал я, с самого начала революции противились дезорганизации армии и охраняли ее боеспособность. Это предполагало, вообще говоря, и санкцию «активных», наступательных операций. Но они были допустимы, с нашей точки зрения, только тогда, когда они были чисто стратегическими и не носили в себе ни грана политики. В данном случае этого не было. Со стороны России 18 июня было чисто политическим актом.

Потому этот акт и был таким тяжким ударом. Но потому же — интернационалистские группы, перенеся весь центр тяжести в политику, должны были довести до точки кипения свою политическую борьбу за изменение политической кон'юнктуры. Да и без вождей — массы отлично поняли значение совершившегося факта. Они реагировали немедленно, и реакция была очень острой.

После наступления — на почве неудавшегося 10-го и казенного 18-го — настроение снова повысилось сразу на несколько градусов. Немедленное уничтожение коалиции петербургские массы решительно поставили в порядок дня... Правительство же им в этом попрежнему посильно помогало.

* * *

Анархисты, после воскресной манифестации, освободили из Выборгской тюрьмы десяток человек, среди которых были обвиняемые в провокаторстве, шпионаже, дезертирстве. Правительство не могло этого стерпеть и приняло «решительные меры». В три часа ночи (на понедельник) к даче Дурново были стянуты надежные войска: отряды семеновцев, преображенцев, казаков, бронированный автомобиль. Во главе экспедиции против дерзкого врага стоял сам командующий округом, генерал Половцев, сменивший Корнилова после апрельских дней. Вместе с военными силами были мобилизованы и гражданские: не только отряд милиции, но высшие судебные власти, начиная с самого министра юстиции... Все предстали перед знаменитой дачей Дурново в тиши глубокой ночи. Предполагали, что там по-

коятся сном освобожденные государственные преступники.

Завязались переговоры. Начали гражданские власти — через комиссара милиции. Заявили, что речь идет не о выселении и не о репрессиях против анархистов вообще, а только о выдаче арестантов и участников тюремного разгрома. Высланный анархистами делегат не отрицал, что искомые лица находятся внутри дачи, но заявил, что их не выдадут и дачу будут защищать с оружием в руках. Тогда со стороны правительства выступил сам министр Переверзев; но не помогло красноречие. Он об'явил законченной миссию гражданской власти и передал дело в руки Половцева.

Надежные войска двинулись внутрь дачи. Анархисты сначала угрожали бомбами, а затем бросили две или три из них. Но это была только демонстрация: бомбы не могли разорваться, так как — согласно данным следствия — какие-то трубки в них не то не были вставлены, не то не были вынуты. Солдаты же, ворвавшись в дачу, произвели в ней разгром, перебили окна, переломали мебель и арестовали человек 60... Я лично, бывший на даче часов за 30 до этих событий, могу удостоверить, что анархисты содержали ее в полнейшем порядке...

Одна из комнат, однако, оказалась запертой. При «взятии» ее произошла свалка, во время которой был убит анархист Аснин и ранен кронштадтский матрос Железняков. Относительно смерти Аснина существуют две версии: версия властей и их сторонников гласит, что Аснин застрелился, и в запертой комнате солдаты нашли его труп; версия анархистов, очевидцев с Выборгской стороны и совет-

ской оппозиции, гласит, что Аснина убили озверевшие солдаты — выстрелом в спину или в затылок. Не помню, была ли окончательно установлена истина.

Снаряжая экспедицию, наша сильная и авторитетная коалиционная власть была совсем не прочь прикрыться именем Исп. Комитета. Министр юстиции звонил в Таврический дворец по телефону, предупреждая о предпринимаемом шаге и косвенно прося его санкции. Дежурные члены Исп. Комитета ответили, что официально они высказаться не уполномочены, а лично полагают, что власть могла бы и сама решить, что ей надлежит делать и чего ей делать не следует...

Теперь, после экспедиции, министр и прокурор снова звонят в Исп. Комитет, прося его немедленно отправить на дачу Дурново свою собственную следственную комиссию. Такая комиссия действительно была создана.

Беспокойство властей, исполнивших свои естественные функции, но все же бывших в положении напроказивших школьников, было довольно понятно. Они сознавали, что ночная экспедиция им не пройдет даром. И действительно...

Труп Аснина был вынесен из дачи и положен посреди двора. С раннего утра туда стали стекаться группы рабочих. Прибывший официальный следователь пытался увезти тело — для вскрытия, в военно-медицинскую академию. Но этого ему не позволили. Рабочие потребовали, чтобы вскрытие состоялось тут же в их присутствии.

Волнение снова стало охватывать всю Выборгскую Сторону. Начались частичные забастовки. В те самые часы, когда на Невском мещанство ликовало по поводу наступления, в рабочих районах

широкой рекой разливались новые волны ненависти и гнева против правительства 18 июня. Положение снова стало тревожным... И С'езду, в торжественный момент возобновления бойни на внешнем фронте, пришлось снова взяться за свои функции «департамента полиции» — на фронте внутреннем.

В том же самом заседании, где министры-социалисты с хором мамелюков прославляли наступление, пришлось обсуждать новые события на даче Дурново. Официальным оратором выступил, конечно, комиссар правительства по делам Совета. Церетели говорил, конечно, о «непоправимом ударе революции», который наносят ей анархистские выступления — особенно опасные теперь, в критический момент перелома на фронте. В этом духе была принята и резолюция.

Но резолюция ничего изменить не могла, а прения были не интересны. Интересно было только выступление перед С'ездом рабочей делегации: рабочие с петербургских заводов, разных партий, явились высказать свое отношение к ночным событиям и дефилировали на трибуне один за другим. Бесхитростно и коряво — они горько упрекали власть за разгром дачи, за бессмысленное убийство; одни возмущались, другие смеялись над грандиозной военной экспедицией, снаряженной против кучки людей, которые никогда не пролили ни капли крови и не пролили ее даже теперь, защищаясь от солдатского разгрома. Один из рабочих вспоминал мое недавнее мирное посещение страшной дачи, как свидетельство того, что для военных действий на внутреннем фронте не было никаких причин.

С'езд молча и мрачно слушал. Может быть, рабочие были не правы. Но они — все в один голос,

без различия партий — были живым свидетельством того, что между рабочей столицей и С'ездом лежит непроходимая пропасть, что говорят они на разных языках. Невозможно было не видеть этого.

А на другой день, опять-таки после наступленских восторгов, та же картина развернулась в петербургском совете. Говорило, против обыкновения, довольно много рядовых членов. Опять рабочие выступали против коалиционного большинства. Тут был уже сделан доклад от имени следственной комиссии Исп. Комитета. От ее имени выступал меньшевик-интернационалист Астров. Доклад был неблагоприятен для звездной палаты. Председатель Чхеидзе поэтому волновался и вел себя более, чем сомнительно. В общем — несмотря на принятие той же нравоучительной и осуждающей резолюции, победа министериальных сфер была проблематичной, а пожалуй и пирровой. Церетели, как никогда, прерывали неистовым шумом, свистом, криками возмущения. А большинство не составило и двух третей, вместо былых четырех пятых или пяти шестых. Главное же — реакция рабочих масс была явно противоположна «линии» звездной палаты... Рабочая столица кипела.

* * *

Всем этим еще не кончились судебно-полицейские обязанности С'езда... В Старом Петергофе, где было расположено много войск, юнкера и подобные им элементы устроили манифестацию по поводу наступления. Узнав о ней, батальон 3-го запасного полка вышел с оружием из казарм, чтобы

ее разогнать. Среди петергофского гарнизона уже господствовали большевистские настроения, и большевики имели большинство в местном совете. Отряды юнкеров и большевиков встретились. Произошла кровавая свалка. Человек десять было убито, многие ранены, сброшены с моста, избиты кулаками, ногами, камнями... С'езд снова снарядил и выслушал следственную комиссию, прервав свою «органическую работу». Все эти «следственные комиссии», разумеется, были совершенно бесплодны. Но какая же, при всех этих условиях, была «органическая работа»!

Наконец, перед закрытием С'езда, кадетский корпус облетело еще одно потрясающее известие. Для устранения каких-то эксцессов или «простого» неповиновения в одном из корпусов северо-западного фронта — С'езд в эти дни послал туда советскую экспедицию во главе с Н. Д. Соколовым. Там, близ окопов, на митинге в 10-й армии, между делегатами и солдатами какого-то полка завязался спор. В ответ на убеждения не нарушать дисциплины, солдаты набросились на делегацию и зверски избили ее... Об этом докладывал в одном из последних заседаний С'езда участник делегации Вербо. А глава ее, виновник инцидента, одна из привлекательнейших личностей революции, Н. Д. Соколов, лежал в это время в больнице, не приходя в сознание несколько дней... Долго, долго, месяца три после этого он носил белую повязку — «чалму» — на голове. Так, с обликом правоверного, прибывшего из Мекки, помнят его в революции десятки и сотни тысяч людей.

Известие об этом избиении было потрясающим. «Правда» посвятила ему громовую, негодующую ста-

тью. Но странно! На лицах многих рыцарей звездной палаты я констатировал явный оттенок злорадства: отличный повод прижать большевиков, с их разлагающей агитацией... С'езд снова снарядил следственную комиссию. Чем богат, тем и рад. Смешно — но что же делать?

Об'явить прямо и недвусмысленно, ради охраны «порядка», военную, то-есть буржуазную диктатуру? Этого С'езд не мог — по своей «социалистической», то-есть промежуточной, мелкобуржуазной природе. Да теперь это было и немыслимо по соотношению сил. Стать на путь революционного проведения непреложной программы революции, чтобы догнать ее развитие и идти с ней в ногу? Этого С'езд тоже не мог — тоже по своей мелкобуржуазной природе...

Все эти эксцессы, отрывавшие кадетский корпус от «органической работы», были признаками несомненного вулканического брожения, грядущих геологических сдвигов. Оставалось, в бессилии, просто отмечать их, регистрировать, считать, как звезды. Но и этого С'езд не мог: он их не видел — по своей слепоте.

* * *

Столица кипела. После роспуска С'езда 24-го числа, рабочие с обостренным вниманием следили за тем, как Церетели и Чхеидзе, вопреки прямому постановлению С'езда, в угоду плутократии, обуздывали Финляндию. Они не могли также не реагировать живо, остро, болезненно — на цитированное воззвание Скобелева о «самоограничении», от 28-го числа, но самым острым и больным пунктом и для

рабочих, и для солдат, было, конечно, продолжающееся бестолковое наступление — вместо политики мира. Настроение масс, воля к решительным действиям нарастали с каждым днем. Агитации против коалиции в столице уже не требовалось...

Повсюду, во всех углах, в Совете, в Мариинском дворце, в обывательских квартирах, на площадях и бульварах, в казармах и на заводах — говорили о каких-то выступлениях, ожидаемых не нынче-завтра. Воздух столицы был насыщен этими разговорами. Никто не знал толком, кто именно, как и куда будет «выступать». Но город чувствовал себя накануне какого-то взрыва.

Даже эсеровское «Дело Народа», где Чернов ныне ратовал за наступление, видело, что в столице неблагополучно. Оно констатировало всеобщее тревожное настроение и спрашивало: «что делать?» Что, в самом деле, делать?.. «Дело народа» придумало вот что[1]): «надо иметь смелость сказать массам прямо, что молочные реки с небес на землю не сваливаются, что кисельных берегов кисельными действиями не завоюешь, нужна упорная, планомерная организованная борьба для утверждения лозунгов революции, нужно единение, а не развал, нужны сплоченность, взаимное доверие, а не разброд и явочные импровизации, нужны спокойная уверенность в правоте своего дела и твердая воля к воле, а не шатание, революционный импрессионизм и истерика».

М-да!.. Вот что придумал министр Чернов в «тревожном настроении». Но, в самом деле, что же делать-то? Как же спасать революцию? «Тре-

---

[1]) Передовица № 82.

вожное настроение» дошло даже до самой звездной палаты. Даже и она увидела, что надо что-то сделать. Но что может сделать слепой перед пропастью, когда уже слышны раскаты бури? Звездная палата решила, что ей пора начать серьезную агитацию среди давно заброшенных масс. Пожалуй, даже не мешает пустить в ход тяжелую артиллерию, даже самую тяжелую.

На Путиловский завод, это самое тяжелое орудие рабочего Петербурга, звездная палата решила отправить самого Чхеидзе. Путиловский завод, перед неудавшимся большевистским выступлением 10-го июня, проявил себя как относительно надежный; а Чхеидзе — это самая святая икона Таврического дворца — не творившая чудес, но и никому не насолившая, а просто председательствовавшая. Дело обещало быть хорошим прецедентом. Чхеидзе поехал и выступал на митинге. Однако, его нещадно освистали. Положим, ему пришлось иметь дело с Троцким. Такое единоборство было явно не под силу старику. Но дело было явно не в «личностях». Да и освистали-то Чхеидзе ведь не во время речи Троцкого.

Ничего не выходило из агитации, из хождения в массы. Но что же делать? Что делать? Как спасаться? Какие-то «выступления» уже говорят начинаются то там, то сям...

Вот в Гренадерский полк явились делегаты от 1-го пулеметного. Они явились узнать, каково настроение гренадеров. Пулеметчики, видите ли, не нынче-завтра выступят против Вр. Правительства. Присоединятся ли гренадеры к ним? Выступить пулеметчики формально решили на общем собрании. Полки Московский и Павловский уже к ним при-

соединились. Теперь делегаты разосланы и во все прочие полки. Вр. Правительство необходимо свергнуть немедленно... Гренадерский полк, с своей стороны, с этим вполне согласился и решил присоединиться к пулеметчикам.

Налицо оказался и представитель путиловского завода. Он сообщил, что 40 тысяч путиловцев твердо решили выступить. И назначили время: в четверг в 8 часов утра. С Советом, разумеется, нечего считаться. Необходимо, чтобы сам народ восстал и передал власть, кому он хочет.

Такие сведения печатались в то время в газетах. Верхи, обыватели, политические межеумки, фланеры на Невском, интеллигенты в редакциях — спрашивали в панике и тоске: что же делать? что делать? как спасаться?

Исп. Комитет обратился к гарнизону с воззванием. Он «решительно осуждает призывы пулеметчиков, действующих вразрез со Всеросс. С'ездом и петроградским советом». Пулеметчики «наносят удар в спину армий, героически борющихся на фронте за торжество революции, сеющей всеобщий мир и благо народа». Исп. Комитет «призывает полки не слушать никаких призывов отдельных групп или полков, сохранять спокойствие и быть готовыми выступить по первому требованию Вр. Правительства на защиту свободы от грозящей анархии». Необходимо еще сообщать о призывах к выступлениям в Исп. Комитет по телефонам таким-то, а также проверять документы приходящих лиц.

М-да! Вот что придумал Исп. Комитет... Больше ничего никто не придумал.

* * *

В воскресенье 2-го июля, в роскошный солнечный день, я провел утро в дружеской беседе и в прогулке с Луначарским, который ночевал у нас. В это время я уже переселился из «Летописи» к себе на Карповку. В этот день, утром большевики устраивали митинг для своего 1-го пулеметного полка в огромном зале Народного Дома. Луначарскому было необходимо выступить вместе с Троцким и другими: этому митингу большевистские власти придавали большое значение.

Луначарский отправился в Народный Дом; но после выступления вернулся, и мы отправились гулять. Мы любовались красотами Петербурга, а потом втроем — Луначарский, я и моя жена — отправились обедать в знаменитую «Вену». Ресторан литературной богемы ныне кишел политиками более или менее демократического лагеря. Я немного поговорил с Черновым, который был со мной ныне очень холоден.

В этот день должна была состояться общегородская (с окрестностями) конференция партии «междурайонцев». Луначарский, один из лидеров группы, придавал конференции большое значение и давно спешил туда, но уже сильно запаздывал. После обеда мы пешком отправились с Малой Морской на конференцию, куда-то вглубь Садовой. Луначарский без умолку пропагандировал меня: жена моя была уже спропагандирована...

В порядке дня конференции стоял, между прочим, вопрос об об'единении «междурайонцев» с партией Ленина. Он был предрешен в положительном смысле... Луначарский и меня звал на конференцию — в качестве гостя; он не сомневался, что рано или поздно я буду с большевиками; но было неизвестно, пустят ли меня.

Меня, после предварительных переговоров Луначарского, охотно пустили в небольшой зал, где помещалось человек пятьдесят делегатов и примерно столько же гостей. Главным действующим лицом, сидевшим около неизвестного председателя, был Урицкий. Среди делегатов находился и Троцкий, который с большим радушием усадил меня рядом с собой. В числе гостей был и Стеклов. Но большинство были неизвестные мне рабочие и солдаты. Было несомненно, что тут — несмотря на миниатюрность конференции — представлены подлинные рабоче-солдатские массы.

Мы пришли во время «докладов с мест». Они слушались с интересом и были действительно интересны. Работа велась лихорадочно, и ее успехи осязались всеми. Мешало одно: «чем вы отличаетесь от большевиков и почему вы не с ними?» Это твердили все докладчики, кончая призывами влиться в большевистское море... Я хорошо помню доклад представителя красносельского гарнизона. Он говорил, что влияние их группы там монопольно; а 176-й полк в полном составе находится в полном распоряжении центрального органа группы — для любых целей, для активных выступлений в любой момент. Доклад был ярок, изобиловал интересными подробностями, был важен по выводам и заслуживал полного доверия.

Затем начались принципиальные прения. Кажется, тут же при мне был решен вопрос об об'единении с большевиками. Но особенно запомнились мне прения о новой программе партии. Здесь взоры обратились, конечно, на Троцкого...

К этому времени Ленин составил свой проект партийной программы большевиков. Этот проект, ка-

жется, еще не был тогда распубликован, а ходил в виде оттиска брошюры по немногим рукам. В нем была детально разработана политическая часть: вопрос о парламентаризме, о советах, о магистратуре, о вознаграждении чиновников и специалистов. Здесь были собраны все элементы утопического строения государства, которые потом яростно защищались Лениным в брошюре «Государство и революция», а впоследствии им же — вскоре после горьких опытов практики, — были выброшены за борт, как детские заблуждения и негодный хлам. Это было очень знаменательно. А еще более знаменательно было то, что наряду с этой разработкой политической части было уделено самое ничтожное внимание экономической программе. Ее почти не было. Вместо нее, видимо, просто предполагалось «непосредственное творчество снизу» и «грабеж награбленного».

Я диву дался, когда на конференции «междурайонцев» дело дошло до партийной программы: Троцкий повторял Ленина. Он взял за основу ленинский проект и вносил в него некоторые коррективы. Но опять-таки все внимание его было устремлено на формы диктатуры пролетариата и примыкающих к нему слоев. И докладчик, и немногочисленные ораторы, в возникших прениях, при молчаливых слушателях, рабочих и солдатах, — игнорировали экономическую программу и не уделили ее разработке никакого труда. Непонятно! Троцкий, Луначарский, Урицкий, правда, не экономисты. Но они образованные, передовые в Европе социалисты. Почему же им не ясно, что социализм есть прежде всего экономическая система, и что без строго разработанной программы экономических предприя-

тий ничего не может выйти из диктатуры пролетариата? Именно с их точки зрения партийная программа необходимо должна была бы включать в себя детальную, чисто деловую, вполне конкретную скалу экономических преобразований. Ибо их программа была программой ликвидации капитализма.

Я вспомнил. Несколько дней тому назад я, из любопытства, пошел в зал Морского Корпуса, где Троцкий читал реферат об итогах Всеросс. Советского С'езда. Зал был переполнен тысячами рабочих и солдат. Успех оратора, говорившего часа три, был огромный. Но я испытывал удручающее впечатление. В докладе не было ничего кроме мелкой демагогии и максималистских призывов — без малейших пропагандистских попыток наметить реальную программу. Главным трюком был влагаемый в уста советских лидеров приказ: «подождите до Учред. Собрания!». Троцкий повторял это, перечисляя насущные нужды революции, рабочих, солдат и крестьян, — и вызывал восторг аудитории..

Я вспомнил об этом сейчас, сидя на конференции. Допустим там, на митинге, это игнорирование реальных экономических задач было терпимо. Но здесь, когда вырабатывается диспозиция для руководства самого революционного штаба?.. Меня, гостя, члена другой партии, подмывало попросить слова — по крайней мере, для недоуменных вопросов. Может быть, и дали бы: теоретиков налицо не было, и прения были вялы. Но выступать мне все же было неуместно, я стеснялся. Кстати сказать, ведь Ленин и Троцкий игнорировали именно те насущные проблемы, с которыми они вплотную столкнулись через несколько месяцев в качестве государственной

власти. То же, что было в центре их внимания, политическая система, им ни на что не пригодилась. Все свои построения в этой области они немедленно выкинули вон.

Мне пора была уходить. В Таврическом дворце была назначена какая-то комиссия. Я один вышел на улицу — со странными чувствами, искренне не понимая, как мыслят люди. Усталый от предыдущих хождений, я побрел к далекому дворцу революции.

* * *

В это самое время в Мариинском дворце происходили важные события... Я упоминал о том, как в результате серьезной сепаратистской шумихи на Украине, Вр. Правительство отправило туда увещательную экспедицию из двух министров, Церетели и Терещенко. Два эти соратника застали в Киеве третьего — Керенского. И все они вместе, после трудных переговоров, выработали некое «соглашение» с местными бесшабашными интеллигентами, верховодившими «украинской радой». В силу этого соглашения Вр. Правительство должно было издать декрет или, по крайней мере, обнародовать декларацию, где — до Учр. Собрания — предрешалась украинская областная автономия и санкционировался особый орган по делам Украины: через этот орган должны были предварительно проходить все законы и распоряжения Петербурга, касающиеся украинских губерний... Керенский, Терещенко и Церетели желали утвердить этот статус в экстренном порядке и вызвали для этого все правительство к прямому проводу на телеграф. Но

кадеты запротестовали: вопрос слишком сложен. Пусть делегация выезжает в Петербург для основательного обсуждения.

Утром 2-го июля три министра вернулись из Киева, а днем в квартире премьера Львова началось жаркое дело. Четыре министра-капиталиста из кадетской партии — Мануилов, Шингарев, Шаховской и Кокошкин — боролись стойко, но безуспешно. Церетели и Терещенко заявили, что правительство уже стоит перед совершившимся фактом, что их соглашение окончательно, и никакие поправки в выработанный текст декларации — невозможны. Кадеты требовали существенных поправок. Но поправки были отвергнуты большинством голосов шести министров-социалистов и всех остальных голосов против «народной свободы». Этого кадеты не выдержали и заявили о своей отставке.

Коалиция «всех живых сил», обреченная на немедленный слом об'ективным ходом событий, — развалилась и от внутренних давлений, не выжив двух месяцев... Троцкий, в своей интересной книжке об «октябрьской революции», высказывается в том смысле, что для кадетских министров легализация украинского сепаратизма была только предлогом разделаться с нелепой коалицией и изменить кон'юнктуру. Полагаю, что это не так. Конечно, украинское дело было **последней каплей**, переполнившей чашу долготерпения истинно-государственных людей. Но эта капля имела особый вес, была особенно тяжелой. Украинское дело ни в каком случае не было только предлогом, но было действительной непосредственной причиной взрыва коалиции. Ведь идея «великой России» составляла душу всего кадетского национал-либерализма. А

украинская «областная автономия» была решительно несовместима с ней. Был ли резон для кадетов именно в данный момент покидать курульные кресла — об этом во всяком случае можно спорить. Но что кадетские лидеры, профессора и интеллигенты, не могли выдержать давления революции прежде всего с этой стороны, что они не могли претерпеть, не в пример многому иному, «нарушения национального единства» — это было совершенно в порядке вещей. Стоит отметить, какое место этому «национально-государственному» вопросу, среди всего контекста событий, отводит Милюков в своей «Истории»...

* * *

Коалиция «живых сил», эта первая коалиция против революции, немного не дождавшись, пока ее сметет взрыв народного гнева, лопнула от внутреннего кризиса. Она продержалась ровно столько же, сколько и первый кабинет Гучкова-Милюкова...

Ее гибель создавала новую кон'юнктуру. Как два месяца назад уход Гучкова заставил силой советское большинство поставить вопрос о новой власти, так было и теперь. Церетели с компанией тогда, после апрельских дней, ничего не желал знать кроме поддержки живых сил Милюкова и Гучкова. Потом Гучков и Милюков в какую-нибудь неделю перевоплотились в «безответственную буржуазию, отошедшую от революции». Свое полное доверие и поддержку советские лидеры перенесли на их ближайших единомышленников и друзей. Вместе с Терещенкой и Львовым, Шингарев и Мануилов оставались «живыми силами», крайне полезными для

революции. Сбить звездную палату с этой глубокомысленной позиции были бессильны и самоочевидные факты, и испытанные опасности. Вопрос о власти был способен принимать только одну форму в этих странных головах: полное доверие и поддержка коалиции.

Теперь волей-неволей вопрос приходилось поставить в более широком об'еме. Правда, ни из чего не следовало, что при его решении советское большинство проявит хоть каплю здравого смысла. Но была надежда, что открытый ныне вопрос будет решаться не одними светлыми головами звездной палаты, не одними руками мамелюков. Должно же в этом решении сыграть надлежащую роль «общественное мнение» столицы. Должна же оказать влияние вся кон'юнктура, сложившаяся после наступления. Должны же непреложные обстоятельства, как и в конце апреля, оказаться сильнее жалких теорий!...

Разумеется, существует единственное здравое решение вопроса. Создание чисто демократической власти, установление диктатуры демократии. Взамен коалиции мелкой и крупной буржуазии против пролетариата и революции — должна быть создана новая коалиция: коалиция советских партий, пролетариата и крестьянства — против капитала и империализма. Других решений не было. Но это решение могло быть дано только единым фронтом, только единой волей в Совете.

Вся власть была давно в его руках. Ему давно принадлежала вся наличная реальная сила в государстве. Диктатура советской демократии могла быть установлена — формально — простым провозглашением правительства советского блока.

Переворот мог быть совершен с полнейшей легкостью, без всякого восстания, без реального сопротивления, без пролития капли крови. А фактически диктатура демократии создавалась простой реализацией наличной власти и осуществлением программы мира, хлеба и земли. Здесь путь был ясен и, казалось, гладок. Но все это было так при условии единого советского фронта, при выступлении Совета за переворот.

Так или иначе вопрос был поставлен во всем об'еме — внутренним развалом коалиции. Но сейчас, в воскресенье 2 июля, когда в Мариинском дворце шли драматические об'яснения министров, а я брел с «междурайонной» конференции в Таврический дворец, — в столице об этом ничего не знали. Только поздно вечером город стал облетать по телефону слух о выходе кадетов из коалиционного правительства...

Сейчас город попрежнему был насыщен другими слухами — о разных «выступлениях» большевиков, рабочих и полков — против правительства и Совета. Столица кипела, стихия поднималась все выше и выше. Лозунгом бурливших масс была та же диктатура демократии; это была — «вся власть Советам». Казалось бы, события с разных сторон бьют в одну и ту же точку. Казалось бы, что движение масс, выражая «общественное мнение» рабоче-солдатской столицы, послужит отличным фоном, благоприятным фактором правильного решения вопроса о власти. Но это было не так.

Стихия поднималась безудержная, безрассудная, неосмысленная. А те, кто были на ее гребне, провозглашая все те же лозунги «советской власти», подрывали в корне возможность правильного раз-

решения кризиса. Ибо они действовали заведомо против собственных лозунгов, против Совета, а не единым советским фронтом против буржуазии. Они имели целью передать власть не Совету, в лице блока советских партий, а «инициативному меньшинству», в лице одной только партии большевиков; и они видели средство переворота не в выступлении Совета, а в восстании против него столичных рабоче-солдатских масс.

При таких условиях движение петербургских «низов» не было благоприятным фактором, а бесконечно запутывало положение. «Общественное мнение» не помогало решению кризиса. Вздымавшиеся волны народной стихии теперь не могли сослужить ту службу революции, какую они сослужили в апрельские дни. Тогда стихиями повелевал Совет. Теперь они вышли из всякого повиновения. А если кто и сохранял над ними небольшую власть, то это были большевики, которые путали все карты, направляя стихии во имя Совета против него.

Но власть большевиков над стихиями была невелика. В недрах столицы, еще невидимо для постороннего взора, буря разыгралась безудержно. Десятки и сотни тысяч рабочих действительно рвались к какому-то неизбежному «выступлению». И удержать их было нельзя... Это «выступление» грозило быть роковым. Именно так я оценивал его тогда — по всей совокупности обстоятельств. Именно так я оцениваю его и теперь, через три года, смотря sub specie aeternitatis на его последствия.

Но одинаково тогда и теперь, независимо от политических результатов, нельзя было смотреть иначе как с восхищением на это изумительное движение

народных масс. Нельзя было, считая его гибельным, не восторгаться его гигантским стихийным размахом.

Десятки и сотни тысяч пролетарских сердец поистине горели единой страстью-ненавистью-любовью и жаждой огромного, непонятного подвига. Они рвались тут же, своими руками, разметать все препятствия, раздавить всех врагов и устроить свою судьбу, судьбу своего класса, своей страны — по своей воле. Но как? Какими способами? Какую именно судьбу? Этого не знала стихия. Куда, зачем собирался «выступить» каждый из этих сорока тысяч путиловцев, назначивших выступление в четверг на 8 часов утра? Что будет делать каждый из солдат при выступлении всех этих «присоединившихся» полков? Этого они не знали, как не знали они и не спрашивали себя, что выйдет из всего этого, что ожидает их на другой день. Но они рвались, они горели, они *должны* были выступить. Так судил рок истории, повелевавший стихиями. Это было грандиозное зрелище. Только слепцы могли не чувствовать его величия.

А что из этого вышло? Вышел из этого «эпизод», чреватый последствиями, который войдет в историю под именем *июльских дней*.

---

6. ИЮЛЬСКИЕ ДНИ

Понедельник, 3-е. — В Ц. И. К. — Позиция мартовцев среди кризиса. — План звездной палаты. — Сомнения мужичков. — Заседание. — Первые тревожные вести с заводов. — Первый пулеметный «выступил». — Ц. И. К. в бездействии. — «Решительные меры» Мариинского дворца. — Снова воззвание из Таврического. — Заседание рабочей секции. — Известия о восстании. — Каменев дает ему санкцию от имени большевиков. — В городе. — Стихия и планомерность. — Картинки. — Иммунитет министров-капиталистов. — Первые жертвы. — «Адский замысел» и смехотворный провал звездной палаты. — Восстание играет на руку коалиции. — Ц. И. К. снова по заводам и казармам. — Я в Преображенском полку. — В Ц. И. К. большевиков ночью. — Большевистская политика и стратегия.

Вторник, 4-е июля. — Февральские дни воскресли. — Кронштадтцы, Ленин и Луначарский. — На улицах. — Свалки, погромы, обыски, грабежи. — Явные и тайные дела Церетели. — Львов о разрешении кризиса. — Дан среди преторианцев. — Волны разливаются. — «Выступают» и наступают со всех сторон. — Подошли кронштадтцы. — Арест Чернова. — Выступление Троцкого. — Раскольников и Рошаль. — Переворот или манифестация. — Подошел 176-й полк. — Дан «разлагает» мятежников. — Подошли путиловцы. — Санкюлот с винтовкой на трибуне. — Парламентские прения. — Дело коалиции выиграно. — Движение стихает к вечеру. — В буфете Ц. И. К. — Сенсационное разоблачение: Ленин — германский агент. — Заседание продолжается. — В дело вступается фронт. — Разгром «Правды». — Поворот стихии. — «Классическая» сцена контр-революции в Ц. И. К. — Нелепое противоречие, неслыханная ситуация. — Заключение: резолюция о кризисе. — Гримаса большевиков.

Среда, 5-е июля. — «Новое дело Дрейфуса.» — Вызов войск с фронта для усмирения Петербурга. — Контр-революция. — Среди мартовцев. — Мы боремся упорно, но безуспешно. — Апелляция Зиновьева по делу Ленина. — Доблесть министра Переверзева. — Черная стихия. — Кронштадтцы и Петропавловская крепость. — Экскурсия Каменева и Либера. — Массовая реакция. — «Диктаторская комиссия». — Судилище над кронштадтцами. — Либер в роли Даву. — Картинки. — Katzenjammer.

Четверг, 6-е июля. — Печать. — Фронтовые войска пришли. — Прокламация их командира. — Их настроение. — Взятие Петропавловки. — Настроение рабочих, солдат, мещанства. — «Идейный большевик». — Разгул реакции. — Имя Совета в опасности. — Борьба за армию снова в порядке дня. — Мамелюки спохватились. — Разоружение бунтовщиков. — В Мариинском дворце. — Приказ об аресте Ленина. — Его бегство. — Как понять и оценить его. — Ночное бдение звездной палаты. — Правая и левая. — Муж перепуганной жены.

Пятница, 7-е июля. — Меньшевистские лидеры тянут влево. — Во Вр. Правительстве. — Кампания против Львова. — Дан хочет задержать реакцию. — Керенский хочет быть премьером. — Львов изнасилован и ушел в отставку. — Его прощальное письмо — Пять политиканов бросаются портфелями. — Звездная палата отменяет решение Ц. И. К. — Обстрел фронтовых войск. — Упорство провокаторов. — Критический момент. — Гарнизон остался верным Совету. — Новая коалиция. — Удручающая картина. — Поражение на фронте. — Дело балтийского флота. — Первый шаг Керенского-премьера. — Тюрьмы наполняются. — Церетели берет на себя ответственность за это. — Ц. И. К. «одобряет». — Декларация новой коалиции 8-е июля. — На ночлеге. — Рассказ Луначарского. — Где истина. — Революция надорвана и далеко отброшена назад.

Понедельник, 3-е июля.

На следующий день, в понедельник, 3-го июля, я с утра явился в Таврический дворец. Несмотря на сравнительно ранний час, я уже застал там довольно большое оживление. В аппартаментах Исп. Комитета народа собралось едва ли не больше, чем за все лето.

Заседания не было, но группы мамелюков и оппозиции казались стряхнувшими сонную одурь и возбужденно совещались там и сям.

Среди этих групп я заметил и своих товарищей по фракции, меньшевиков-интернационалистов, во главе с Мартовым. Они не только собрались в этот ранний час, но уже успели устроить летучее заседание и даже принять важную политическую резолюцию.

Узнав накануне о выходе кадетов из коалиции, Мартов заблаговременно заготовил ее. Другие же члены фракции против нее не спорили. Мартов был у нас, если не самым *правым*, то вероятно наименее решительным. Резолюция же касалась *проблемы власти* и признавала *необходимым немедленное создание чисто демократического правительства, из одних «советских» партий*...

Только теперь, после «самопроизвольного» развала коалиции меньшевики-интернационалисты решились сказать это слово. Только теперь, через месяц после 3-го июня, после открытия Всероссийского Советского С'езда, Мартов счел возможным легализировать этот лозунг для своей группы. Он не опоздал — против обыкновения — только потому, что события с этого дня приняли совсем особый оборот.

С этого дня началась знаменитая июльская неделя, один из драматичнейших эпизодов революции. Его история не только очень важна и интересна, но и очень сложна. И не только сложна, но и очень темна, крайне запутана. По обыкновению, я не беру на себя ни малейшего обязательства ее распутать, — не только правильно истолковать,

но и дать истинную версию событий. Я буду писать, как я лично помню и представляю их...

Но чтобы помочь распутать июльские дни будущим историкам, мне, с своей стороны, следовало бы описать их с максимальной подробностью, час за часом, подобно дням мартовского переворота. Я не смогу, однако, сделать это. Дни ликвидации царизма я описывал через полтора года, а теперь — от июльской недели прошло уже больше трех лет. Если я и помнил эти дни раньше подробно и достоверно, то сейчас многое забыл и решительно не могу восстановить детали. Не могу даже ответить себе и на многие вопросы значительной важности. Приходится отказаться от надлежащей полноты. Приходится не ручаться за полную достоверность. Но — сделаю, что могу.

Кажется, тогда же, утром, было об'явлено, что заседание Ц. И. К. состоится после полудня, когда министры-социалисты покончат свои дела в Мариинском дворце и в звездной палате. И, кажется, говорили, что звездная палата уже имеет готовый план решения кризиса: она занималась им в течение минувшей ночи. И из сфер, близких к звездам, до самой большевистской преисподней уже просачивались слухи о том, что это за план измыслил хитроумный Церетели со своими друзьями.

В качестве плана звездной палаты — он не представлял собой ничего неожиданного: он обладал всеми свойствами, присущими этому почтенному учреждению. Он был, по мелкобуржуазному, дрябл и половинчат, он был, в своей утопичности, упрямо-туп и был глубоко реакционен.

Коалиционный кабинет рухнул — в силу внутренней несостоятельности. «Живые силы страны», в

лице всей организованной буржуазии, воплощенной в кадетской партии, уходили от революции уже формально, официально и открыто — в стан ее врагов. Но ведь революция у нас была «буржуазная». Это наверное знала звездная палата, и кроме этого она не знала ничего на свете. Ее особая логика толкала ее глубокомысленных членов к выводу, что буржуазия должна быть у власти. И план звездной палаты мог быть только один: если коалиции нет, так выдумать ее. Если кабинет 5-го мая ныне развалился, так сотряпать новый по его образу и подобию. Если действительная, т. е. организованная буржуазия ушла, оставив в кабинете одиночек, представлявших только самих себя, — так достать во что бы то ни стало ее суррогаты, обманывая и страну, и демократию, и плутократию, и самих себя.

Но сделать все это было не так просто и быстро: желанные министры-капиталисты не валялись на улице. А между тем, в наличной бурной атмосфере, длить междуцарствие было нельзя. В дело могли вступиться массы; междуцарствием могла воспользоваться оппозиция; и кто знает, чем это могло грозить принципу коалиции? Не надо ведь забывать о том, что Коновалов ушел из министерства тому назад полтора месяца, а заместитель ему не нашелся до сих пор.

Нельзя оставлять положение неопределенным. Если нет возможности тут же раздобыть министров, надо создать какой-либо иной, но более или менее твердый временный статус. Во всяком случае надо действовать решительно, выиграть время, взять инициативу в свои руки. И вот хитроумный Церетели придумал следующее.

Решение вопроса о власти надлежит об'явить неподведомственным наличному составу Ц. И. К., — когда целая треть его членов, избранных С'ездом, находится в провинции. Лойяльность, конституционность и демократизм требуют, чтобы вопрос о составе будущего правительства, о замещении выбывших его членов — был решен пленумом Ц. И. К. Устроить заседание пленума можно было через две-три недели. А до тех пор звездная палата проектировала — не замещать совсем выбывших министров-кадетов; вместо них назначить для «органической работы» надлежащих «управляющих министерствами»; а политический кабинет оставить в его наличном виде, без всякого пополнения, из оставшихся 11 министров (даже с «социалистическим» большинством в один голос!).

Слухи об этом плане руководящей кучки облетели с утра весь Таврический дворец и горячо обсуждались депутатами. Оппозиция преисполнялась гневом и презрением. Мамелюки тупо оборонялись и предлагали сначала послушать лидеров, которые пока еще работали где-то за кулисами...

«План» был на самом деле достоин гнева и презрения. Разумеется, по существу своему, он был подвохом и предрешал новую коалицию, как дважды два. Правда, об'ективно вопрос решался при ближайшем участии внешних сил, народных масс, которые могли повернуть дело по своему. Но — хорошо зная эти силы, звездная палата в них все-таки не верила. В пределах же советско-парламентских махинаций ее игра была почти беспроигрышной.

Вся трудность состояла только в том, что среди большинства были колеблющиеся — под влиянием

огромного движения низов; особенно в среде правых и темных масс Крестьянского Исп. Комитета многие не могли взять в толк, зачем же собственно так гоняться за ненавистной рабочим властью буржуазии; не усваивая «марксистских» теорий Дана и Церетели, они были совсем не прочь взять власть целиком в свои крестьянские руки и самолично обуздать анархию. Ведь, как никак, буржуазия явно не хочет дать мужикам землю без выкупа: в аграрном деле не было сделано ничего — кроме саботажа. Совсем не плохо взять всю власть, чтобы взять всю землю. А там мужик и сам отлично станет наводить порядок, прижимать сторонников Вильгельма, сокращать бессмысленные требования рабочих и... бить жидов. Так рассуждали и поговаривали многие из «серой сотни», наводнившей центральные советские органы. Вообще говоря, эти эсеровские мужички составляли надежнейший фундамент звездной палаты. Но, в частности, в деле о составе власти, «марксистским» лидерам надо было с ними соблюдать осторожность... В настроении этих мужичков и в колебаниях более левых элементов советского большинства состояла для звездной палаты вся трудность.

Но именно для ее преодоления и нужен был вышеизложенный план хитроумного Церетели. Он был достоин гнева, ибо был контр-революционен. Он был достоин презрения, ибо был построен на наивно-циничном обмане. Ведь кто же не знал и не помнил, что два месяца тому назад вопрос о власти решался жалким суррогатом советского представительства, петербургским Исп. Комитетом, — и никому не пришло в голову толковать о правомочиях! Кто же не понимал, вместе с тем, что этот фор-

мальный отвод есть фактический путь к реставрации ненавистного коалиционного правительства?

Но все же игра звездной палаты была почти беспроигрышной. За две-три недели до пленума — колеблющихся (правых и левых) можно было отлично обработать. За это время можно было, по такой нужде, заведомо подыскать каких ни на есть министров-капиталистов. И можно было собравшийся пленум поставить перед вполне определившимся положением, перед совершившимся фактом.

Все это я говорю — в пределах советско-парламентских комбинаций. Тут игра была правильной. Яростный бой, который должна была дать советская оппозиция, должен был оказаться безрезультатным — на почве, подготовленной звездною палатой. Вопрос был только в том, удастся ли решить проблему власти одними парламентскими комбинациями? Но вопрос этот был уже вне горизонтов Церетели...

Однако, раньше чем решать проблему власти, предстояло еще решить, принимать ли план звездной палаты, принимать ли ее способ решения проблемы власти: соглашаться ли на отсрочку до пленума? Яростный бой надлежало дать прежде всего по этому пункту. И его предстояло дать немедленно... Фракции и группы Ц. И. К. ждали открытия заседания и деятельно готовились к нему.

* * *

Звездная палата появилась около двух часов, когда старый небольшой зал Исп. Комитета был уже полон. Налицо были и члены крестьянского Ц. И. К., — частью с обликом профессоров, частью

семинаристов, частью лавочников. Всего присутствовало человек двести. Гудевший, как улей, зал уже давно отвык от такого оживления. Заседание открылось в начале третьего часа. Слухи о плане звездной палаты немедленно подтвердились вполне. Выступил, разумеется, Церетели. Он сделал немногословный доклад, содержавший всем известные факты, а в заключение — вышеизложенный план: оставить, без пополнения, 11 наличных членов кабинета, назначить управляющих для обезглавленных министерств и отложить все прочие разговоры о власти до приезда из провинции пребывающих там членов Ц. И. К. Все это в виде единой резолюции (хотя и не написанной) звездная палата, — «от имени президиума», — предлагала парламенту «революционной демократии».

Я немедленно потребовал слова к порядку. Предложение Церетели, соединяя воедино два вопроса, не имеющие между собою ничего общего, желает протолкнуть один за счет другого. Два эти вопроса надо решать отдельно. Прежде всего надо решить, правомочны или неправомочны мы, в данном заседании, решать вопрос о власти, — будем мы сейчас решать его или решим отложить. А потом, в зависимости от постановлений по этому пункту, будем обсуждать, какую власть мы создадим — в качестве постоянной или временной.

Помню — напротив меня сидел Чернов, который сочувственно кивал головой и, казалось, совершенно одобрял мой «порядок» работ... Но какова была судьба возникших прений к порядку, я не знаю. К сожалению, — по причине, не имеющей ничего общего с политическим кризисом, — мне пришлось в самом спешном порядке уйти из засе-

дания и примерно на один час покинуть дворец революции.

На этот час мне было нужно достать автомобиль. С болью оторвавшись от — soit dit — «исторического» заседания, возбужденный большим днем и новыми событиями революции, — я лихорадочно хлопотал об автомобиле, чтобы не опоздать по моему делу и вернуться, как можно скорее. Пробегая через соседнюю пустую комнату, я услышал звонок из телефонной будки. Я впопыхах схватил трубку.

— Это Исп. Комитет? — послышался голос, принадлежавший явно рабочему.

— Позовите какого-нибудь члена Исп. Комитета. Поскорее, по важному делу.

— В чем дело? Говорите скорее. Вас слушает член Исп. Комитета.

— Это говорят с завода «Промет» (рабочий, как водилось, произносил: «Промёт»). К нам сейчас пришли несколько человек, рабочие и солдаты. Говорят, все заводы и полки уже выступили против Вр. Правительства, а другие сейчас выходят... Говорят, только наш один завод остался, не выступает... Мы не знаем, в заводском комитете, что нам делать. Вы скажите, какие будут директивы от Исп. Комитета?.. Выступать ли нам или задержать пришедших, как провокаторов?

Я отвечал:

— Исп. Комитет безусловно против выступления. Люди, призывающие на улицу, действуют самовольно, против Совета. О выступлениях заводов и полков в Исп. Комитете ничего неизвестно. Вероятно, это неправда. Пришедшие к вам люди, ссылаясь на другие заводы и полки, хотят этим только вызвать вас на улицу. Не выступайте никуда до распоряжения

Исп. Комитета. Пришедших людей задерживать не надо, но непременно постарайтесь установить их личности, от кого и по чьему приказу они к вам явились. Об'явите им и на заводе, что сейчас Исп. Комитет заседает и обсуждает именно вопрос о власти, о новом правительстве, о передаче всей власти Совету. Через несколько времени позвоните еще.

Я счел необходимым снова на минутку забежать в Исп. Комитет и рассказать там об этом разговоре. Не помню, успел ли я это сделать. Но в заседании я застал полную перемену картины. Политические прения были приостановлены. Без меня успели сообщить, что на улицу уже выступил первый пулеметный полк и сейчас направляется... точно неизвестно куда. Заседание мгновенно переменило весь свой облик. От чинности, приподнятости и живого интереса депутатов не осталось и следа. Я не помню, чтобы сообщенный факт произвел особо сильное впечатление. На физиономиях большинства были скорее гнев, досада и скука: это была старая, довольно привычная за последние недели атмосфера «выступлений», которая было сменилась «высокой политикой», но так некстати восстановилась снова.

Исп. Комитет, по трафарету, знал, что ему делать, и уже поступил по трафарету: он решил сейчас же послать кого-нибудь — перехватить пулеметный полк и убедить его повернуть обратно. Но вопрос в том, кого послать?.. Спеша по своему делу, опаздывая и волнуясь, я все же несколько минут наблюдал, как собрание лениво переговаривалось на этот счет, перебирая кандидатов.

В самом деле, кого же послать? Представителей советского большинства, сторонников или членов

звездной палаты? Но они же ни для кого ни в малейшей степени не убедительны. Ведь их никто не послушает, а пожалуй еще арестуют. Это понимали даже они сами. Убедительны были, конечно, большевики. Но их нельзя послать, — им нельзя доверять: Бог весть, куда Каменев или Шляпников поведут перехваченный полк, — в казармы или к Мариинскому дворцу?.. Называли Стеклова, который недавно был в этом полку и был не прочь поехать снова. Но звездная палата лениво перевела свои взоры со Стеклова на других лиц: этот кандидат, будучи в оппозиции, как будто должен действовать против выступления, хотя бы и без большого авторитета; но все же лучше ему не доверять... В том же положении находилась и группа меньшевиков-интернационалистов.

Кандидата не находили, и при мне так никого и не послали... К выступленской атмосфере привыкли. Мозги отяжелевшей «власти» ворочались медленно и тяжело .— Я уехал, и во время бешеной скачки в автомобиле — в голове, перебивая одно другим, плясали мысли о политическом кризисе и о начавшемся выступлении... Начиналось большое дело!

* * *

По всем данным, я вернулся в Таврический дворец не больше, как через час-полтора, не позже, чем в половине четвертого. Но, насколько помню, я уже не застал заседания Ц. И. К. Впрочем, этих часов, середины дня 3-го июля я решительно не могу восстановить в своей памяти. Перед тем, как написать эти строки, я расспрашивал нескольких

ближайших очевидцев; но и они ничего не помнят, восстанавливая гораздо хуже меня эти знаменательные дни...

Ц. И. К., по моему, уже не заседал около четырех часов дня. И я не знаю, чем он кончил свое краткое заседание: что решил, во-первых, о власти, а во-вторых — о начавшемся «выступлении». Не помню ни заседания «бюро», ни каких-либо комиссий, нарочито созданных. Не могу сказать, что вообще происходило в городе и в Таврическом дворце, что делали наши советские власти...

Что делало в Мариинском дворце так называемое правительство, — это разумеется, совершенно не интересно. Оно было ровно ничего не значащей величиной и беспомощной игрушкой событий. Оно должно было сидеть и ждать, что решат с ним делать советские лидеры или народные массы. Вероятно, оно давало своим бессильным агентам какие-нибудь распоряжения, издавало приказы, «воспрещая» выступления и грозя «решительными мерами». Но все это влияло на события столько же, сколько могли бы повлиять боевые приказы деревянным солдатикам, данные оглушительно на всю детскую трехлетним Бонапартом. Это хорошо понимали не только здравомыслящие люди, но и сама звездная палата: расшибая себе лоб ради этих марионеток, наши лидеры так же игнорировали их в качестве фактора событий, как игнорировал бы Ллойд-Джордж своего достопочтенного короля.

Судя по газетам, около 7 час. вечера вышло воззвание, подписанное двумя бюро — рабоче-солдатским и крестьянским. Вероятно, его было поручено выпустить в конце описанного заседания. И, надо

думать, в этом выразились все действия центрального советского органа в связи с «выступлением». Воззвание гласит:

«Товарищи, солдаты и рабочие! Неизвестные лица, вопреки ясно выраженной воле всех без исключения социалистических партий, зовут вас выйти с оружием на улицы. Этим способом вам предлагают протестовать против расформирования полков, запятнавших себя на фронтах преступлением своего долга перед революцией. Мы, уполномоченные представители революционной демократии всей России, заявляем вам: расформирование полков на фронте произведено по требованию армейских и фронтовых организаций и согласно приказу избранного нами военного министра, тов. Керенского. Выступление на защиту расформированных полков есть выступление против наших братьев, проливающих свою кровь на фронте. Напоминаем товарищам солдатам: ни одна воинская часть не имеет права выходить с оружием без призыва главнокомандующего войсками, действующего в полном согласии с нами. Всех, кто нарушит это постановление в тревожные дни, переживаемые Россией, мы об'явим изменниками и врагами революции. К исполнению настоящего постановления будут приняты все меры, находящиеся в нашем распоряжении».

Вот — все чем были богаты меньшевистско-эсеровские власти, когда восстание уже началось. Ведь, казалось бы, они должны были видеть, что слова их мертвы, скучны, пошлы. Казалось бы, они должны были знать, что самые яркие, от самого их сердца идущие слова уже не могут никого убедить в рабоче-крестьянской столице. Казалось бы, они должны были знать и то, что движение началось совсем не из-за расформирования полков, что пролетариат и гарнизон выступают совсем по другим причинам и с другими лозунгами... Но что же делать? За душой советского большинства не было ничего кроме этих жалких и лицемерных слов.

Цитировал же я их потому, что с ними носились мамелюки, как с якорем спасения любезной коалиции, как с фактором успокоения, как с последним словом государственной мудрости. Это воззвание распространили за два дня в великом множестве; его совали в руки восставшим рабочим и солдатам, им оделяли даже советскую оппозицию. Было противно!..

Снова начинаю я помнить события этого дня часов с шести или семи вечера. Притом мои воспоминания и тут локализируются всецело в Таврическом дворце. Картины города я не видел. В газетах же — всех без исключения — июльские дни описаны так беспорядочно, так бестолково и безграмотно, что о восстановлении по ним полной и точной картины нечего и думать. При упоминании о событиях в городе я буду больше руководствоваться рассказами надежных очевидцев.

* * *

В седьмом часу вечера в «белом зале» началось заседание рабочей секции Совета. В подавляющем большинстве были большевики. Связывали ли они это заседание с начавшимся движением, и как вообще относилась к нему большевистская партия?.. Достоверно я этого не знаю. По всем данным, большевистский центр. ком. не организовал, не назначал выступления на 3-е июля — не в пример тому, как было дело 9 июня. Я знаю, что настроение масс считалось несколько «худшим», немного размякшим, менее определенным, чем три недели назад. Оно было немного сбито срывом 9-го

и «общесоветской», «елейной» манифестацией 18-го. Восстание, конечно, считалось неизбежным, ибо столица кипела, а общее положение было нестерпимо. Большевики готовились к нему — технически и политически. Но, видимо, на 3-е июля они его не назначали. Как будто бы в цитированной прокламации ссылки на решение «всех без исключения политических партий» имели основания. А, судя по газетным сведениям, советские большевики, после дневного заседания согласились отправиться по заводам и казармам — агитировать против выступления.

Рабочая секция начала заседать и рассуждать о порядке дня как будто бы без всякой связи с тем фактом, что именно в тот же час, с разных окраин города, начиная с Выборгской Стороны, к центру двинулись рабоче-солдатские массы. Рабочие бросали станки тысячами, десятками тысяч. Солдаты выступали с оружием. У тех и других были знамена с лозунгами, господствовавшими 18-го числа. «Долой 10 министров-капиталистов!» «Вся власть Советам!»

В порядок дня секции большевики желали поставить доклад Зиновьева «о борьбе с контр-революцией» и — снова о разгрузке Петербурга. Но посланный звездной палатой председательствовать в рабочей секции некий меньшевик Бройдо настаивал на обсуждении перевыборов Исп. Комитета. Непонятно, почему новое большинство доселе не выбрало себе своего председателя. Непонятно, как хватило у советских властей смелости соваться в львиное логово со своим председателем — да еще с каким! Но все же председательствовал Бройдо и, конечно, немедленно провалился со своим порядком дня.

Советских лидеров в заседании не было: правая еще меньше связывала его с движением, чем сами большевики. Я же, вместе с группой интернационалистов (впрочем, без Мартова) был в заседании, кажется, с начала до конца. Но доклада Зиновьева по существу я не помню. Помню только, что председатель убеждал не принимать никакой резолюции по вопросу о контр-революции: Исп. Комитет не успел ее изготовить, но непременно изготовит к следующему разу. Большинство посмеялось и, разумеется, отклонило просьбу.

В это время передают, что к Таврическому дворцу подходят рабочие отряды и два полка, 1-й пулеметный и Гренадерский. В зале начинается огромное волнение. Проходы и трибуны для публики, доселе пустые, как в будничном заседании, вдруг наполняются какими-то людьми. На ораторскую трибуну, откуда ни возьмись, вскакивает Каменев. И этот право-нерешительный большевик первый дает официальную санкцию восстанию.

— Мы не призывали к выступлению, — кричит он, — но народные массы сами вышли на улицу, чтобы выявить свою волю. А раз массы вышли — наше место среди них. Теперь мы будем с ними. И наша задача теперь в том, чтобы придать движению организованный характер... Рабочая секция должна сейчас же избрать особый орган, комиссию из 25 человек для руководства движением. Остальные должны разойтись по своим районам и соединиться со своими отрядами.

Затем, от имени советского официального большинства вышел на трибуну правый меньшевик Вайнштейн, бывший соратник Троцкого по Совету Раб. Деп. 1905 года. Он, не мудрствуя лукаво, не

вдаваясь ни в политику, ни в оценку стратегической ситуации, требовал, чтобы собрание немедленно раз'ехалось по городу и попыталось бы заставить массы разойтись по домам.

Мы, меньшевики-интернационалисты, тут же, около трибуны устроили маленькое совещание. Я предлагал заявить от нашего имени, что движение мы считаем в данный момент ненужным и вредным и настаиваем, чтобы выступившие части и отряды немедленно вернулись по своим местам. Но не в пример официальной прокламации, это требование должно быть мотивировано тем, что коалиционного правительства, против которого выступали массы, ныне более не существует, а Ц. И. К. именно в данный момент обсуждает вопрос о переходе всей власти в руки демократии... Выступившие массы, в подавляющем большинстве своем, не знали не только о постановке на очередь проблемы власти в Ц. И. К., но не знали и о развале коалиции: газеты, по случаю понедельника, в этот день не вышли. Впрочем, может быть, предводители успели прочитать *вечерние* газеты.

Заявление от имени меньшевиков-интернационалистов, в указанном смысле, было действительно сделано с трибуны. Затем говорили и представители других фракций: Троцкий поддержал Каменева и его предложение о выборе боевого центрального органа в 25 человек. Оратор эсеров ограничился ламентациями по поводу неразумия выступивших масс. Анархист Блейхман кричал: «В Петропавловскую крепость Вр. Правительство!» «Немедленно реквизировать все фабрики и заводы!»

И, наконец, появился сам Чхеидзе, извлеченный откуда-то в спешном порядке, на помощь беспомощ-

ному председателю. Он просит не выбирать никакого нового центра, пока действует Ц. И. К. Но собрание уже приступает к голосованию резолюции, предложенной Каменевым. Никаких сомнений нет, — она будет принята. И правое меньшевистско-эсеровское меньшинство не находит ничего более достойного и мудрого, как перед голосованием покинуть зал. Принятая резолюция гласила:

> В виду кризиса власти рабочая секция считает необходимым настаивать на том, чтобы Всеросс. Совет Р., С. и Кр. Деп. взял в свои руки всю власть. Рабочая секция обязуется содействовать этому всеми силами, надеясь найти в этом поддержку со стороны солдатской секции. Рабочая секция выбирает бюро из 25 чел., которому поручает действовать от имени рабочей секции в контакте с Петроградским Исп. Комитетом и Ц. И. К. Все же остальные члены данного собрания уходят в районы, извещают рабочих и солдат об этом решении и, оставаясь в постоянной связи с комиссией, стремятся придать движению мирный и организованный характер.

В виду ухода эсеров и меньшевиков, Каменев предлагает сократить число членов этой комиссии (или бюро) с 25 до 15, — с тем, чтобы остальных потом прислали правящие советские сферы... По собственной ли инициативе или согласно полученным директивам, Каменев отнюдь не стремился к изоляции большевиков, в качестве носителей восстания, — он действовал, как всегда, по соглашательски... Однако, как бы то ни было, я не нахожу в своей памяти ни малейших следов деятельности этого вновь избранного «бюро» в июльские дни. Не помню даже и самого факта выборов после принятия резолюции.

В последние минуты заседания к Таврическому дворцу уже подошли толпы рабочих и отряды сол-

дат. Депутации от них, не медля ни минуты, прямо направились в «белый зал», в заседание рабочей секции. Если не центральные большевики, руководившие заседанием, то большевики местные, стоявшие во главе манифестантов, — могли связывать момент выступления с собранием большевистских кадров в Таврическом дворце...

Однако, собрание секции уже расходилось. Большевистские рабочие спешили в районы. Членов Ц. И. К. созывали в заседание. Дворец быстро наполнялся толпами рабочих и солдат.

* * *

Между тем, движение уже разлилось широко по городу. Уже разыгрывалась буря. На заводах повсюду происходило то же, что рассказывал мне по телефону рабочий с «Промета»: приходили откуда-то делегации из рабочих и солдат и чьим-то именем, ссылаясь на «всех других», требовали «выступления». «Выступало», конечно, меньшинство, но повсюду бросали работу. С Финляндского вокзала перестали отправлять поезда. В казармах происходили краткие массовые митинги, и затем со всех концов огромные отряды вооруженных солдат направлялись в центр, — частью к Таврическому дворцу. Иные постреливали в воздух: винтовки стреляли сами.

С раннего вечера по городу стали летать автомобили, легковые и грузовки. В них сидели военные и штатские люди с винтовками на перевес и с перепуганно-свирепыми физиономиями. Куда и зачем они мчались — никому не было известно...

Город довольно быстро принял вид последних дней февраля 17-го года. С тех пор прошло четыре

месяца революции и свободы. Столичный гарнизон и тем более пролетариат были ныне крепко организованы. Но в движении, казалось, было не больше «сознательности», дисциплины и порядка. Разгулялась стихия.

Но вот как будто появились признаки некоторой «планомерности» и «сознательности». Около 8 часов вечера какой-то вооруженный автомобиль или даже несколько примчались на Варшавский вокзал; их пассажиры искали Керенского, который в этот час должен был уехать на фронт. Видимой целью было задержать военного министра-социалиста, чтобы не пустить его на фронт или арестовать в лагере «повсганцев». Но автомобили опоздали к поезду: Керенский уже уехал.

Вооруженные группы стали нападать на автомобили и реквизировать их. На автомобилях, рядом с винтовками появились пулеметы. Дело принимало — если нельзя сказать серьезный, то во всяком случае опасный оборот. Однако, о жертвах пока ничего не было слышно. Часу в десятом анархисты с дачи Дурново захватили типографию черносотенного «Нового Времени», где — между прочим — печаталась «Новая Жизнь». Картина получилась та же, что при вышеописанном захвате другой типографии на Ивановской улице: анархисты об'явили типографию народным достоянием, потом устроили митинг, отпечатали свое воззвание, а затем ночью добровольно удалились без дальнейших последствий кроме невыхода суворинской газеты на другой день. Вообще были основательные, если нельзя сказать грандиозные, «беспорядки».

По Невскому, от Садовой к Литейному, шел один из восставших полков, во главе с большевистским

прапорщиком. Это была внушительная вооруженная сила. Ее было, пожалуй, достаточно, чтобы держать власть над городом — поскольку с ней не сталкивалась другая подобная же вооруженная сила. Голова полка начала поворачивать на Литейный. В это время со стороны Знаменской площади раздались какие-то выстрелы. Командир колонны, ехавший в автомобиле, обернулся и увидел пятки разбегавшихся во все концы солдат. Через несколько секунд автомобиль остался один среди издевающейся толпы Невского проспекта. Жертв не было... Мне рассказывал все это сам командир — ныне большевистский военный сановник с именем. Нечто совершенно аналогичное происходило в эти часы в разных пунктах столицы.

Восставшая армия не знала, куда и зачем идти ей? У нее не было ничего кроме «настроения». Этого было недостаточно. Руководимые большевиками солдаты, несмотря на полное отсутствие всякого реального сопротивления, показали себя как решительно никуда негодный боевой материал. Но во главе солдатских групп, «выступавших» 3-го июля, стояли не только большевики. Тут были, несомненно, и совсем темные элементы.

В качестве «повстанцев» выступали и «сорокалетние». В этот день их представители снова были у Керенского и снова ходатайствовали об отпуске их домой, на полевые работы. Но Керенский отказал: ведь продолжалось наступление на дерзкого врага, во славу доблестных союзников. Теперь «сорокалетние» охотно присоединились к «восстанию» и огромной массой зачем-то двигались к Таврическому дворцу.

* * *

Из заседания рабочей секции, через толпу, заполнявшую Екатерининский зал и вестибюль дворца, мы поспешили в аппартаменты Ц. И. К. Заседание, однако, не состоялось. Членов было налицо не много. Из звездной палаты не помню никого кроме растерянного и угрюмого молчаливого Чхеидзе. Был беспорядок, возбуждение и бестолковщина. Большевистских лидеров не было: после заседания рабочей секции они поспешили в свои партийные центры.

Человек 25 сгрудилось у стола вокруг председателя, беспомощно сидевшего в своем кресле и жадно ловившего все, что говорилось. Но не говорилось ничего членораздельного.

— Надо немедленно вызвать верные революции части, — кричал упомянутый правый меньшевик Вайнштейн. — Надо противопоставить силу силе и дать вооруженный отпор, организовать защиту...

— Позвольте, — говорил я, — чью защиту? от кого защиту? Известно ли вам, кто, куда выступает и с какими целями? Известно ли кому и чему грозит опасность? Где вы расставите свои верные части и в кого прикажете стрелять? Ведь о кровопролитии пока ничего не слышно. Вы хотите начать его?...

Пока мы препирались и ничего не делали в Ц. И. К., правящая советская группа работала где-то за кулисами. Министры-социалисты, оставив Таврический дворец под присмотром Чхеидзе, находились на совещании с оставшимся в кабинете буржуазным меньшинством, на известной нам квартире премьера, князя Львова. Вероятно, тут же, по близости, были и Дан и Гоц, — вырабатывая общую и нераздельную линию поведения... Из этого центра, повиди-

мому, были посланы отряды для охраны Гос. Банка и телеграфа. К Таврическому дворцу были направлены верные броневики. Конечно, все это могло делаться советским именем, ибо в квартире Львова на Театральной ул., I, пребывала «группа президиума».

Официальные же советские органы бездействовали в эти часы. Однако, нам говорили, что сегодня же возобновится соединенное заседание рабоче-солдатского и крестьянского Ц. И. К. Позднее стали даже передавать, что оно будет закрытым и будто бы ему будет предложено какое-то решение особой важности.

Толпы подходили к Таврическому дворцу до позднего вечера. Но они имели «разложившийся» вид. Они были способны на эксцесс, но не на революционное действие, сознательное и планомерное. Цели своего пребывания в данном месте — они явно не знали. И от нечего делать они требовали ораторов — членов Совета. Ораторы выходили к ним. Чхеидзе убеждал разойтись, ссылаясь на предстоящее заседание Ц. И. К. Но успеха не имел и неоднократно был прерван враждебными возгласами. Та же участь постигла одного из двух верховных агентов звездной палаты, Войтинского (другой — Либер пребывал неизвестно где). Настроение толпы было озлобленное. Раздавались и голоса:

— Арестовать Исп. Комитет, передавшийся помещикам и буржуазии!

Но арестовать было некому и незачем. В толпе говорили, что Врем. Правительство уже арестовано. Но ничего подобного не было. Мало того: ничего подобного в этот день, видимо, не предполагалось.

Остатки правительства, с «социалистическим» большинством, заседали в беззащитной квартире кн. Львова. Местопребывание министров-капиталистов установить ровно ничего не стоило: ведь от'езд Керенского на фронт был кем-то установлен. Арестовать «правительство» могла любая желающая группа в 10—12 человек. Но этого не было сделано. Единственная же попытка в этом направлении носила совершенно несерьезный характер.

К квартире премьера около 10 часов подлетел автомобиль с пулеметом и десятком вооруженных людей. Они потребовали у швейцара выдачи министров, о чем и доложили «кабинету». Церетели вызвался переговорить с пришедшими по его душу. Но пока он дошел до под'езда, вооруженный мотор скрылся, удовлетворившись тем, что угнал вместе с собой автомобиль того же Церетели. Ясно, что это была вполне «частная инициатива». Но других нападений на министров-капиталистов не было за все июльские дни.

Вообще, не в пример тому, что предполагалось 10 июня, Мариинский дворец, где полагалось быть Вр. Правительству, совершенно не являлся центром тяготения для выступивших масс. Сейчас они тяготели именно к Таврическому — резиденции центральных советских органов. И настроение, как видим, было заострено именно против них.

В сквере Таврического дворца около того же времени выступали и ораторы советской оппозиции, провозглашавшие переход власти Совету. Эти встречали совсем иное отношение, — особенно Троцкий, вызвавший шумный восторг своей речью... Но толпа, с наступлением темноты, уже сильно редела. Отряды растекались, распылялись и куда-то уходили.

Меньше людей становилось и в залах дворца. Казалось, что «восстание», пожалуй, кончается.

* * *

Около полуночи в Таврическом дворце стали, наконец, видимы для глаза физиономии из звездной палаты. Они имели очень торжественный и несколько вызывающий вид: должно быть и в самом деле они имеют предложить нечто особенное... В это время в залах было уже довольно пусто. В нескольких местах, вроде каких-то караулов, стоя и лежа расположились группы солдат около ружей в козлах. И бродили без дела вызванные циркулярной телефонограммой представители полковых верхов столицы, представители полковых комитетов, верных советскому большинству и нимало не авторитетных для масс... Замелькали снова и физиономии типичных профессоров, земских служащих, лавочников: это явился в соединенное заседание крестьянский Ц. И. К.

Уже стали приглашать в «белый зал». Но в это время пришли известия о свалке и первых жертвах на Невском, около Городской Думы. В Думе только что кончилось заседание. Там, между прочим, провел вечер и Луначарский. Когда гласные выходили на улицу; их встретили залпы и треск пулеметов. Но это относилось не к мирной кадетско-эсеровской «коммуне» революционной столицы. Это, без цели и смысла, шли навстречу одна другой две вооруженных группы людей и приняли друг друга за врагов. Тут же попались и автомобили с пулеметами. Этого было достаточно, чтобы произошла паническая беспорядочная стрельба. Несколько раненых

принесли в здание Думы. Они, конечно, не принадлежали к числу «выступавших»... Гласные вернулись в зал заседания и спешно выпустили прокламацию-мольбу — воздержаться от дальнейшего кровопролития. Сколько было всех жертв, осталось неизвестным.

Соединенное заседание Ц. И. К. открылось, вероятно, около часа ночи. «Белый зал» имел необычный в революции вид. Он был не полон. Человек 300 депутатов занимали всего половину мест, а остальные кресла не были заполнены толпой. Не стояли толпы и в проходах, не облепляли трибуну, не было ни души и на хорах. Были приняты особые, исключительные меры, чтобы заседание было действительно закрытым. Было чинно, как в доброй старой Госуд. Думе. И было тихо. Слова раздавались звонко... Чувствовалось большое напряжение атмосферы. Депутаты были мрачны и молчаливы. Все ждали, — что-то придумала, чем-то ошеломит звездная палата, разместившаяся на кафедре. Председательствовал угрюмый и бледный Чхеидзе. Ему же звездная палата поручила преподнести сюрприз, и Чхеидзе открыл заседание такими словами:

— Момент исключительно ответственный, — медленно, с трудом и с паузами выговаривал он. — Президиум принял исключительное решение... Мы заявляем: постановления, которые сейчас будут сделаны, должны быть обязательны для всех. Каждый из присутствующих здесь должен дать обязательство неуклонно выполнить принятые решения. Те, кто не желает дать такое обязательство, должны покинуть зал заседания.

Чхеидзе замолчал. Его поручение, видимо, ограничивалось этим. Раз'яснить же, в чем существо дела,

сделать доклад и предложить самое решение должны были действительные лидеры звездной палаты... Зал был недвижим несколько секунд — частью ожидая дальнейшего, частью остолбенев от неожиданности. Но Чхеидзе сел. А с крайних правых скамей, где расположились «междурайонцы», потянулись к левому выходу — Троцкий, Рязанов, Урицкий, Юренев, Карахан, — за ними Стеклов. Не желая давать «в темную» никаких обязательств, они послушно уходили из заседания. В зале была тишина.

Неожиданно для самого себя, я бросился на трибуну с верхней левой скамьи, где я сидел с Мартовым и другими. Чхеидзе не нашелся воспрепятствовать мне.

— В чрезвычайных обстоятельствах, — говорил я, — вы можете принять любые чрезвычайные меры. Но отдавайте себе отчет в том, что вы предлагаете. Вы, большинство, не назначали нас на наши депутатские места. Нас послали сюда рабочие и солдаты. Перед ними мы будем отвечать за наши действия, а вы не можете лишить нас наших прав. Вы можете беззаконно удалить нас — безо всякого с нашей стороны преступления. Но мы не дадим вам никаких обещаний и добровольно не покинем зала.

Мои ближайшие товарищи были со мной солидарны... Президиум же растерялся и никак не реагировал. А тем временем на трибуне появилась маленькая фигурка знаменитой Спиридоновой. С самого возвращения из Сибири, будучи левой среди эсеров, она примыкала к группе Камкова. Крестьянский с'езд избрал ее в свой Центр. Испол. Ком. У нас же, в советских сферах она выступала впер-

вые. Я даже не знал ее в лицо и спрашивал, кто это сменил меня на трибуне... Среди тишины и напряжения Спиридонова истерически кричала:

— Товарищи! Готовится великое преступление! Лидеры-министры требуют от нас полного повиновения, раньше чем они об'яснили в чем дело. Ясно: они предложат постановление против народа. Они готовят расстрел наших товарищей рабочих и солдат!..

В группе президиума — замешательство. Всем ясно, что звездная палата запуталась, и из ее глупой выходки ничего не выйдет. Я вспоминаю подобные же наивно-примитивные экивоки хитроумного Церетели во время создания «однородного бюро». Как и тогда, его друзья чувствуют себя неловко. Но... на трибуну выходит Чернов, чтобы поддержать «предложение» Чхеидзе. Как именно он поддерживал, я не помню. Кажется, это было недолго и не очень красноречиво. Это выступление было нужно для всего сонма эсеров, которым предстояло поднять руки.

В тишине и замешательстве «предложение» Чхеидзе голосуется. Руки поднимаются. Против — только 21 голос. Это — мы, меньшевики-интернационалисты и левая группа эсеров. По смыслу предложения и голосования, мы должны дать требуемое обязательство или удалиться. Но мы, конечно, не делаем ни того, ни другого. Нас оставляют в покое, как будто так и надо. Заседание продолжается. Из глупой затеи ничего не вышло.

Когда слово получил докладчик Церетели, я пошел разыскивать ушедших «междурайонцев». Они были тут же, недалеко, и совещались, что им делать. Они уже склонялись к тому, что ушли напрасно и

что следует вернуться в зал. Я убеждал их в том же. Вскоре они действительно вернулись. От имени их группы Троцкий сделал заявление:

— Решение, принятое по предложению Чхеидзе, незаконно и нарушает права меньшинства. Для защиты прав своих избирателей междурайонцы возвращаются в заседание и будут апеллировать к пролетарским массам.

Это было принято к сведению, как будто так и надо... Было смешно и противно. А дальнейшее заседание состояло в следующем. Церетели повторил свои утренние предложения насчет замещения вакантных министерских постов. Но сейчас он коечто прибавил к ним. А именно — теперь, когда начались вооруженные выступления, когда уже пролилась кровь, когда безответственные группы и темные шайки хотят оружием навязать свою волю правомочным органам революционной демократии, — теперь надо прежде всего подумать о том, чтобы дать отпор преступным посягательствам и создать условия, необходимые для свободного выявления воли подавляющего большинства населения. Вопрос о власти решит пленум Ц. И. К., который будет созван через две недели. Но он не может свободно и спокойно работать в Петербурге, где господствует улица. Пленум должен быть созван в Москве. А сейчас надо считать, что инициаторы движения в пользу власти советов сами сняли с очереди проблему власти и поставили в порядок дня водворение порядка. Этим и должен теперь заняться Ц. И. К.

Большего не сказал Церетели. Повидимому, был план сказать значительно больше. Иначе — зачем было пугать грозными приготовлениями и ультиматумами?.. Звездная палата, видимо, тут же, на

месте, молчаливо согласилась бить отбой, — когда затея опозорилась и план был сорван... Что именно замышляли лидеры, мне так и неизвестно.

После Церетели говорил Дан. Он излагал события дня и негодовал на инициаторов восстания. Он повторял, что решение вопроса о власти может быть только свободным, что давление улицы нетерпимо, что выступления надо немедленно, всеми средствами, ликвидировать, а вопрос о власти — отложить.

Впечатление было такое, что фанатики коалиции, в обстановке ее краха, хватаются за внешние счастливые случайности, цепляются за ложные шаги ее врагов, пользуясь всем этим для ее реставрации. Чувствовалось, что уличные события льют целые водопады воды на мельницу буржуазно-советского блока.

Прений не ограничивали. Один оратор выходил за другим, и все говорили одно и то же, обращаясь то к преступлениям большевиков, то к спасительности коалиции. «Мужички» требовали военного положения и тому подобного вздора. Эсеровские интеллигенты, считая обстановку подходящей, разошлись и дали волю своим патриотическим чувствам. Речи их дышали неподдельным погромным пафосом суворинских газет... Но никакого положительного содержания не имело это заседание в «исключительно ответственный момент».

Между тем взошло солнце. Зал наполнился ярким дневным светом. Полномочный орган революционной демократии переливал из пустого в порожнее до утра... На трибуну взошел Богданов с деловым предложением.

Заседание должно быть прервано. Рабоче-солдатская часть Ц. И. К. остается во дворце. Все, сколь-

ко-нибудь способные к публичным выступлениям, немедленно распределяются по заводам и казармам и сейчас же, пока город не проснулся, отправляются в свои экспедиции — убеждать на местах рабочих и солдат воздержаться от всяких выступлений. Депутаты должны были оставаться на заводах и в казармах, сколько потребуется, для данной цели. С тем собрание и разошлось.

* * *

Бледные, усталые и голодные — мы перекочевали в апартаменты Ц. И. К. — пока, крестьяне расходились по домам. Богданов, со списком заводов и казарм, с помощью двух-трех человек, безапелляционно «расписывал» наличную сотню с небольшим депутатов по предприятиям и воинским частям. Неистово стучали пишущие машинки, на которых писали кое-как целые пачки мандатов. Спешно снаряжались автомобили. Депутаты бродили, как тени. Не только у оппозиции, но и у верноподданных коалиции не было заметно ни энтузиазма, ни охоты пуститься в сомнительный путь после бессонной ночи.

Богданов выкрикивал фамилии — по два человека в каждый пункт. «Междурайонцы» ехать отказались. Меня, в компании с Гоцом, отрядили в Преображенский полк. Но Гоц куда-то исчез. Подождав минут 15, я отправился один. Батальон, куда я направился, был расположен совсем по соседству с Таврическим дворцом, на углу Захарьевской. Я пошел пешком и с наслаждением втянул в себя свежий воздух, выйдя под колонаду портика.

Был вероятно седьмой час. Стояло чудесное утро. Сквер был пуст. Слева чернели два или три броневика — без признаков прислуги. На прилегающих улицах — тишина и спокойствие. Никаких признаков восстания и беспорядков.

Ночью стрельба, кажется, не возобновлялась. Толпы разошлись, и улицы опустели часов с двух.

В Преображенском полку, — не помню, в каком батальоне, — задача моя была не из трудных. Я упоминал, что этот полк считался реакционным и был не на стороне большевиков. Вероятно, он никуда не выступал и не выступил бы, независимо от моего вмешательства...

Жизнь в батальоне только что начиналась. Сонные солдаты только начинали бродить по огромному двору. Я вызвал командира, расспросил о настроении и о том, какие требуются «мероприятия». Молодой офицер, из нового начальства, хотя и дежурил всю ночь, но был спокоен за свой батальон. По его мнению, не было нужды в общем митинге, и мы решили собрать только представителей взводов. Собрались солидные, тяжеловатые мужички, меньше всего напоминавшие революционеров. Я раз'яснил им политическую ситуацию, рассказал о том, какими странными способами вызывается движение, сколь темны и неясны его источники и какой от него неизбежен вред. Я требовал, чтобы без вызова Исп. Комитета, в течение двух дней, никто не выходил с оружием на улицу... Солдатские выборные с почтением слушали; но было видно, что это для них не нужно: никуда они не пойдут.

Большого интереса к политике моя аудитория не проявила. Попытки солдат вступить со мною в разговоры ограничились несколькими злобными заме-

чаниями по адресу Ленина и большевиков. И мне пришлось немедленно перекинуться на другой фронт, — пришлось перейти к защите Ленина и его друзей, как пролетарской партии, ведущей закономерную и необходимую борьбу за свои принципы и пролетарские интересы. Нападки солдат были прямым повторением грязно-клеветнических фраз бульварной прессы обо всех интернационалистах вообще.

Задача моя в Преображенском полку была исполнена. Преображенцы заведомо никуда не выступят. Я мог уйти со спокойной совестью... Было часов восемь. Мне не хотелось производить передрягу у Манухиных, и я пошел на Старый Невский к товарищу городского головы Никитскому, чтобы отдохнуть там часа два. Никитского не было дома. Он провел в городской думе всю ночь — по случаю тревоги. Но что тут могла сделать городская дума?..

* * *

Задремывая, я вспоминал о том, что партийных большевиков не было ночью ни в заседании, ни в Таврическом дворце.

В эту ночь их Ц. К. имел бурное и лихорадочное суждение о том, что делать... Ситуация была в общем та же, что и в ночь на 10-е июня. Повидимому те же были и суждения, те же планы. Так или иначе, по почину партии, или стихийно, или по почину неофициальных партийных групп — движение началось и приняло огромные размеры. Подхватить ли, продолжать ли его, став во главе восставших масс? Или снова капитулировать перед соглашательским

большинством Совета и лишить движение своей санкции? Это был первый вопрос, стоявший перед большевистским ц. к.-том.

Решался он, повидимому, в зависимости от силы и характера движения. Это был вопрос факта — т. е. глазомера и учета. И здесь ауспиции были явно неустойчивы. Во-первых, в ночные часы движение стихло; массы, в подавляющем большинстве, спокойно спали и не проявляли воли к действию. Во-вторых, движение началось в сомнительных формах; большевистская партия им отнюдь не руководила и не владела; и Бог весть, кто стоял во главе многих и многих отрядов. В-третьих, движение обнаружило с полной явностью свою внутреннюю слабость и гнилость; ударной силы и вообще реальной, боеспособной силы у восстания не было: реальная сила улетучивалась от призрака опасности... Ауспиции были сомнительны.

Сейчас главная надежда была на кронштадтцев, прибытия которых ждали с часа на час. Но в общем — стоит ли брать это движение в свои руки?.. Правда, Каменев, в заседании рабочей секции, уже связал с ним большевистскую партию. Но переменить фронт, как 9 июня, все же было вполне возможно. Ведь речь шла о завтрашнем дне, о вторнике 4-го июля.

Это был первый вопрос, стоявший перед Лениным и его товарищами в эту ночь. И я думаю — он был единственный, требовавший ответа. Ибо второй, вероятно, был уже решен. Это вопрос о том, куда вести движение? Это вопрос не конкретного факта, а партийной позиции. А она уже определилась — месяц тому назад. Мы помним, к чему она сводилась: движение начинается, как мир-

ная манифестация, и при достаточном развитии, при благоприятной кон'юнктуре переходит в захват власти большевистским центр. ком-том. Он будет править именем Совета, опираясь в данный момент на большинство петербургского пролетариата и активные воинские части. А свою программу Ленин об'явил в заседании Всер. С'езда Советов. Этот вопрос, надо думать, так решался и сейчас. Поднимать о нем новые суждения сейчас, в дыму восстания, было вряд ли нужно и уместно.

Но как же решался первый пункт: брать ли движение в свои руки? Говоря конкретно, это значило: призывать ли к продолжению «мирной манифестации» от имени Ц. К. партии? По всем данным, этот пункт заставил большевистских вождей всю ночь испытывать мучительные сомнения и колебания.

С вечера вопрос был решен в положительном смысле. На места были даны соответствующие директивы. А для первой страницы «Правды» был изготовлен соответствующий плакат. Большевики официально и окончательно становились во главе восстания.

Но позднее настроение изменилось. Затишье на улицах и в районах, в связи с твердым курсом звездной палаты, склонило чашу весов в противоположную сторону, нерешительность одержала верх. А в нерешительности большевики воздержались снова. Плакат, изготовленный для «Правды», был не только набран, но вверстан в полосу и отбит в матрице. Его пришлось вырезать из стереотипа. Большевики отменили свой призыв к «мирной манифестации». Они отказывались продолжать дви-

жение и стоять во главе его... «Правда» вышла 4-го июля с зияющей на первой странице белой полосой.

Я говорил о большевиках партии Ленина. «Междурайонцы» же, возглавляемые Троцким, ночью были в Таврическом дворце. Ни Троцкий, ни Луначарский, видимо, не участвовали в ночном бдении большевистского ц. к. и не разделяли мучений Ленина. Но в течение ночи, не помню когда, мне случилось столкнуться с Урицким, одним из главарей «междурайонцев». Я спросил, призывает ли их группа на завтра к «мирной манифестации». Быть может, отдавая дань моему чуть-чуть ироническому тону, Урицкий ответил с напором и чуть-чуть с озлоблением:

— Да, мы призываем на завтра к манифестации!..

Ну, что ж, всякому свое, думал я, засыпая на постели Никитского и перебирая в голове события первого «июльского дня».

Вторник, 4-е июля.

На другой день, во вторник 4-го июля, я вышел на улицу около 11 часов. При первом взгляде вокруг было ясно, что беспорядки возобновились. Повсюду собирались кучки людей и яростно спорили. Половина магазинов была закрыта. Трамваи не ходили с 8 часов утра. Чувствовалось большое возбуждение — с колоритом озлобления, но отнюдь не энтузиазма. Разве это только и отличало 4-го июля от 28 февраля во внешнем облике Петербурга. В группах людей что-то говорили о кронштадтцах... Я спешил в Таврический дворец.

Чем ближе к нему, тем больше народа. Около дворца — огромные толпы, но как будто не манифестации, не отряды, не колонны, ничего организованного. Масса вооруженных солдат, но разрозненных, самих по себе, без начальства. В сквере так густо, что трудно пройти. Черные, безобразные броневики попрежнему возвышаются над толпами.

В залах совершенно та же картина, что в первые дни революции. Но страшная духота. Окна открыты, и в них лезут вооруженные солдаты. Я не без труда пробираюсь к комнатам Ц. И. К. В буфете меня спрашивают, почему не вышла сегодня «Новая Жизнь». Не знаю, — должна была выйти, но я целый день вчера не был в редакции. А ведь не вредно было бы мне вспомнить о газете! Я позвонил по телефону к Тихонову: газета вышла не во-время, две полосы в немногих экземплярах, ибо типографию захватили анархисты и освободили слишком поздно. Меня звали в редакцию, но я не обещал...

Заседания не было, но оно предполагалось. Я вошел в зал Ц. И. К. Раскрытые окна смотрели в роскошный Потемкинский сад, а в окна смотрели, наседая друг на друга, вооруженные солдаты. В зале было довольно много народа; было шумно. В другом конце стоял и горячо спорил с кем-то Луначарский, которого я вчера не видел целый день. Вдруг, он круто повернулся от собеседника и быстро пошел в мою сторону. Он был, видимо, взволнован и раздражен спором. И как бы, продолжая этот спор, он бросил мне, не здороваясь, сердитым тоном вызова наивные слова оправдания:

— Я только что привел из Кронштадта двадцать тысяч совершенно мирного населения...

Я, в свою очередь, широко раскрыл глаза.

— Да?.. Вы привели?.. Совершенно мирного?..

Кронштадтцы были, несомненно, главной ставкой партии Ленина и главным, решающим фактором в его глазах. Решив накануне **п р и з в а т ь** массы к «мирной манифестации», большевики, конечно, приняли меры к мобилизации Кронштадта. В часы ночных колебаний, когда движение стало затихать, Кронштадт стал единственным козырем тех членов большевистского ц. к., которые отстаивали восстание... Потом восстание отменили. Но, видимо, относительно Кронштадта соответствующих мер не приняли, — или одна большевистская рука не знала, что делала другая. Точно я фактов не знаю.

Но во всяком случае дело было так. Часу в десятом утра к Николаевской набережной, при огромном стечении народа, подплыло до 40 различных судов с кронштадтскими матросами, солдатами и рабочими. Согласно Луначарскому, этого «мирного-населения» приплыло двадцать тысяч. Они были с оружием и со своими оркестрами музыки. Высадившись на Николаевской набережной, кронштадтцы выстроились в отряды и направились... к дому Кшесинской, к штабу большевиков. Точного стратегического плана они, видимо, не имели; куда идти и что именно делать — кронштадтцы знали совсем не твердо. Они имели только определенное **н а с т р о е н и е п р о т и в** Вр. Правительства и советского большинства. Но кронштадтцев вели известные нам — Рошаль и Раскольников. И они привели их к Ленину.

Шансы восстания и переворота вновь поднялись чрезвычайно высоко. Ленин должен был очень жалеть, что призыв к петербургскому пролетариату и гарнизону был отменен в результате ночных ко-

лебаний. Сейчас движение было бы вполне возможно довести до любой точки. И произвести желанный переворот, т. е. по крайней мере ликвидировать министров-капиталистов, а в придачу и министров-социалистов с их мамелюками — было также вполне возможно...

Во всяком случае Ленину приходилось начать колебаться снова. И когда кронштадтцы окружили дом Кшесинской в ожидании директив, Ленин с балкона произнес им речь весьма двусмысленного содержания. От стоявшей перед ним, казалось бы, внушительной силы, Ленин не требовал никаких конкретных действий; он не призывал даже свою аудиторию продолжать уличные манифестации, — хотя эта аудитория только что доказала свою готовность к бою громоздким путешествием из Кронштадта в Петербург. Ленин только усиленно агитировал против Вр. Правительства, против социал-предательского Совета и призывал к защите революции, к верности большевикам... Ленин, как видим, был верен занятой им позиции: когда-де мы в штабе столкуемся, а движение определится, — там будет видно, как именно защищать революцию и как доказать верность большевикам.

По рассказу Луначарского, он, Луначарский, как раз в это время проходил мимо дома Кшесинской. Во время овации, устроенной Ленину кронштадтцами, Ленин подозвал его к себе и предложил ему так же выступить перед толпой. Луначарский, всегда пылающий красноречием, не заставил себя упрашивать и произнес речь примерно того же содержания, что и Ленин. А потом во главе кронштадтцев Луначарский двинулся в центр города, по направлению к Таврическому дворцу. По дороге к этой армии при-

соединились еще рабочие Трубочного и Балтийского заводов. Настроение было боевое. В отрядах, возглавляемых оркестрами и окруженных любопытными, выражались очень крепко по адресу министров-капиталистов и соглашательского Ц. И. К. При этом поясняли, что Кронштадт весь целиком пришел спасать революцию, захватив с собой боевые припасы и продукты; дома же остались только старые да малые.

Но куда и зачем именно шли — все-таки толком не знали. Луначарский сказал, что он «п р и в е л» кронштадтцев. Но, по моему, они пока застряли где-то на Невском или у Марсова Поля. Кажется, Луначарский н е д о в е л их до Таврического дворца. Насколько я лично помню, они появились там только часов в 5 вечера.

Движение разливалось снова и помимо кронштадтцев. С раннего утра снова зашевелились рабочие районы. Часов около 11 «выступила» какая-то часть Волынского полка, за ней половина 180-го, весь 1-й пулеметный и другие. А около полудня в разных концах города началась стрельба — не сражения, не свалки, а стрельба: частью в воздух, частью по живой цели. Стреляли на Суворовском просп., на Вас. Острове, на Каменноостровском, а особенно на Невском — у Садовой и у Литейного. Как правило, начиналось со случайного выстрела; следовала паника; винтовки начинали сами стрелять куда попало. Везде были раненые и убитые...

Никакой планомерности и сознательности в движении «повстанцев» решительно не замечалось. Но не могло быть речи и о планомерной локализации и ликвидации движения. Советско-правительственные власти высылали верные отряды-юнкеров, се-

меновцев, казаков. Они дефилировали и встречались с неприятелем. Но о серьезной борьбе никто не думал. Обе стороны панически бросались врассыпную, кто куда, при первом выстреле. Пули в огромном большинстве своем доставались, конечно, прохожим. При встрече двух колонн между собою, ни участники, ни свидетели *не различали, где чья сторона*. Определенную физиономию имели, пожалуй, только кронштадтцы. В остальном была неразбериха и безудержная стихия... Но вот вопрос: *случайны ли* были первые выстрелы, порождавшие панику и свалку?...

Начались небольшие, частичные погромы. В виду выстрелов из домов или под их предлогом начались повальные обыски, которые производили матросы и солдаты. А под предлогом обысков начались грабежи. Пострадали многие магазины, преимущественно винные, гастрономические, табачные. Были нападения и в Гостином Дворе. Разные группы стали арестовывать на улицах кого попало. Между прочим, какие-то господа вломились в квартиру Громана, все перерыли, переломали, разбросали и несколько часов сидели в засаде, ожидая хозяина; но он так и не явился...

Все это было не только печально, но было очень странно. Все это совсем не походило на манифестацию против министров-капиталистов; но это не походило и на восстание против них, за власть Советов... Часам к 4-м число раненых и убитых уже исчислялось, по слухам, сотнями. Здесь и там валялись трупы убитых лошадей.

* * *

В Таврическом дворце была давка, духота и бестолочь. В Екатерининском зале шли какие-то митинги. Но никаких заседаний не было. Только в два часа власти назначили солдатскую секцию. Предполагалось, что ее правое большинство окажет помощь в ликвидации беспорядков.

Мы в общем проводили время совершенно праздно — в комнатах Исп. Комитета. Из начальства как будто был налицо опять-таки один Чхеидзе. По рукам ходило новое воззвание Ц. И. К., — кем и когда составленное, решительно не помню. В нем уже не говорилось, что движение имеет целью протестовать против расформирования полков. Напротив, беспорядки определенно связывались с проблемой власти. В воззвании говорилось, что соединенные Ц. И. К-ты были заняты именно решением этого вопроса; но несознательные элементы, желающие оружием навязать свою волю организованной демократии, помешали им в этом деле. Уличное движение и эксцессы порицались в самых решительных выражениях. И все «стоящие на страже революции» призывались «ждать решения полномочных органов демократии по поводу кризиса власти».

Как известно, окончательное решение предполагалось отложить до пленума Ц. И. К. — то-есть недели на две. И, разумеется, звездная палата, с благородным Церетели во главе, ни в какой мере не предрешала, не предвосхищала воли этого пленума. Боже сохрани! Как он решит, так и будет. Как можно навязывать полномочному органу волю отдельных лиц и групп!..

Но вот именно в тот же час, после полудня 4-го июля, первый министр, кн. Львов, послал на телеграф текст довольно любопытной циркулярной теле-

граммы губернским комиссарам (то-есть новым губернаторам). В ней описывалось «безответственное выступление элементов крайнего меньшинства, встреченное населением крайне враждебно». Дальше сообщалось, что правительство в полном согласии с Ц. И. К. принимает меры к ликвидации движения. И, наконец, премьер-министр, успокаивая своих местных представителей по части министерского кризиса, ведал миру о том, что ныне происходят переговоры об образовании правительства в полном его составе: «происшествиями вчерашнего и сегодняшнего дня переговоры прерваны, но немедленно после ликвидации уличных беспорядков переговоры возобновятся в целях создания правительства в прежнем соотношении представителей политических течений, что вполне одобряется Исп. Ком. Р., Солд. и Крест. Деп.»... То же самое достопочтенный джентльмен сообщил для печати и журналистам.

Но как же не стыдно было этому благороднейшему представителю цензовой России так безбожно подводить своего собственного агента и ангела-хранителя, благороднейшего представителя демократии! ... Ведь Церетели же твердил в Ц. И. К. и уверял народные массы в том, что никакие переговоры об «образовании правительства в его целом» совершенно неуместны впредь до созыва полномочного органа всей демократии, пленума Ц. И. К. А вдруг оказывается, что шушуканье в темном уголке, за спиной и у народа, и у Ц. И. К. идет на всех парах. Это — раз.

А затем — ведь вопрос о власти по существу ни в какой мере не предрешается наличным «неправомочным» составом центрального советского органа.

Ведь мы не правомочны, мы ничего не знаем и не можем, — как пленум решит, так и будет. А вдруг, в результате шушуканья, глава правительства официально сообщает, ссылаясь на Ц. И. К., что новое правительство будет создано «в прежнем соотношении течений». Вопрос, стало быть, только в *личном составе второй коалиции*... Нехорошо благородному революционному премьеру так выдавать головой свою надежнейшую опору, своего верного слугу!...

Но телеграмма Львова была тогда еще не напечатана. Мы, без дела толкаясь в Ц. И. К., ничего об этом тогда не знали. И как бы кристально ясна ни была нам тактика звездной палаты, все же мы не думали, что сделка с плутократией уже заключена официально.

В два часа дня, среди беспорядка, в белом зале, переполненном разными вооруженными людьми, открылось заседание солдатской секции. Отвлеченный чем-то в Ц. И. К. — я не был там. Из 700 депутатов налицо было всего 250. Долго спорили о том, законно ли собрание и решили, что — законно. Доклад делал Дан и, судя по газетным отчетам, делал его в самых отчетливых правых тонах. Он поставил вопрос в полном об'еме — и о кризисе власти, и о беспорядках.

— Наши товарищи, министры-социалисты, — говорил Дан, — принесли тяжелую жертву, вступив в министерство. И, если они теперь отказываются от перехода всей власти в их руки, то только потому, что при современных условиях такой переход невозможен. Уход кадетов не только не повлек за собой ухода других буржуазных министров, но вызвал раскол в самой кадетской партии. Имеются

группы буржуазии, которые предпочитают идти вместе с министрами-социалистами для защиты дела революции...

Такова была философия момента по вопросу о власти. Затем Дан говорил о деспотизме вооруженных кучек и о необходимости отпора, вспоминал о Николае, предсказывал Наполеона и выражал гордость по поводу наступления нашей армии на фронте... Но, кажется, дело и ограничилось агитацией. Ни для какого реального «задания» солдатская секция использована не была. Что же касается успеха Дана, то едва ли он был значительным: в головы солдатских низов уже давно и прочно укладывалась идея власти своих советов, наряду с лозунгами «долой капиталистов и господ!» Они слушали агитацию потому, что она исходила от советских людей в Совете. И в лучшем случае ему, Совету, они несли все свое доверие, всю свою преданность, свою силу, передавая ему тем самым всю власть. Правительства заведомо никто не хотел знать из всех этих сотен тысяч подлинных петербургских масс. И речам Дана, в лучшем случае, по привычке верили эти мужички в серых шинелях, но по существу их не понимали. Если и имел успех Дан, то этот успех был ложным, внутренне-противоречивым.

Но несомненно, что добрая половина этих старых советских преторианцев относилась к речам Дана подозрительно и явно враждебно. Движение против коалиции разлилось слишком широко. Звездной палате помогало только то, что оно волею судеб направлялось вместе с тем против Советов. На этом и должны были поскользнуться «повстанцы» и их вдохновители — большевики.

Солдатской секции пришлось разойтись, не приняв никаких практических решений. Белый зал понадобилось очистить для соединенного заседания рабоче-солдатского и крестьянского Ц. И. К. Из города попрежнему приходили вести о новых и новых выступлениях, о стычках, о пальбе, об убитых...

Говорили, что к Таврическому дворцу подходят новые толпы и военные части. Начальство снова распорядилось, чтобы заседание Ц. И. К. было закрытым — Бог весть почему и для чего! Опять были приняты особые меры к соблюдению государственной тайны, и в зал не проникла из посторонних ни одна душа. Было пустынно и скучно...

Впрочем, в начале заседания я не был и оставался в комнатах Ц. И. К. Сообщили, что с Путиловского завода выступала рабочая армия в 30.000 человек. Говорили о двух огромных боевых колоннах, с артиллерией и пулеметами, на Невском и Литейном. Положение становилось совсем серьезным, и не было никаких видимых средств к предотвращению возможного всеобщего погрома и огромного кровопролития.

Но, вдруг, над Петербургом разразился проливной дождь. Минута — две — три, и «боевые колонны» не выдержали. Очевидцы-командиры рассказывали мне потом, что солдаты-повстанцы разбегались, как под огнем и переполнили собой все под'езды, навесы, подворотни. Настроение было сбито, ряды расстроены. Дождь распылил восставшую армию. Выступившие массы больше не находили своих вождей, а вожди — подначальных... Командиры говорили, что восстановить армию уже не удалось, и последние шансы на какие-нибудь планомерные операции,

после ливня, совершенно исчезли. Но осталась разгулявшаяся стихия...

Было около пяти часов. В комнатах Исполн. Комитета кто-то впопыхах сообщил, что ко дворцу подошли кронштадтцы. Под предводительством Раскольникова и Рошаля, они заполнили весь сквер и большой кусок Шпалерной. Настроение их самое боевое и злобное. Они требуют к себе министров-социалистов и рвутся всей массой внутрь дворца.

* * *

Я отправился в залу заседаний. Из окон переполненного коридора, выходящих в сквер, я видел несметную толпу, плотно стоявшую на всем пространстве, какое охватывал глаз. В открытые окна лезли вооруженные люди. Над толпой возвышалась масса плакатов и знамен с большевистскими лозунгами (9 июня). В левом углу сквера попрежнему чернели безобразные массы броневиков.

Я добрался до вестибюля, где было совсем тесно, и вереницы и группы людей в возбуждении, среди шума и лязга оружия, зачем-то проталкивались вперед и назад. Вдруг меня кто-то сильно дернул за рукав. Передо мной стояла служащая в редакции «Известий», моя старая знакомая, недавно вернувшаяся с каторги эсерка Леша Емельянова. Она была бледна и потрясена до крайности.

— Идите скорее... Чернова арестовали... Кронштадтцы ... Вот тут во дворе. Надо скорее, скорее ... Его могут убить!...

Я бросился к выходу. И тут-же увидел Раскольникова, пробиравшегося по направлению к Екатерининской зале. Я взял его за руку и потащил обратно,

на ходу об'ясняя, в чем дело. Кому же, как не Раскольникову унять кронштадтцев?.. Но выбраться было не легко. В портике была давка. Раскольников покорно шел со мной, но подавал двусмысленные реплики. Я недоумевал и начинал приходить в негодование... Мы уже добрались до ступеней, когда, расталкивая толпу, нас догнал Троцкий. Он также спешил на выручку Чернова.

Оказывается, дело было так. Когда в заседании Ц. И. К. доложили, что кронштадтцы требуют министров-социалистов, президиум выслал к ним Чернова. Лишь только он появился на верхней ступени портика, толпа кронштадтцев немедленно проявила большую аггрессивность и из многотысячной вооруженной толпы раздались крики:

— Обыскать его! Посмотреть, нет ли у него оружия!..

— В таком случае я не буду говорить, — об'явил Чернов и сделал движение обратно во дворец.

Вполне возможно, что Чернова и вызывали не для речей, а для других целей. Но во всяком случае эти цели были неопределенны, и после его заявления толпа сравнительно затихла. Чернов произнес небольшую речь о кризисе власти, отозвавшись резко об ушедших из правительства кадетах. Речь прерывалась возгласами в большевистском духе. А по окончании ее какой-то инициативный человек из толпы требовал, чтобы министры-социалисты сейчас же об'явили землю народным достоянием и т. п.

Поднялся неистовый шум. Толпа, потрясая оружием, стала напирать. Группа лиц старалась оттеснить Чернова внутрь дворца. Но дюжие руки схватили его и усадили в открытый автомобиль,

стоявший у самых ступеней с правой стороны портика. Чернова об'явили арестованным в качестве заложника...

Немедленно какая-то группа рабочих бросилась сообщить обо всем этом Ц. И. К. и, ворвавшись в белый зал, она произвела там панику криками:

— Товарищ Чернов арестован толпой. Его сейчас растерзают! Спасайте скорей! Выходите все на улицу!

Чхеидзе, с трудом водворяя порядок, предложил Каменеву, Мартову, Луначарскому и Троцкому поспешить на выручку Чернова. Где были прочие, не знаю. Но Троцкий подоспел во-время.

Я с Раскольниковым остановился на верхней ступени у правого края портика, — когда Троцкий, в двух шагах подо мною, взбирался на передок автомобиля. Насколько хватал глаз — бушевала толпа. Группа матросов, с довольно зверскими лицами, особенно неистовствовала вокруг автомобиля. На заднем его сиденьи помещался Чернов, видимо, совершенно утерявший «присутствие духа».

Троцкого знал и ему казалось бы верил весь Кронштадт. Но Троцкий начал речь, а толпа не унималась. Если бы по близости сейчас грянул провокационный выстрел, могло бы произойти грандиозное побоище, и всех нас, включая, пожалуй, и Троцкого, могли бы разорвать в клочки. Едва-едва Троцкий, взволнованный и не находивший слов в дикой обстановке, заставил слушать себя ближайшие ряды. Но что говорил он!

— Вы поспешили сюда, красные кронштадтцы, лишь только услышали о том, что революции грозит опасность! Красный Кронштадт снова показал себя, как передовой боец за дело пролетариата. Да

здравствует красный Кронштадт, слава и гордость революции...

Но Троцкого все же слушали недружелюбно. Когда он попытался перейти собственно к Чернову, окружавшие автомобиль ряды снова забесновались.

— Вы пришли об'явить свою волю и показать Совету, что рабочий класс больше не хочет видеть у власти буржуазию. Но зачем мешать своему собственному делу, зачем затемнять и путать свои позиции мелкими насилиями над отдельными случайными людьми? Отдельные люди не стоят вашего внимания... Каждый из вас доказал свою преданность революции. Каждый из вас готов сложить за нее голову. Я это знаю... Дай мне руку, товарищ! .. Дай руку, брат мой!...

Троцкий протягивал руку вниз, к матросу, особенно буйно выражавшему свой протест. Но тот решительно отказывался ответить тем же и отводил в сторону свою руку, свободную от винтовки. Если это были чуждые революции люди или прямые провокаторы, то для них Троцкий был тем же, что и Чернов или значительно хуже: они могли только ждать момента, чтобы расправиться вместе с адвокатом и подзащитным. Но я думаю, что это были рядовые кронштадтские матросы, воспринявшие, по своему разумению, большевистские идеи. И мне казалось, что матрос, не раз слышавший Троцкого в Кронштадте, сейчас, действительно, испытывает впечатление измены Троцкого: он помнит его прежние речи, и он растерялся, не будучи в состоянии свести концы с концами... Отпустить Чернова? Но что же надо делать? Зачем его звали?

Не зная, что делать, кронштадтцы отпустили Чернова. Троцкий взял его за руку и спешно увел

внутрь дворца. Чернов в бессилии опустился на свой стул в президиуме... Я же, оставаясь на месте происшествия, вступил в спор с Раскольниковым.

— Уведите же немедленно свою армию, — требовал я. Ведь вы видите, легко может произойти самая бессмысленная свалка... Какая же политическая цель их пребывания здесь и всего этого движения? Воля достаточно выявилась. А силе тут делать нечего. Ведь вы знаете, вопрос о власти сейчас обсуждается, и все что происходит на улицах только срывает возможное благоприятное решение...

Раскольников смотрел на меня злыми глазами и отвечал не ясными односложными словами. Он явно не знал, что именно ему дальше делать со своими кронштадтцами у Таврического дворца. Но он явно не хотел уводить их...

Я понимал достаточно хорошо, что такое — стихийное движение. Но я совершенно не понимал Раскольникова в этот момент. Он явно чего-то не договаривал, что знал, но не хотел сказать мне. Я же не понимал его именно потому, что не знал тогда действительной позиции его начальства, большевистского Ц. К.: я не знал, что большевики уже по меньшей мере целый месяц (не на словах, а на деле) находятся в полной готовности взять в свои руки всю полностью государственную власть «при благоприятных условиях»... Раскольников имел соответствующие директивы.

Однако, хотя движение было огромно, переворота все же «не выходило». Здесь сказалась вся невыгода колебательных и половинчатых решений в критические моменты. В связи с инцидентом Чернова и речью Троцкого, Раскольников не мог вести сейчас

свою армию прямо на Ц. И. К., чтобы его ликвидировать. Момент был упущен, настроение сбито, психика запутана, дело могло сорваться, — особенно в виду торчащих слева броневиков. Ведь прямых приказов Раскольников и Рошаль не получили, а только условные... Но стоять на месте и ничего не делать многотысячной толпе, приведенной «защищать революцию» — было также невозможно. Настроение могло легко обратиться против самих кронштадтских генералов, как могло обратиться против Троцкого.

Разозленный спором с Раскольниковым я уже, было, взобрался на тот же передок автомобиля — хотя из этого заведомо ничего не могло выйти. Но в этот момент туда уже вскочил Рошаль. По детски картавя, в заискивающих выражениях он прославлял кронштадтцев за выполнение их революционного долга, — а затем приглашал отправиться на отдых в указываемые им пункты, где армия получит кров и пищу. Но доблестные кронштадтцы должны быть наготове. В каждый момент они могут понадобиться революции снова, и их призовут опять...

Я не дождался результатов. Но ведь кронштадтцы не знали, что им здесь делать, а Рошаль был для них огромным авторитетом... Я отправился в залу заседания Ц. И. К.

* * *

«Белый зал» представлял собой вчерашнюю картину. Он был не полон, и на хорах не видно было ни души. Не было только вчерашней чинности, а были признаки разложения... В зале среди депу-

татов присутствовало человек тридцать выборных от каких-то рабочих групп, допущенных с совещательными голосами по особому постановлению собрания. Ораторы, как и вчера, выходили на трибуну один за другим и говорили на вчерашние темы. Было совсем не интересно. Ц. И. К., с его академическими прениями, с его бессильным топтаньем на месте, казался странным оазисом, не имеющим ничего общего с бушующим Петербургом.

Я пробыл в заседании недолго, хотя тоже был записан в очередь этих ненужных ораторов. Скоро мне надоело, и я отправился «в народ». Как будто бы в Екатерининском зале и вестибюле толпа стала чуть-чуть пореже. Но в общем та же картина многолюдной, бестолковой суеты. Поредело и в сквере: кронштадтцы, действительно, куда-то исчезли. Но были налицо какие-то новые толпы...

В это время у левых ворот, выходящих на Шпалерную, показалась какая-то особо густая масса. В сквер входили солдатские отряды несколько особого вида. В пыли и в грязи, промокшие от ливня солдаты имели деловой походный вид, с ранцами за плечами, со скатанными, одетыми через голову шинелями, с манерками и котелками. Толпа расступалась перед их компактными рядами. Заняв всю дорогу сквера, от одних ворот до других, отряд остановился и стал располагаться самым деловым образом: ставили ружья в козла, стряхивали мокрые шинели, складывали в кучи свое имущество... Это был 176-й запасный полк, тот самый, о котором я слышал два дня тому назад подробный доклад на вышеописанной конференции «междурайонцев». Это была также большевистская «повстанческая» армия. По требованию большевистских организаций, полк пришел

пешком из Красного Села, — для «защиты революции».

Ну, и что же намерен делать этот замечательный в своем роде полк? И где же те вожди, которые его зачем-то вызвали?.. Вождей было невидно. А полк опять-таки не знал, что ему делать. Несомненно, после тяжелого пути он был не прочь отдохнуть. Но, казалось бы, в нем должно было все-таки жить сознание, что его вызвали не за этим. Однако, никто ничего не приказывал ему...

У входа во дворец появился Дан. Очевидно, к нему обратилась полковая делегация, посланная на разведки. Дан вышел «принять» полк. И он дал ему дело. Полк совершил, по своей доброй воле, трудный поход для защиты революции? — Отлично. Революция, в лице центрального советского органа, действительно, подвергается опасности. Надо организовать надежную охрану для Ц. И. К... И Дан лично, при содействии командиров «восставшего» полка, расставил из солдат-повстанцев караулы в разных местах дворца, для защиты тех против кого было направлено восстание...

Да, бывают и такие случаи в истории! Но едва ли такая история повторяется. Дан не знал, что это за полк и зачем пришел он. И Дан нашел полку применение. А полк не знал, что ему делать у достигнутой цели путешествия. И не получая других приказаний, он беспрекословно стал на службу врагу. Теперь дело уже было кончено: полк был распылен, головы солдат были окончательно запутаны и превратить его вновь в боевую силу восстания было уже невозможно... Было часов семь.

* * *

Я вернулся в заседание. Там не было ничего нового. Но вот, как стрела, пронеслась весть: подошли путиловцы, их 30.000 человек, они ведут себя крайне аггрессивно, часть их ворвалась внутрь дворца, они ищут и требуют Церетели... Церетели в этот момент не было в зале. Говорили, что за ним гнались по дворцу, но не нашли, потеряли из виду. В зале волнение, шум, неистовые выкрики. В этот момент бурно врывается толпа рабочих, человек в 40, многие с ружьями. Депутаты вскакивают с мест. Иные не проявляют достаточно храбрости и самообладания.

Один из рабочих, классический санкюлот, в кепке и короткой синей блузе без пояса, с винтовкой в руке вскакивает на ораторскую трибуну. Он дрожит от волнения и гнева и резко выкрикивает, потрясая винтовкой, бессвязные слова:

— Товарищи! Долго ли терпеть нам, рабочим, предательство?! Вы собрались тут, рассуждаете, заключаете сделки с буржуазией и помещиками... Занимаетесь предательством рабочего класса. Так знайте, рабочий класс не потерпит! Нас тут путиловцев 30.000 человек, все до одного!.. Мы добьемся своей воли! Никаких чтобы буржуев! Вся власть Советам! Винтовки у нас крепко в руке! Керенские ваши и Церетели нас не надуют!..

Чхеидзе, перед носом которого плясала винтовка, проявил выдержку и полное самообладание. В ответ на истерику санкюлота, изливавшего голодную пролетарскую душу, председатель, спокойно наклонившись со своего возвышения, протягивал и всовывал в дрожащую руку рабочего вчерашнее воззвание, цитированное мной:

— Вот, товарищ, возьмите, пожалуйста, прошу

вас и прочтите. Тут сказано, что вам надо делать и вашим товарищам-путиловцам. Пожалуйста, прочтите и не нарушайте наших занятий. Тут все сказано, что надо...

В воззвании было сказано, что все выступавшие на улицу должны отправляться по домам, иначе они будут предателями революции. Больше ничего не имела за душой правящая советская группа, и больше ничего не нашелся предложить Чхеидзе представителям народных недр в момент крайнего напряжения их революционной воли.

Растерявшийся санкюлот, не зная, что ему делать дальше, взял воззвание и затем без большого труда был оттеснен с трибуны. Скоро «убедили» оставить залу и его товарищей. Порядок был восстановлен, инцидент ликвидирован... Но до сих пор стоит у меня в глазах этот санкюлот на трибуне «белого зала», в самозабвении потрясающий винтовкой перед лицом враждебных «вождей демократии», в муках пытающийся выразить волю, тоску и гнев подлинных пролетарских низов, чующих предательство, но бессильных бороться с ним. Это была одна из самых красивых сцен революции. А в комбинации с жестом Чхеидзе одна из самых драматических.

* * *

Снова говорят ораторы. Путиловцев пошли увещевать какие-то присяжные агитаторы звездной палаты. Надо думать, «убедят», и все обойдется благополучно... В зале попрежнему скука и сознание полной бесполезности всех этих словопрений.

Любопытно наблюдать настроение мужичков. Как и преторианцы солдатской секции, они совсем не

прочь устранить от власти буржуазию и двинуть вперед революцию, т. е. собственно аграрную. Иные простецкие мужицкие головы, не искушенные в «марксистских» теориях о буржуазности нашей революции и необходимости держать буржуазию у власти, искренне недоумевали и терялись. Ведь, князь Львов и архи-миллионер Терещенко явно саботируют советскую программу, — так чего же за ними гоняться? Ведь вся власть уже давно находится в их мужицко-советских руках, — так чего же бояться об'явить об этом?.. Мужички поговаривали так в интимных уголках. Но это была только одна сторона дела. Другая та, что они, как огня, боялись большевиков и интернационалистов — предателей родины, слуг Вильгельма, всеобщих разрушителей, безбожников, говорящих на чужом языке классовой борьбы и международной пролетарской солидарности. Мужички были мужички и, чем они были хозяйственнее, тем ярче выступала в их речах и во всем их облике старая реакционно-антисемитская основа...

На этом страхе большевизма и играли лидеры советского большинства. Раз'яснить свои теории мужичкам они не могли. Но запугать Лениным и анархией было не так трудно. И, поговаривая в интимных уголках, «трудовое крестьянство» не делало и не могло делать никаких практических выводов. Оно крепко держалось за звездную палату, не понимая ее политики — чтобы не пропасть в лапах большевиков...

Меня вызвали из залы заседаний. В коридоре — какой-то скандал, в центре которого стоит Рязанов, наполняющий кулуары своим великолепным, мощным тенором. Мы, группа левых, спешно про-

толкнулись в одну из боковых комнат и долго что-то улаживали. В чем было дело, не помню... Но в коридорах и залах было к вечеру значительно свободнее. Там и сям стояли какие-то группы солдат у ружей в козлах. Иные сидели и лежали. Может быть, это были караулы, поставленные Даном из 176 полка. Но толпа сильно поредела.

Путиловцы, действительно, вскоре удалились. Идя сюда, они были застигнуты ливнем и промокли до нитки. Надо думать, что это подействовало на их настроение гораздо сильнее аргументов Войтинского или Завадье. И та опасность, какую они представляли собою, рассеялась довольно скоро...

Передавали, что и кронштадтцы, в огромном большинстве своем, прямо от Таврического дворца отправились на Николаевскую набережную; там сели на свои суда и поплыли во-свояси. Осталось их только две или три тысячи с Раскольниковым и Рошалем во главе; они пребывают где-то около дома Кшесинской и Петропавловской крепости.

Вообще, по слухам, доходившим до «центра революции», на улицах к вечеру стало быстро стихать. Кровь и грязь этого бессмысленного дня к вечеру подействовали отрезвляюще и, видимо, вызвали быструю реакцию. В самом деле, что же это такое делается, зачем, кто виновник, откуда эта кровь и грязь, убийства, грабежи, насилия, погромы?.. К вечеру стихия быстро входила в берега, улицы пустели. О новых «выступлениях» не было слышно. «Восстание» окончательно распылилось. Оставались только эксцессы разгулявшейся толпы... Раненых и убитых насчитывалось до 400 человек.

* * *

А мы все заседали. Речи тянулись монотонною чередой. Незаметно наступила темнота, и у стеклянного потолка, вокруг всего зала, ярко зажглись невидимые лампочки. Умно, по обыкновению, и убедительно, но «нереволюционно» говорил Мартов, убеждая советское большинство «приять» власть.

— С уходом кадетов вся организованная буржуазия отходит от революции, — говорил он. — Раз это так, то вся ответственность падает на наши плечи... Я верю, что демократия нас поддержит. Будущий пленум не сумеет цепляться за обломки коалиции. Раз это сознается, незачем откладывать...

Ораторы оппозиции резко порицают «несчастную мысль» Церетели бежать из Петербурга и перенести пленум в Москву. В бесконечном списке ораторов дошла очередь и до меня. Я говорил, поддерживая Мартова, так скверно, нудно, путано, что противно вспомнить. Я протестовал особенно против попытки уклониться от решения проблемы власти под предлогом вооруженного давления извне. Нестерпимое лицемерие рыцарей буржуазии, приобретающих капитал на беспорядках.

Я не помню выступления Троцкого. О нем не упоминается в газетах. Но Троцкий был налицо, сидя в изолированной кучке с Луначарским и еще с кем-то на верхних крайних правых скамьях. Кучка эта была мишенью для диких выкриков и свирепых взоров остального зала в течение всего дня. Надо ли прибавлять, что Стеклова тут не было. Но вот, эта кучка куда-то рассосалась. Я увидел, что Луначарский остался один. В голове у меня шевельнулось что-то в роде духа протеста и солидарности; под злыми взглядами мамелюков я прошел через весь зал к Луначарскому, сел рядом и завязал беседу.

— Что же вы не выступите? Ведь они примут это за смирение напрокозивших школьников...

— Я записан, — ответил Луначарский, — но не собирался выступать. А вы думаете, следует?

— Без всякого сомнения.

Луначарский пошел к Чхеидзе посмотреть, скоро ли его очередь. Оставалось до него два-три человека. Мы сидели и ждали, вяло переговариваясь... Вдруг совсем близко раздался ружейный выстрел, за ним другой. Кто-то с пустынных хор истерически закричал о каких-то расстрелах. В зале поднялась паника и суматоха. Мужички и интеллигенты вскакивали и метались. Было смешно и противно смотреть на перетрусивших «вождей революции»...

Все ограничилось этими выстрелами. Потом об'ясняли, что выстрелы были случайны: будто бы в сквере сорвались с привязи лошади и произвели переполох, среди которого сами собой выстрелили две-три винтовки.

Чхеидзе дал слово Луначарскому. Он говорил, как всегда, красиво, но без убеждения и без огня. Он об'яснял народное движение общими причинами и требовал устранения их правильным решением вопроса о власти. Луначарский выглядел изнуренным и подавленным. Он, видимо, начал основательно переживать похмелье...

Все вообще устали нестерпимо от нелепого и ненужного заседания. Но оставалось еще несколько ораторов. Об'явили перерыв, и все бросились в сад, переполнили буфет и прохладные комнаты Исп. Комитета. Было часов одиннадцать. Таврический дворец представлял собой ту же картину, что в первые дни революции, в глубокие ночные часы. Посторонних людей было уже совсем мало. Вдоль бесконеч-

ных стен Екатерининского зала и вестибюля, около ружей в козлах, спали солдаты.

* * *

В буфете, около чая и бутербродов, была давка. У усталых людей, привыкших к калейдоскопу огромных событий, кипевших четыре месяца в огне революции, уже притупились впечатления бурного дня. С большим оживлением входили друг с другом в сделки насчет стульев и стаканов, ибо не хватало ни посуды, ни мест за столом. В раскрытые окна тянуло прохладой из опустевшего сада...

Но вот неуловимыми путями в сознание отдыхавших и праздно болтавших депутатов проникло ощущение какой-то новой сенсации. Как-то особенно забегали члены и приближенные звездной палаты. В глазах некоторых из них, помимо озабоченности, сверкал какой-то злорадный огонек, как будто они, наконец, накрыли врагов своих злоключений и могут, но стесняются праздновать реванш. Вокруг этих начальствующих лиц стали образовываться кучки. Что-то передавалось из уст в уста.

Я отвоевал себе место за столом, когда ко мне быстро подошел Луначарский. В этот момент, не щадя ни иронии, ни веселых тонов, я рассказывал о делах этого дня кому-то из посторонних людей. Я обернулся к Луначарскому.

— Так, стало быть, Анатолий Васильевич, эти двадцать тысяч были совершенно мирным населением?..

Луначарский круто повернулся и отошел от меня прочь. Я уже несколько раз сегодня, по свойственной мне дурной привычке, подшучивал над его де-

бютом в качестве полководца. Но сейчас моя шутка, видимо, не соответствовала его настроению. Я пошел за ним и спросил, в чем дело.

Сенсация была, действительно, из ряда вон выходящей. Не больше, не меньше, как получены сообщения о связи Ленина с германским генеральным штабом. В редакциях газет имеются на этот счет документы, которые предназначены к опубликованию в завтрашних нумерах.

Президиум спешно принимает меры к тому, чтобы помешать их печатанию — впредь до обсуждения дела в «ответственных» советских сферах. Церетели и другие лихорадочно столковываются по телефону с премьером Львовым и с редакциями. Редакции, конечно, не обязаны подчиниться, но надо думать, что совместными усилиями их убедят выполнить требование столь почтенных лиц и учреждений...

Все это было так чудовищно и нелепо, что было достойным завершением этого сумбурного дня. Разумеется, никто из людей, действительно, связанных с революцией, ни на миг не усомнился во вздорности этих слухов. Но — Боже мой! — что начались за разговоры среди большинства, случайных людей, темных городских и деревенских обывателей. Во всяком случае, наша звездная палата правильно оценила, как степень серьезности, так и существо этого гнусного дела. Предпринятые ею шаги заслуживали всякого одобрения.

Не могу сказать, сколько времени понадобилось депутатам для переваривания этой новой сенсации и для надлежащего успокоения. Кажется, около часа ночи об'явили, что заседание возобновляется, и стали усиленно загонять членов «революционного парла-

мента» в пустынный белый зал. Около дворца и внутри его было сравнительно тихо. По скверу и по залам, среди спящих солдат, бродили небольшие группы военных и штатских...

* * *

Заседание возобновилось. Ораторов оставалось всего три-четыре человека. Но были и внеочередные: при бурном патриотическом восторге мамелюков, при гневных их взорах, обращенных на нас, говорил «представитель 12-ой армии», сию минуту прискакавший на автомобиле из Двинска по вызову советских властей. Это был член старого, не перевыбранного с первых дней армейского комитета, довольно известный правый меньшевик Кучин-Оранский, взявший на себя смелость говорить от имени армии. Производя впечатление своим боевым «окопным» видом, он резко порицал вооруженные выступления, организованные безответственными и темными элементами против правительства и самого Совета; он называл беспорядки ножом в спину армии, напрягающей все свои силы в борьбе за свободу родины, и говорил о готовности фронта решительными мерами «защищать революцию», не останавливаясь ни перед чем для ликвидации беспорядков.

Ого! В дело вступает фронт! Спрашивается: один ли Кучин был вызван из действующей армии для произнесения речи? Не будет ли естественно предположить, что почтенный блок Львова-Терещенки-Церетели-Чернова спешит вообще апеллировать к фронту, — и в столицу вызываются не

только отдельные курьеры для произнесения речей? Может быть, войска по вызову Керенского-Церетели уже давно движутся с фронта на усмирение Петербурга?.. Однако, точно ничего об этом в те часы не знали.

Если не ошибаюсь, выступление Кучина было не единственным в своем роде. Как будто бы говорили и еще курьеры от каких-то частей, расположенных в окрестностях. Говорили в том же роде... В это время кто-то сообщил, что часа два или три тому назад разгромлена большевистская «Правда». Ого! Дело, видимо, поворачивается быстро и круто...

Инициатором наступления на «Правду» оказался доблестный министр юстиции, Переверзев. Он счел уместным и своевременным именно вечером 4 июля отдать приказ об освобождении типографии, некогда печатавшей «Сельский Вестник» и занятой (кажется, по моему ордеру) «Правдой» в первые дни революции. Сказано — сделано. Переверзев распорядился немедленно выполнить приказ. В типографию и редакцию тут же был отправлен наряд, который арестовал всех наличных людей, а также рукописи, документы и проч. Все это было доставлено в штаб округа, где лично имел пребывание министр юстиции. Вероятно, все это он проделал в связи с полученными известиями о подкупе Ленина немецким генеральным штабом...

А после законных властей в помещении «Правды» стала хозяйничать толпа. «Инвалиды» и прочие черносотенные элементы произвели окончательный разгром редакции; рвали, ломали, жгли... Дело, видимо, поворачивалось быстро и круто.

Сообщали и о многочисленных арестах, которые производятся сейчас, ночью по всему городу. В

тот же главный штаб отовсюду свозятся десятки всяких людей, «подозреваемых в стрельбе» и в подстрекательстве к беспорядкам. На улицах и в домах ловили солдат, рабочих, особенно матросов. Тут их допрашивали и отправляли по тюрьмам. Сюда же со всех сторон несли отобранное оружие — револьверы, винтовки, пулеметы.

* * *

Заседание продолжалось. Ораторы были уже совсем на исходе. Вдруг послышался какой-то отдаленный шум. Он становился все ближе и ближе... Уже ясно был слышен в окружающих залах мерный топот тысяч ног... В зале опять волнение. На лицах беспокойство, депутаты вскочили с мест. Что это такое? Откуда новая опасность революции?..

Но на трибуне, как из-под земли, вырастает Дан. Он так переполнен торжеством, что хочет скрыть хоть часть его и придать себе несколько более спокойный, об'ективный, уравновешенный вид, — но это ему не удается.

— Товарищи, — провозглашает он, — успокойтесь! Никакой опасности нет! Это пришли полки, верные революции, для защиты ее полномочного органа Ц. И. К...

В этот момент в Екатерининском зале грянула могучая марсельеза. В зале энтузиазм, лица мамелюков просветлели. Торжествующе косясь в сторону левых, они в избытке чувств хватают друг друга за руки и в упоении, стоя с обнаженными головами, тянут марсельезу.

— Классическая сцена начала контр-революции! — гневно бросает Мартов.

Левые неподвижно сидят, с презрительными лицами взирая на торжество победителей. Да, в результате июльских дней, пожалуй, выгорит безнадежное дело коалиции!

В Таврический дворец, действительно, явились какие-то «верные» части, — кажется, батальон Измайловского полка, а за тем, конечно, семеновцы и преображенцы. Собственно, это стоило совсем не дорого. В ночные часы полного успокоения столицы они могли быть проведены в полной безопасности к Таврическому дворцу — «для защиты революции и охраны Совета». Мы знаем, что это были пока не тронутые большевизмом части, противники «выступлений» — независимо от происходившего перелома настроения. Привести их сюда — стоило совсем немногого.

Но это было и совершенно бесполезно. Революции, в лице «полномочного органа», уже решительно никто не угрожал. А при действительной опасности, в случае нападения, — эти полки, надо думать, не выдержали бы и одного залпа. «Классическая сцена контр-революции» была не фактором, а только симптомом радикального изменения кон'юнктуры. Но факт оставался фактом.

На трибуну взошел командир пришедших частей. Депутаты, косясь на нашу кучку, встретили его восторженной манифестацией. А он ответил речью о преданности революции и готовностью кровью защищать ее. Это была замечательнейшая речь: она отражала в себе все нелепое противоречие, всю бесподобную путаницу взаимоотношений в тот период революции.

Командир говорил о своей верности Совету и о готовности грудью стоять за него. И он назы-

вал Совет единственной властью, которой армия должна служить и будет беспрекословно повиноваться. Никаких партийных центров и отдельных групп! Только центральный советский орган, призванный вязать и решать судьбы революции... О Вр. Правительстве, о Львове и Терещенке — ни слова, как будто их никогда не было на свете. Наличная реальная сила государства слагала к ногам Совета всю власть.

Не то ли твердили и «повстанцы»? Не во имя ли того же самого они поднимали знамя восстания? Что это — своя своих не познаша?.. Нет, путала дело только форма. По существу же — «повстанцы» требовали диктатуры Совета, исполняющего их непреложную программу: мира, хлеба и земли; они требовали для него всей власти и требовали, чтобы он ею пользовался, как свойственно пользоваться властью рабоче-крестьянскому правительству. А «верные» признавали Совет диктатором без всяких оговорок; они слепо шли за слепыми лидерами и готовы были сделать (без опасности для себя!) решительно все, что он прикажет. Совет же приказывал им не признавать его властью, а защищать диктатуру Терещенки и Львова. «Верные» молчаливо соглашались, ибо признавали Совет диктатором и властью...

Удовлетворяло ли все это самих лидеров Совета? Какие выводы из всего этого они делали? Никаких. Во всем этом они не считали нужным разбираться, обо всем этом они не раздумывали. Ибо они были слепы. И радовались, слушая заявления о слепом повиновении слепых людей...

Оставался последний жест. Надо было принять резолюцию о власти и о событиях дня. Резолюций

были две или три. Одну из них огласил Мартов: это была резолюция, составленная накануне утром, о создании чисто демократической власти. Она собрала не больше двух десятков голосов. Другая была оглашена от имени меньшевистско-эсеровского блока, и была принята голосами четырех сотен депутатов. Резолюция гласит:

Обсудив кризис, созданный выходом из состава правительства трех министров кадетов, об'единенное собрание Исп. Ком-в С. Р. и С. Д. признает, что уход кадетов ни в каком случае не может считаться поводом для лишения правительства поддержки революционной демократии, но что вместе с тем уход этот дает демократии основание для пересмотра своего отношения к организации правительственной власти... Даже в обычных условиях развития революции рассмотрение такого вопроса потребовало бы собрания полного состава Ц. И. К. с представительством мест. Тем более такое собрание становится необходимым теперь, когда часть гарнизона и петроградских рабочих сделали попытку навязать полномочным органам революционной демократии волю меньшинства вооруженным выступлением. В виду это, собрание постановляет: созвать через две недели полное собрание Ц. И. К. для решения вопроса об организации новой власти и озаботиться временным замещением вакантных должностей по управлению министерствами лицами по соглашению с Ц. И. К. С. Р. С. и Кр. Деп. (?). Вместе с тем, охраняя волю всероссийской демократии, собрание подтверждает, что до нового решения полных составов Ц. И. К-тов вся полнота власти должна оставаться в руках теперешнего правительства, которое должно действовать, последовательно руководясь решениями Всер. С'езда Советов. И если бы революционная демократия признала необходимым переход всей власти в руки Советов, то только полному собранию Исп. Ком-тов может принадлежать решение этого вопроса...

Не правда ли, документ этот так же любопытен, как и речь командира подоспевших «верных» полков. Диктатура Совета и здесь провозглашается, как

существующий незыблемый факт: если предстоит окончательно прогнать буржуазию от власти, то это решит «полное собрание Исп. Комитетов» и «только ему это решение может принадлежать». Другая заинтересованная (и притом крайне заинтересованная) сторона, сама буржуазия, тут не в счет. Ни у Львова, ни у Терещенки, ни даже у Керенского — никто об этом и не подумает спросить. Так говорит звездная палата. Если решим, то возьмем и декларируем, ибо дело только в декларации существующего факта.

И в то же время «полное собрание» предназначается для того, чтобы передать власть Терещенке и Львову. Это уже твердо решено, и на этот счет уже вполне успокоена буржуазия. Премьер-министр уже возвестил официально новую коалицию.

Словом, документ, появившийся на свет под гром восстания, в итоге двухдневных парламентских прений, представлял собой едва ли не единственную в своем роде картину всемогущих волею народа диктаторов, в панике улепетывающих от собственной тени...

Но все-таки одного измышления Церетели устыдилась (уже не в первый раз) звездная палата: о Москве в резолюции нет ни слова. «Полное собрание» предстояло в Петербурге...

* * *

Отметим еще: как и накануне в заседании не было большевиков. Их лидеры снова провели ночь в Центр. Комитете. Это была для них тяжелая ночь. Разгромлена «Правда»; приняла неслыханные формы

клевета на Ленина; явно и вполне бесславно провалилось движение, фактически взятое ими на свою ответственность; и, наконец, ясно определился в массах перелом, чреватый тяжелыми последствиями...

Этой ночью, в своем Ц. К., большевики постановили «прекратить демонстрации, в виду того, что политическими выступлениями солдат и рабочих 3 и 4 июля самым решительным образом подчеркнуто то опасное положение, в которое поставлена страна, благодаря губительной политике Вр. Правительства» (!)... Вот какая гримаса должна была изобразить улыбку удовлетворения... Да, урон был тяжелый — и материальный, и моральный, и идейный. Но это были еще цветочки...

Итак, все дела были покончены. Мамелюки торжествовали. И обстоятельства складывались так, что, кажется, никакие силы не могли помешать их торжеству... Оставалось пока-что разойтись по домам. Зал, через стеклянный потолок, уже давно наполнялся дневным светом. Было часа четыре.

Во дворце было снова гораздо многолюднее. В залах зачем-то бивуаком расположились пришедшие «верные» части. Но спасать было не только не от кого, но и некого. Депутаты расходились. Кажется, для приличия Чхеидзе оставался «ночевать» в Таврическом дворце...

Сквер, залитый восходящим солнцем, был пуст и спокоен. Броневики уже не чернели слева. Их передвинули в сад позади дворца... Не было и на улицах признаков недавней бури... Не помню, где я «ночевал» в это утро.

Среда, 5-е июля.

На следующий день, в среду 5-го июля, все петербургские газеты, действительно, вышли б е з заготовленного в редакциях материала о предательстве Ленина. Только одна газета, кажется, «Биржевые Ведомости» — не послушалась Львова и Церетели. В результате, материалы о Ленине в этот день все же стали достоянием гласности. А на следующий день их перепечатала вся буржуазно-бульварная пресса.

Но что же за материалы добыли ревнители истины по этому чудовищному делу? И как же звали этих патриотов, изобличивших Ленина в государственной измене?... Их имена, конечно, суть достояние истории. Имена эти звучат так: одно — старый шлиссельбургский сиделец, ныне эсер Панкратов, более ни чем не известный в революции 17-го года; а другое — это втородумец Алексинский, уже нам известный. Имя его совершенно достаточно говорит само за себя и с исчерпывающей полнотой a priori характеризует ценность материалов. Но все же я сообщу их, чтобы показать степень подлости нашей либеральной прессы, которая отныне стала говорить о продажности Ленина, как о факте документально доказанном.

Оказывается, господа Алексинский и Панкратов опубликовали вполне «официальный документ». Это был протокол допроса одного прапорщика, некоего Ермоленко, в штабе верховного главнокомандующего от 16 мая 1917 г. за № 3719. Ермоленко показал, что он был «переброшен» немцами в наш тыл для агитации в пользу скорейшего сепаратного

мира. Поручение это он принял «по настоянию» каких-то «товарищей». В германском же штабе ему сообщили, что такую агитацию в России уже ведут другие немецкие агенты и, между прочим, Ленин. Ленину поручено всеми силами стремиться «подорвать доверие русского народа к Вр. Правительству». Деньги на агитацию и инструкции получаются в Стокгольме от одного служащего при германском посольстве... Посредниками являются в Стокгольме некий Ганецкий, его родственница г-жа Суменсон и Парвус, а в Петербурге известный нам член Ц. И. К. адвокат Козловский. «Военной цензурой установлен непрерывный обмен телеграммами денежного и политического характера между германскими агентами и большевистскими лидерами».

Никому неизвестно, существовала ли когда-нибудь в действительности темная личность по имени Ермоленко, согласившаяся быть агентом германского штаба. Неизвестно и то, был ли такого рода документ, действительно, переслан от начальника штаба верховного главнокомандующего в штаб военного министра Керенского. Может быть, он был целиком сфабрикован на Дворцовой площади, где около Керенского кишмя кишело черносотенное офицерство. Но, очевидно, услужливые руки все же передали оттуда такую бумаженку в руки Алексинского. Уж его-то репутация установлена твердо! Уж он-то сделает из бумаженки надлежащее употребление!... И Алексинский предал документ гласности, в качестве неоспоримого доказательства измены Ленина.

Казалось бы, необыкновенно странно, что этот «протокол» в глазах «публики» мог послужить такого рода доказательством. Казалось бы, что из

этого документа можно было сделать всякие выводы, но не вывод о подкупности большевистского лидера. Казалось бы, в частности, он ровно ничего не прибавляет к ежедневным ушатам клеветы из бульварной печати. Но на деле оказалось не так. На фоне июльских событий, на фоне бешеной злобы буржуазно-правосоветских элементов, на фоне страшного Katzenjammer'а «повстанцев» — опубликованный документ произвел совсем особое, очень сильное действие. В него никто не хотел вчитываться по существу. Документ о подкупности — и этого довольно. И для начавшейся реакции он послужил таким же фактором, каким для нее послужила вчерашняя бессмысленная кровь.

Решительно никаких дальнейших материалов не было опубликовано в последующие дни. Но для наступившего периода и этого оказалось достаточно. Можно представить себе без цитат, какая свистопляска началась в буржуазной прессе на этом фундаменте доказанной продажности Ленина. Суменсон, Ганецкие, Козловские — стали ежедневно поглощать сороковые бочки типографской краски...

На июльских беспорядках, несомненно, пытались сыграть царские охранники и действительные агенты германского штаба. Об этом говорят многие факты, — от разгрома квартиры Громана до нападения на здание, где помещалась наша военная разведка. Вчерашний сумбур, неразбериху, свалки, смены настроений пытались использовать всевозможные подонки столицы. Но инициаторами, виновниками всех преступлений, конечно, об'явили единогласно большевиков. И травлей их была наполнена «большая пресса» в первый день реакции 5-го июля.

«Новая Жизнь» в этот день вышла в немногих экземплярах, в самом убогом виде: типография накануне снова была захвачена, и нас приютила какая-то другая... Меня беспокоило, что я второй день не являюсь в редакцию. Сегодня решил явиться непременно.

* * *

А затем, среда 5-го июля, сейчас, через три с половиной года, рисуется мне в следующем виде: —

С утра трамваев не было. Но улицы, вообще говоря, пришли в норму. Сборищ и уличных митингов почти нет. Магазины почти все открыты. Изредка встречаются патрули — во главе с офицерами. В лавочках и на тротуарах говорят о немецких деньгах, полученных Лениным. Резко выражено озлобление против большевиков.

Таврический дворец также имеет почти обычный вид. Народа немного больше обыкновенного. Часу в двенадцатом я, кажется, уже не застал вчерашнего лагеря в Екатерининском зале. Но броневики с прислугой и охраной еще стояли в саду за дворцом.

Заседания не было, но предполагалось — «бюро». В комнатах Ц. И. К. депутатов было много, и они снова толкались без дела... Поступили сведения, что на заводы снова являются какие-то вооруженные люди и требуют прекращения работ... За столом хлопотал Дан, настаивая, чтобы кто-нибудь сейчас же написал обращение к рабочим — с призывом против забастовок и новых выступлений: он, Дан, изнемогает и решительно не в силах писать сам прокламацию.

Кто-то взялся за это дело и прокорпел над ним

минут двадцать. Но Дан, не стесняясь тоном, признал изготовленную бумажку негодной и, прибегая к последнему средству, настаивал, чтобы я написал воззвание. И я это сделал. Дан схватил поданный ему листок и побежал с ним... Это был, кажется, единственный случай моего сотрудничества с большинством Совета за шестимесячный период коалиции.

Большевиков попрежнему во дворце нет. Не видно, насколько помню, ни Троцкого, ни Луначарского. Левая представлена слабо...

Но вдруг среди левых — взрыв негодования. Оказывается, вызов войск с фронта для усмирения Петербурга есть совершившийся факт. На Петербург идет какой-то «сводный отряд», неизвестно из кого составленный, с кем во главе...

Мы помним пышное заявление Керенского, что войска движутся и будут двигаться только с тыла на фронт для защиты завоеванной свободы, но никогда обратно, против граждан свободной страны. Так оправдываются теперь эти фразы...

И ясно, что Ставка, Керенский, Правительство, если бы и решили предпринять подобную меру, то не смогли бы выполнить ее. Войска идут только по воле звездной палаты, действующей именем Совета. Да и что такое сейчас Вр. Правительство? Ведь в нем же ныне осталось «советское» большинство: ведь в нем ныне на шесть «социалистических министров» приходится только пять министров-капиталистов. Правда, около Керенского работает — открыто и за кулисами — черносотенный главный штаб. Там, несомненно, зреют мысли об использовании июльских дней для контрреволюционного переворота и, несомненно, там де-

лаются надлежащие приготовления. Но без прикрытия советского большинства штаб бессилен. Реальной силы у него нет; она может явиться с фронта; но без звездной палаты, ему этой силы не добыть. Все негодование оппозиции обращалось, естественно, против мамелюков и их лидеров.

Впоследствии я узнал — но за полную точность не ручаюсь, — что войска были вызваны именно по инициативе и по вызову звездной палаты. Как распределялись при этом голоса, мне неизвестно. Трудно сомневаться в том, что за были Гоц и Церетели. Но, как передавали, решительно против восстал Чхеидзе. Говорят, он боролся честно, до последней крайности. Но, в конце концов, он был изнасилован и, разумеется, подчинился друзьям.

Мы, меньшевики-интернационалисты, нуждались в том, чтобы основательно взвесить ситуацию, наметить перспективы и планы. И в ожидании бюро, мы собрались в комнате № 10, напротив «белого зала», где и накануне целый день толпились наши единомышленники (депутаты и не депутаты) с Лариным и Раковским во главе. Мы открыли совещание. Мартов развил длинный ряд интереснейших общих положений. Помимо завязавшегося узла, чреватого контр-революцией, по мнению Мартова, наша революция вообще пошла на убыль. Это не значит, что наступила прочная и окончательная реакция. Но все же понижение, охлаждение, депрессия, движение назад — налицо. И к такой кон'юнктуре надо приспособлять нашу общую тактику. В частности, — и в особенности на ближайшие дни — Мартов предостерегал против сколько-нибудь решительных публичных нападений на большевиков: отгораживание от них должно про-

водиться в самых мягких и спокойных формах. Слепое озлобление против них, как симптом массовой реакции, и без того резко определилось... Напротив, со всей силой необходимо обрушиться на все то, что служит реакции. Необходимо разоблачать козни штаба; и надо избегать малейших проявлений солидарности с победившим советским большинством. В порядок дня надо самым решительным образом поставить вопрос о призыве войск и борьбу против начавшихся массовых репрессий... В общем, больших разногласий не было. Крайне левую, «ленинскую» позицию занял Ларин. Прения продолжались час — полтора. Наконец, было об'явлено, что начинается заседание бюро.

* * *

В бюро, разумеется, назначили чрезвычайную следственную комиссию по расследованию событий последних дней. Не помню, кто вошел в нее. Но, как всегда, ее работы не привели ровно ни к чему. Впрочем, я даже не знаю, приступила ли она к каким-либо работам...

По какому-то поводу в заседании выяснилось, что приказом каких-то властей разведены мосты через Неву, и рабочие окраин отрезаны от центра. Левая, с негодованием и насмешками требует немедленной отмены этого приказа: ибо такое проявление паники совсем не безобидно, оно раздражает массы и провоцирует без всякого повода их еще не улегшийся гнев. Советское начальство возражало и оправдывалось тем, что в городе далеко еще не спокойно: еще шныряют вооруженные авто-

мобили, летучие уличные митинги сопровождаются крупными скандалами, производятся самочинные аресты, и даже были небольшие стычки. Правда, — прибавляли ядовито правые, — ныне все эксцессы заострены уже в обратную сторону, против «виновников» — большевиков, а с другой стороны — обезоружение людей в автомобилях идет очень легко и успешно. Но все-таки успокоения еще нет, и развести мосты было делом не лишним... Однако, вскоре приказ отменили.

Был поставлен вопрос о вызове войск для усмирения столицы. В ответ на протесты и запросы слева, советские правители давали об'яснения. Изнасилованный Чхеидзе, бледный и нервный, мрачно молчал. Об'яснения, как водится в таких случаях, отличались большой логикой и не меньшей фактической достоверностью. Во-первых, войска не вызывались, — они идут сами, услышав о страшной опасности, навлеченной большевиками на революцию. Во-вторых, войска идут с совершенно мирными целями и не угрожают ни в какой мере ни переворотом, ни кровавой баней, ни переменами режима: они только обеспечат порядок, только избавят от повторения событий, которые для всех одинаково одиозны. В-третьих, если фронтовые войска, примерно наказав преступников, помогут, действительно, скрутить мятежные элементы в бараний рог и установить необходимую чрезвычайную охрану города, то так и следует — для того они и вызваны, это и будет их службой революции.

Нас, меньшевиков-интернационалистов, в бюро было только двое — Мартов и я. Мы боролись честно и упорно. При данной кон'юнктуре, когда «настроение» легко может с минуты на минуту

перейти в антибольшевистский, а затем и в антисоветский погром, — фронтовые войска, несомненно, могли послужить и фактором переворота, и источником кровавой бани: ведь мы не знали ни состава, ни вождей, ни «настроений» этих войск. Мартов и я требовали их остановки и возвращения назад... Прения тянулись долго и нудно. Не помню, было ли принято формальное решение; но фактически оппозиция ничего не добилась: дело с усмирительными войсками было предоставлено своему естественному течению.

Большевиков в заседании опять-таки не было. Их лидеры попрежнему пребывали в своем Ц. К. В основательном Katzenjammer'е они там принимали новые постановления: призвать всех солдат в казармы, просить Ц. И. К. послать охрану для партийных большевистских помещений, редакции и т. д... Но, больше всего, надо думать, обсуждали самый важный пункт: что делать с гнусным выступлением г.г. Алексинского и Панкратова.

В разгар прений о войсках в заседание бюро явился Зиновьев. Он, не садясь, прямо прошел к Чхеидзе и попросил слова в экстренном порядке. Он имел довольно неприглядный, встрепанный и растерянный вид, и видимо очень спешил. Он получил слово вне очереди:

— Товарищи, совершилась величайшая гнусность. Чудовищное клеветническое сообщение появилось в печати и уже оказывает свое действие на наиболее отсталые и темные слои народных масс. Мне не надо об'яснять перед вами значение этой гнусности и ее возможные последствия. Это — новое дело Дрейфуса, которое пытаются инсценировать черносотенные элементы. Но значение его в десятки и

сотни раз больше. Оно связано не только с интересами нашей революции, но и всего европейского рабочего движения. Мне не надо доказывать, что Ц. И. К. должен принять самые решительные меры к реабилитации тов. Ленина и к пресечению всех мыслимых последствий клеветы... С этим поручением я явился сюда от имени Ц. К. нашей партии.

Зиновьев кончил и, не садясь, ждал, как будет реагировать большинство. На многих лицах была ирония, на других полное равнодушие. Но ответ всего Ц. И. К. был уже предрешен вчерашними предварительными мерами звездной палаты... Кажется, без малейших прений, Чхеидзе немедленно ответил от имени Ц. И. К., что положение ясно всем присутствующим, и все меры, доступные Ц. И. К., конечно, будут приняты безотлагательно. Тон Чхеидзе был ледяной, — как по отношению ко взрослому гимназисту, на которого сильно дуются. Но Зиновьеву ничего не оставалось делать, как выразить удовлетворение полученными заверениями. Затем, он поспешно удалился, и больше мы его, как и Ленина, не видели в Петербурге до самого «октября».

В целях реабилитации Ленина была тут же образована еще одна следственная комиссия. Об ее работах я также ничего не знаю. Но помню, что через два дня были разговоры о перевыборах этой комиссии: обнаружилось то «неудобство», что в ее члены первоначально попали одни только евреи, всего пятеро — в том числе Дан, Либер и Гоц. Реабилитация Ленина такой комиссией могла послужить только источником новой черносотенной кампании — против всего Совета, прикрывающего государственную измену...

Однако, я не помню никакого другого состава комиссии. Кажется, она так и не была переизбрана, и дело заглохло само по себе. Во всяком случае, сама комиссия понимала, что расследовать тут надо не вопрос о продаже России Лениным, а разве только источники клеветы... В эти дни толковали, между прочим, что финансовые дела «Правды» находятся в полном беспорядке; источники доходов из категории пожертвований и сборов не всегда точно установлены; и совсем не исключена возможность, что спекулирующие на большевиков темные элементы, хотя бы и германского происхождения, могли, без их ведома, подсунуть большевикам те или иные суммы — ради усиления их деятельности и агитации. Это всегда могло случиться с любой партией или газетой, в положении большевиков и «Правды». Полная реабилитация и в этом случае была бы необходимым результатом работ следственной комиссии. Но ничего подобного, насколько я знаю, все же не было никогда установлено относительно Ленина и его партии.

Тут же, в заседании бюро, было принято советское официальное сообщение по делу Ленина. В нем говорилось, что по просьбе большевиков образована при Ц. И. К. следственная комиссия, которая привлечет к ответу либо Ленина, либо его клеветников; а впредь до окончания ее работ Ц. И. К. «предлагает воздержаться от распространения позорящих обвинений и считает всякого рода выступления по этому поводу недопустимыми».

Но кто же был виновником гнусной клеветы в печати? Кому принадлежали услужливые руки, передавшие «разоблачающие документы» Алексинскому из министерства юстиции?... Физических

обладателей этих рук я не умею назвать, хотя, кажется, они сами назвали себя в печати. Но было установлено, что произошло это не без ведома, а может быть и содействия самого министра Переверзева. Звездная палата на этой почве устроила скандал почтенному «министру-социалисту». И он тогда же, часа в три дня 5-го июля, об'явил о своем выходе в отставку... Коалиция продолжала разлагаться. «Теперешнего правительства» с «социалистическим» большинством, которому несколько часов назад выразила доверие «революционная демократия» — теперь уже не было.

Но не все ли равно? Какое это может иметь значение, если Церетели существует только на потребу Терещенке, а Совет — плутократии?...

* * *

Между тем, стали доходить слухи, что в городе снова разыгрывается стихия — с черносотенным уклоном. На улицах какие-то группы начинают ловить большевиков. Говорят, иных избили... В «белом зале» собрались какие-то фронтовые делегаты и ярко продемонстрировали перелом настроения. Перед ними выступил Троцкий, которого приняли в штыки...

В главный штаб, из города и окрестностей, стали являться какие-то части и предлагать себя в распоряжение «законной власти». Законная же власть, в течение всего 5-го июля, производила многочисленные аресты. Арестована была, вместе с сотнями рабочих, матросов и солдат, и пресловутая г-жа Суменсон, имя которой с тех пор не сходило

со столбцов бульварных газет. Российские тюрьмы, после четырехмесячного перерыва, вновь наполнились «политиками». А доктор Манухин, пользовавший доселе одних царских сановников, отныне обогатился многочисленными новыми тюремными пациентами из большевиков.

Пришли также тревожные вести о кронштадтцах... Мы знаем, что большинство их еще накануне отплыло во-свояси на своих судах. Но две-три тысячи остались в Петербурге. Потолкавшись некоторое время на Троицкой площади, около дома Кшесинской, кронштадтцы во главе с Раскольниковым и Рошалем сочли за благо отправиться в Петропавловскую крепость. Их, конечно, не пускали; но они без большого труда заняли крепость силой и стали там хозяевами положения. Но что, собственно, делать с завоеванной крепостью, — опять-таки не знала ни армия, ни ее вожди. Это была «база» «на случай»... Взломали арсенал и, как следует, вооружились. Привели орудия в боевую готовность. Но больше делать было нечего. И кронштадтцы довольно мирно провели ночь.

Все же захват крепости под предводительством боевых большевистских генералов был явным и очень крупным «беспорядком». Надо было освободить крепость. И этим с утра озаботились советские власти. Для отвоевания и усмирения крепости был послан от имени Ц. И. К. генерал Либер. Однако, он поехал не один. Он разыскал и пригласил с собой Каменева, основательно предполагая, что тому будет легче столковаться с Рошалем и Раскольниковым. Каменев отправился с Либером: его Ц. К., в утренних настроениях 5-го июля, очевидно, благословил на это без труда.

Но попасть в Петропавловскую крепость довольно трудно. Мосты были уже наведены; но весь район от Дворцовой площади до Петропавловки был занят какими-то войсками, «верными законной власти» и «порядку». Войска же кого-то от кого-то охраняли и откуда-то куда-то не пропускали без каких-то документов из штаба. Все это было очень внушительно. Но посмотрел бы я, что сказали бы эти «верные» войска, если бы им приказали **взять** Петропавловскую крепость...

Так или иначе Каменеву и Либеру пришлось заехать в главный штаб за получением пропуска. Пока Либер хлопотал в штабе, среди солдат распространился слух, что тут на лицо знаменитый большевик Каменев. Солдаты, не долго думая, его арестовали. Сенсация охватила чуть ли не весь район. Стали требовать немедленного суда и следствия. Можно было опасаться, что обойдутся **без** суда и следствия... Либер бросился выручать. Но — horribile dictu! — его приняли за Зиновьева и тоже арестовали; офицеры, участники происшествия, вели себя не лучше, а хуже солдат. С трудом удалось арестованных провести в недра штаба, где недоразумение раз'яснилось. Площадь, занятая «верными» войсками, еще долго волновалась. А Каменев и Либер, кое-как выбравшись из штаба, отправились выполнять свою миссию.

Они приехали в Петропавловскую крепость часа в три. Ее гарнизон уже успел «ассимилироваться» с завоевателями и, подстрекаемый Раскольниковым и Рошалем, был не прочь продемонстрировать свою готовность каким-то боевым действием. Просто разыгрались сердца от боевых речей пылких предводителей. Но все же удалось вступить с гарнизоном

в соглашение «почетное для обеих сторон». Это было достигнуто ценою большого разочарования Раскольникова и Рошаля, но без большого труда: ведь Каменев привез директивы от самого Ц. К., — гласящие, что все колебания давно окончены, и дело считается бесповоротно проигранным. Кронштадтские вожди заявили, что матросы, пулеметчики и все посторонние вообще покинут крепость и возвратят оружие, взятое из арсенала. Но вместе с тем они требовали от имени кронштадтцев, чтобы их собственное оружие было им оставлено, и чтобы было гарантировано беспрепятственное и почетное отплытие домой. На это делегаты Ц. И. К. ответили невнятно. Но, во всяком случае, соглашение о восстановлении порядка в крепости считалось достигнутым.

Всю эту историю рассказал Либер все в том же заседании бюро, явившись к самому концу его. Либер чувствовал себя героем: он взял крепость, усмирил кронштадтцев и с риском для жизни спас от самосуда своего злого врага.

* * *

Сообщили о новой стычке и кровопролитии где-то на Литейном. На этот раз не подлежит сомнению: инициаторами были какие-то «верные» части. Но с кем им привел Господь встретиться и кого судьба наградила их пулями — неизвестно. Что-то будет, когда придут фронтовики!..

Около штаба арестован Луначарский. Его продержали часа два, удостоверили и отпустили. Вообще, теперь на улицах уже арестовывают всякого, кто замолвит слово в пользу большевиков. Уже нельзя

об'явить в связи с утренним газетным сообщением, что Ленин — честный человек: ведут в комиссариат.

Передают достоверное известие из штаба. Вчерашний «повстанческий» 176-ой полк явился к главнокомандующему Половцеву с повинной. Солдаты раскаиваются и просят отправить их обратно в Красное Село.

В Таврическом дворце из уст в уста передают, что готовятся массовые разоружения полков, выступавших вчера и позавчера. В первую голову, конечно, 1-ый пулеметный. А Дан — и в заседании бюро, и в частных разговорах — пугает военной диктатурой. Может быть, ее об'явят в результате всего происходящего; она возможна с часу на час... Как будто кто-нибудь может об'явить военную диктатуру без ведома и согласия Дана! Как будто она может быть кому-нибудь страшна, если Дан с друзьями не будут на стороне военной диктатуры!..

У двери в сад, по соседству с буфетом, стоит Гоц. Какой-то «верный» прапорщик ему докладывает, что где-то на Васильевском острове собралась большая толпа и грозит беспорядками.

— Что ж, — отвечает веселый Гоц, — пошлите броневичек, пусть себе проедется...

Броневички все еще стоят в Таврическом саду, позади дворца. Ими командует, во всяком случае, не главнокомандующий.

* * *

Зачем-то снова собирается заседать соединенный Ц. И. К. А может быть это было соединенное бюро — рабоче-солдатское и крестьянское... В ожидании президиума меньшевики-интернационалисты собра-

лись опять в комнате № 10. Там толчея и споры продолжались целый день. Ведь наша фракция численно ничтожна в Совете и в Ц. И. К.; рабочая же организация в столице довольно сильная; я упоминал, что местная организация меньшевиков находится в руках интернационалистов.

Товарищи явились из районов и докладывают о делах и настроениях. Заводы приступают к работе. Повсюду депрессия, а зачастую реакция и озлобление. Бывали и вспышки черносотенства. Надо решительно обернуть фронт против правых и задержать попятное движение. Представители Васил. Острова во главе с Лариным определенно тянут к большевикам.

Появился президиум, и открылось соединенное заседание. Войтинский делает доклад о событиях дня. Доклад изобилует сообщениями об энергичных и необходимых мерах правительства. Между прочим, в целях восстановления нормальной жизни в столице, правительство выделило из своего состава особую «комиссию», действующую совместно с командующим войсками.

Звездная палата предлагает соединенным бюро такую резолюцию: «Одобряя решение Вр. Правительства об об'единении всех действий по восстановлению и поддержанию революционного порядка в Петрограде, бюро постановило уполномочить Авксентьева и Гоца вступить в возможно тесное сношение с делегатами Вр. Правительства и принимать все вытекающие из положения мероприятия при сохранении полного контакта с военною комиссией, образованной при обоих Исп. К-тах».

Это звучит не особенно определенно и недостаточно решительно. Но говорили, что это не что иное, как

диктаторские полномочия для принятия неких «самых решительных» мер. Говорили также, что такие полномочия необходимы, так как меры предстоят решительные... Ну что ж! Сейчас такие меры налево, действительно, становятся возможны. А звездная палата, слившись с правительством почти формально, ныне входит во вкус.

Кроме Авксентьева и Гоца в «диктаторскую комиссию» вошли Скобелев и правый эсер, помощник Керенского по морским делам, Лебедев. Первые двое вошли от Ц. И. К., а вторые — от правительства... Это, очевидно, должно было быть наглядным доказательством, что коалиция с буржуазией нам, действительно, необходима. Ведь, когда же и прибегать к ней, как не в критические моменты, когда расшибаешь лоб именно ради этой «идеи»...

Мне, однако, было необходимо забежать, хоть ненадолго, в редакцию. Ведь без меня составляется уже третий номер подряд. Надо послушать, что думают товарищи, и порассказать им, что знаю я. Написать, конечно, ничего не смогу... Так уж всегда бывало с моей газетной работой в критические моменты революции... Я спешил в «Новую Жизнь» на Невский. Было уже, вероятно, часов шесть.

Но еще в коридоре Таврического дворца меня остановил Козловский, растерянный, приниженный и скромный. Его имя сегодня упоминалось в газетах — в числе главных посредников по продаже Лениным России немцам. Козловский просил меня воздействовать на редакцию «Известий», чтобы та напечатала его опровержение и протест. Я охотно согласился, — хотя мой авторитет в глазах редакторов, Войтинского и Дана, был едва ли многим выше,

чем авторитет самого Козловского. И почему он обращается именно ко мне? Неужели среди влиятельных мамелюков настроение таково, что с ними уже нельзя говорить о подобных делах? И почему такой жалкий вид у этого Козловского?

Я зашел в редакцию «Известий», тут же, во дворе дворца. В этих сферах я не был еще ни разу. Я застал там одного Войтинского в очень веселом настроении. Он посмеиваясь выслушал меня и обещал сделать все необходимое. Впрочем, я, кажется, говорил тоном, не допускавшим ни малейших возражений.

В «Новой Жизни» номер был уже составлен. Я опять не принимал в этом никакого участия. Говорили, что Базаров написал центральную статью, но я не читал ее... Мы обменивались новостями. Горькому из сфер министерства юстиции сообщали, что участников и инициаторов восстания, в котором действовали скопом и черносотенцы, и немцы, — предполагается предать суду. В числе подсудимых, конечно, придется фигурировать Ленину, а также и Луначарскому, снаряжавшему «мирных» кронштадтцев к Таврическому дворцу... Кроме того, все твердят о подозрительном облике и поведении Главного Штаба.

К вечеру на улицах водворилось полное спокойствие. Стояла роскошная погода. На Невский высыпала огромная и веселая буржуазная толпа... Где я лично провел эти часы, совершенно не помню. Но часу в одиннадцатом я вернулся снова в Таврический. Невольно к этим берегам...

* * *

В Таврическом дворце — обычная вечерняя картина. Народа немного в залах и в буфете. Окна раскрыты, но воздух скверный; на полу грязь; нет настоящего порядка; чувствуется недавнее присутствие посторонней толпы. Буфет еще торгует чаем и бутербродами, но потребителей почти нет. В углу сидит какая-то кучка, на которую я не обратил внимания... Что делается в зале Исп. Комитета? Может быть, там какие-нибудь заседания?

Я вошел и увидел нечто совсем необычное. За столом «покоем» на председательском месте сидел Либер. Он имел вид торжествующего победителя, но старался делать суровое, каменное лицо, что ему удавалось очень плохо. По правую сторону Либера сидел Богданов, спокойный и медлительный, как всегда. А по левую руку, почти скрываясь за Либером (с точки зрения входящего в зал), виднелась фигура Анисимова. Поодаль, за столом же или у стен, на диванах и креслах, расположились немногочисленные депутаты — явно не более, как зрители. А напротив Либера, внутри «покоя», стояла тесно сбившаяся кучка людей. Это были Раскольников, Рошаль, два-три матроса, два-три рабочих. Вся кучка напоминала затравленных волков; а, пожалуй, гораздо точнее — зайцев. От ее имени Раскольников, жестикулируя из-под своего морского плаща, говорил в тоске и волнении несвязную речь, о чем-то умоляя сидевшую перед ним тройку.

— Товарищи, ведь нельзя же... ведь надо же... Ведь мы же не можем так, товарищи. Вы должны понять... Надо же, товарищи, пойти навстречу...

Передо мной было, очевидно, какое-то невиданное судилище... Президент его, слушая свою жертву, делал неподвижное, каменное лицо. Он пытался

казаться непоколебимым и равнодушным к мольбам; но в глазах его мелькало наслаждение своей властью, а его губы боролись с торжествующей улыбкой.

— Ба! Либер разыгрывает маршала Даву, — подумал я, вспоминая суд над пленным Пьером из «Войны и мира». Я сел в конце стола и стал смотреть, что будет.

Дело шло о кронштадтцах. Сдав оружие, взятое в арсенале, часть еще оставалась в крепости, а часть бесприютно пребывала неподалеку от нее — в ожидании, когда их отправят домой... Но реакция крепчала, и реальная сила советско-буржуазного блока росла с каждым часом. Каково бы ни было соглашение, достигнутое днем, «законная власть» теперь требовала разоружения кронштадтцев и отправки их домой безоружными. Выразителем «законной власти» является Либер с товарищами одесную и ошую. Раскольников же, естественно, не соглашался на лишение его армии «воинской чести» и умолял разрешить ей отплыть с оружием. Он ручался, что ни малейшей опасности ни для кого от этого не произойдет, и никакого практического результата разоружение иметь не будет: одно только унижение и шельмование кронштадтцев.

От имени судилища говорил только один Либер. И он был неумолим. Говорил же он несколько все одних и тех же фраз:

— Я предлагаю вам согласиться немедленно и сейчас же отправиться к вашей армии, чтобы заставить ее выполнить наше требование. Это решение окончательное. Никаких изменений и уступок быть не может. Но через два часа будет уже поздно. Через

два часа будут приняты решительные меры, которые не в ваших интересах...

Либер не пояснял ни того, чье именно это решение, ни того, чем оно вызвано, ни того, что за меры будут приняты и кем. Так, собственно, выходило эффектнее. Может быть, все это не нужно, а «меры», может быть, окажутся совсем не страшными и неосуществимыми; но пусть будут таинственные намеки и страшные слова. Пусть-ка попробуют с ним полемизировать затравленные зайцы!... И Раскольников с товарищами не могли ровно ничего им противопоставить, кроме мольбы о пощаде. Было нестерпимо смотреть и слушать... В сущности, обе стороны, по всей совокупности обстоятельств, не вызывали к себе больших симпатий: но все же один был для меня исконный враг, другой — оскандалившийся школьник, один «карающая десница», другой — жертва...

Бесплодные, бессодержательные и нудные пререкания длились уже четверть часа. Вдруг Либер заявил, что обстоятельства изменились, что он сию минуту получил новые директивы и обещанных раньше двух часов сроку он дать уже не может. Даву-Либер теперь давал уже только десять минут. Если по истечении их будет дан неудовлетворительный ответ, то «решительные меры» будут приняты немедленно... Реакция крепчала и входила в силу.

Раскольников попросил перерыва, чтобы посоветоваться с наличными товарищами. Кучка кронштадтцев сбилась в угол. Я вышел в буфет... Тут я увидел, что группа, сидевшая в углу за столом, состояла из большевистских лидеров. Это были Каменев, Троцкий и еще три-четыре большевистских генерала. Никогда, ни раньше, ни после, я не видел

их в таком жалком, растерянном и угнетенном состоянии. Они, кажется, и не пытались бодриться. Каменев, совершенно убитый, сидел за столом. Троцкий подошел ко мне:

— Ну, что там?

Я рассказал о судилище в двух словах.

— Что же по вашему делать? Как бы вы посоветовали?..

Я в недоумении пожал плечами... Я решительно не знал, что делать. Может или не может Либер принять решительные меры — с кровопролитием или с крайними формами унижения, — сейчас сказать было невозможно. Но не идти же самим на кровопролитие. Не пробиваться же силой... Пожалуй, лучше сдаться и выдать оружие.

Я не помню, чтобы во время перерыва Раскольников и Рошаль совещались с Троцким и Каменевым. Когда же судилище возобновилось, Раскольников попрежнему не дал определенного ответа и снова перешел к бессвязным убеждениям. Он кончил тем, что кронштадтские лидеры немедленно отправятся к своей армии и «сделают все, что можно». Судьи поднялись снова. Кучка подсудимых двинулась к ним, чтобы о чем-то сказать уже приватно. Либер тут уже окончательно не выдержал роли и расплылся в улыбку.

Раскольников обводил присутствующих растерянным видом, ища сочувствующих и друзей. Взгляд его остановился на мне. Он подошел и обратился с какой-то просьбой. Взволнованный до крайности, он опасался ареста, — если не здесь, то на улице. Он не надеется добраться до своих кронштадтцев. Необходимо, чтобы им дали провожатых или, по крайней мере, солидные документы для свободного

прохода по городу. Им сообщают, что большевиков ловят и избивают. И если их узнают...

Окружающие посмеивались над волнением молодых генералов. Никакой нужды в провожатых нет. Доберутся. Но документы можно дать... Перешли в соседнюю комнату, в канцелярию, скудно освещенную, полную беспорядка комнату. Писали на машинках документы... Меня остановил Рошаль, доселе не знакомый. По-детски картавя и заплетаясь, он просил меня взять на сохранение его браунинг: если поймают с оружием, будет хуже...

Да, дела!..

Я пошел ночевать к Манухину. Там, в кабинете рядом с моим диваном уже готовился ко сну на связанных креслах Луначарский. Он был совершенно потрясен всем происходящим. Мы поделились всеми новостями дня и долго беседовали, лежа в темноте. Я был зол, и беседа наша не была особенно приятна.

— А что, Николай Николаевич, — нерешительно вымолвил Луначарский, — как вы думаете, не уехать ли мне из Петербурга?

Меня окончательно взорвало. Уехать? Почему? Зачем? Что же, разве положение настолько определилось, что ничего не остается, кроме бегства с поля сражения? Разве у нас уже существующий факт — военная диктатура? Начался безудержный произвол, террор? Что-нибудь серьезно угрожает большевистским головам? А если нет, то, ведь, надо же как-нибудь самим распутать завязанный самими узел. Надо же, проиграв скверную игру, как-нибудь спасать достоинство. Как же и на кого же вы оставите массы, которые вы только что вели и тащили за собой? Что же они будут думать и чув-

ствовать, когда увидят себя покинутыми? Или вы возьмете с собой и ваши массы?..

Луначарский не возражал. Мы еще долго ворочались на своих ложах.

А потом мне говорили, что бесприютные кронштадтцы бродили, не зная куда деваться, всю ночь. Вождей с ними не было. Это были брошенные на произвол судьбы безвольные, непонимающие слепые обломки неудавшегося эксперимента...

Четверг, 6-е июля.

В четверг, 6-го «большая пресса», как говорят моряки, повернула право на борт всей своей массой. Было очевидно, что дело реакции, дело буржуазии — пока-что считается выигранным... Между прочим, не мало внимания уделила эта пресса вчерашнему заявлению «Правды» о событиях 3 и 4-го июля. Заявление было в самом деле неожиданное. «Правда» писала: «Цель демонстрации достигнута. Лозунги передового отряда рабочего класса и армии показаны внушительно и достойно. Отдельные выстрелы в демонстрантов со стороны контр-революционеров не могли нарушить общего характера демонстрации»... Да, такие приходилось делать гримасы вместо улыбки удовлетворения!..

Но сегодня, в четверг, 6-го «Правда» совсем не вышла; вместо нее вышел крошечный «листок» со скудной информацией: накануне вечером и ночью было не до газеты... Но, с другой стороны, той же ночью власти прикрыли известную нам погромную «Маленькую Газету». Этим развязывались руки и для преследования левой печати, — явления нового в революции.

В четверг 6-го, с раннего утра, через Варшавский и Николаевский вокзалы, в Петербург стали прибывать вызванные с фронта войска. Пришла часть 14-й кавалерийской дивизии, 177-й Изборский полк, 14-й донской казачий, какой-то драгунский, Малороссийский, Митавский, — словом, совершенно достаточно для завоевания столицы. Прибывших с утра стянули на Дворцовую площадь. Там их принял министр-социалист Скобелев и кто-то еще из людей звездной палаты. В это время вся звездная палата, кажется, пребывала в главном штабе. Торжествующие советские победители любовались из окна на своих преторианцев и с подоконника говорили им приветственные речи. С большими жаром, хотя и со средним успехом, говорил и Чернов.

Прибывшие войска получили наименование «сводного отряда». Командующим был назначен поручик Мазуренко, известный по «крестьянскому союзу» и, стало быть, «народнически» настроенный интеллигент. Он обратился к своей армии со следующим возванием (напечатанным потом в газетах):

«Граждане-воины! — говорил в нем этот игрушечный Галифэ — высший орган революционной демократической власти призывает вас поддержать и утвердить торжество революции и свободы... Мы, пришедшие с боевого фронта, обязаны избавить столицу революционной России от безответственных групп, которые вооруженной силой стараются навязать свою волю большинству революционной демократии, а собственную трусость и нежелание идти на боевой фронт прикрывают крайними лозунгами и творят насилие, сея смуту в наших рядах и проливая кровь невинных на улицах Петрограда... Мы будем действовать против тех, кто нарушает волю рево-

люционного народа, согласуя свои действия с частями петроградского гарнизона, оставшимися верными делу революции».

Это, как видим, довольно содержательно. Здесь есть и хорошая агитация и недвусмысленно выраженные серьезные намерения... Пока никаких действий «сводный отряд» еще не производил и никаких эксцессов им допущено не было. Но настроение этих «отборных» войск было, во всяком случае, вполне определенное. В частности, они были наслышаны об убийствах мятежниками казаков. И возбужденные, обозленные они обнаруживали полную готовность расправиться с «безответственными группами», а в придачу, пожалуй, и со всеми теми, кто попадется под руку... Между прочим, какая-то часть, проявляя тенденцию к action directe, выражала желание немедленно отправиться на заводы, чтобы там, без лишних слов, расправиться с лодырями-зачинщиками...

Было совершенно очевидно, что сводный отряд есть богатейшая почва для черносотенной пропаганды. Если найдутся инициативные группы, которые раздразнят этого зверя, то кровавая баня в Петербурге может выйти совсем не игрушечной.

Между тем, черносотенные элементы за эти дни хорошо познали всю прелесть, все выгоды «беспорядков» и убийств для дела реакции. И теперь, по ликвидации мятежа, они посильно затягивали и возобновляли беспорядки. Грабежи, насилия и стрельба продолжались и в четверг 6-го — то здесь, то там — в столице... «Успокоения» все еще не было. И все эксцессы, заостряемые ныне налево, теперь вдохновлялись исключительно обломками царизма.

Советские победители могли быть довольны: под

«коалицию» подводился снова прочный фундамент. Мало того: казалось, с часу на час может произойти переворот по почину главного штаба. Как бы он ни был эфемерен, все же великая контр-революционная кутерьма была вполне возможна. Но направо советские власти все еще не обращали взоров. Опираясь теперь на внушительную военную силу, «лидеры демократии» попрежнему все углубляли и расширяли свою деятельность по искоренению крамолы.

Правда, утром, за подписью бюро, было выпущено новое воззвание — против самочинных обысков и арестов. Арестовывались и обыскивались ныне только те, кто подозревался в большевизме. Это попрежнему энергично проделывала и «законная власть». Частная инициатива была совершенно излишня. Но, во всяком случае, здесь мы не пошли дальше нового воззвания.

Другое дело — добить лежачего врага... Утром того же 6-го, советские члены «диктаторской комиссии», Гоц и Авксентьев, став во главе какого-то сборного отряда, пошли в поход против дома Кшесинской и Петропавловской крепости. Первый пункт был цитаделью большевиков, во втором могли остаться кронштадтцы или какие-нибудь вредные элементы. Переправившись через Троицкий мост, начали было правильную осаду. Уже были готовы открыть огонь, — но оказалось, что дом Кшесинской уже покинут большевиками. Ворвавшись в мирные, опустевшие комнаты, солдаты арестовали там десяток случайных, бродивших по комнатам людей и тем победоносно завершили экспедицию... Что касается Петропавловской крепости, то и там ничто не вызывало «диктаторского» похода. Кронштадтцы ушли, гарнизон растерялся и «раскаялся», крепость

была «взята» без выстрела, и порядок был восстановлен без малейшего труда.

Часа в 4 пополудни, тем же порядком, но без непосредственного участия советских лидеров, была взята дача Дурново. Ее также покинули анархисты. Там нашли немного оружия и много литературы.

Настроение рабочих было неопределенное и пестрое. С одной стороны — заводы работали только наполовину. Рабочие еще поддерживали забастовкой свои прежние позиции. В частности, не стал на работу Путиловский завод. Были даже незначительные попытки снова выйти на улицу с манифестацией... Но, с другой стороны, депрессия все больше охватывала пролетарские массы. На заводах происходили митинги, где вотировалось осуждение «инициаторам» мятежа. Передовые группы были изолированы. Петербургский пролетариат был снова распылен и не боеспособен.

Гораздо хуже было среди солдат. Эта темная масса, получив оглушительный удар, опрометью бросилась в об'ятия черной сотни. Здесь агитация реакционеров всех оттенков уже давала пышные, зрелые плоды. Сотни и тысячи вчерашних «большевиков» переметнулись за пределы влияния каких бы то ни было социалистических партий. И даже определенно стало колебаться в глазах гарнизона знамя Совета... В казармах также шли митинги и там стали слышаться уже совсем, совсем погромные речи. Вся сила злобы и «патриотизма» обрушивалась, конечно, на большевиков... А к большевикам уже определенно пристегивались и прочие социалистические элементы.

Что же касается мещанства, обывателей, «интеллигенции» — то здесь было совсем скверно. Эти

слои не только не различали, не только сознательно смешивали большевиков со всем Советом, но и готовы были на любые меры борьбы против всего советского. Здесь деланная паника и неподдельная злоба достигли крайних пределов. Военная диктатура, а пожалуй и реставрация, тут были бы приняты если не с восторгом, то безо всяких признаков борьбы. А вечерние листки исполнили такой кошачий концерт — с немцами, жидами и прочими аксессуарами, — что положение стало совсем серьезным.

Слово «большевик» уже стало синонимом всякого негодяя, убийцы, христопродавца, которого каждому необходимо ловить, тащить и бить. И для большей наглядности во мгновение ока было создано и пущено в ход прелестное выражение: «идейный большевик». Это, стало быть, было такое несчастное существо, которое из порядочного общества, по наивности и неразумию, попало в лапы разбойничьей шайки и заслуживает снисхождения. Но таких было совсем мало.

* * *

К вечеру 6-го в Ц. И. К. стали понемногу сознавать серьезность положения... Не помню, чтобы в это время было какое-нибудь заседание. Кажется, оно предполагалось, и Чхеидзе, измученный и удрученный, уже давно, давно сидел в своем кресле, по обыкновению, прислушиваясь к разговорам справа и слева. И депутатов, насколько помню, было налицо очень много. Но заседания не выходило.

Приехал откуда-то с полкового митинга прапорщик Виленкин, известный московский адвокат и

отличный оратор, впоследствии расстрелянный большевиками. Он был, по существу, кадет, но ныне примыкал к эсерам, так как под флагом буржуазной партии политическая работа в армии была совершенно невозможна. Надо думать, в данной атмосфере, благоприятствующей самым правым советским элементам, этот эсерствующий кадет должен был найти самый настоящий язык для ударившихся в реакцию темных солдатских масс. И вот этот-то агитатор приехал в Ц. И. К. полный изумления: в полку его принимали из рук вон плохо, он оказался **черезчур левым** для солдат... Было от чего впасть в некоторые сомнения даже мамелюкам.

И вот стали придумывать «предохранительные меры». Прежде всего — по отношению к войскам, прибывшим с фронта. Агитировать и науськивать — достаточно. Надо, наоборот, обезопасить, отвлечь внимание от погромов и направить его на что-нибудь другое. Надо сделать так, чтобы фронтовики почувствовали себя не завоевателями, а дорогими гостями...

Понято, сказано, сделано: сейчас же было решено организовать для фронтовиков торжественные приемы и развлечения, мобилизовать все артистические силы, «реквизировать» на ближайшие дни все театры, цирки, кинематографы для специальных митингов, представлений и сеансов — для «сводного отряда». Затем — перемешать части в казармах с частями гарнизона, чтобы растворить «завоевателей» среди «мятежников». Затем, как в марте, организовать экскурсии по заводам и «братанья» с рабочими. А завтра собрать представителей всего гарнизона для выяснения настроений и для приведения его к покорности Совету...

Да, имя Совета стало трещать по швам. Солдатская масса колебалась между Советом и черносотенными влияниями. Т. е. — перед нами была ситуация: борьба за армию между буржуазией и демократией, ситуация марта и апреля, казалось, уже окончательно изжитая. Мало того: положение напоминало именно первые мартовские дни, когда царь Николай еще гулял на свободе, когда еще не были оставлены попытки собрать около него силы и раздавить ими революцию, когда неустойчивое равновесие могло разрешиться и народной победой, и торжеством царизма. Сейчас в главном штабе был собран кулак; и если бы колеблющаяся солдатская масса определенно поступила в его распоряжение, реставрация буржуазно-помещичьей диктатуры легко могла бы стать фактом.

К вечеру 6-го сознание всего этого, видимо, стало проникать в круги, близкие к звездной палате. Мамелюки бросились энергично хлопотать о «развлечениях» для солдатской массы. Богданов диктаторски распоряжался насчет «реквизиции» театров и кинематографов. Работа кипела. Но не помню, чтобы в ней непосредственно участвовал хоть кто-нибудь из звездной палаты.

Только часам к 10 стало понемногу стихать в комнатах Ц. И. К.... И только тогда я заметил, что наряду с хлопотами о рассасывании опасных настроений солдатчины — в Ц. И. К. происходит и нечто другое. К удрученному Чхеидзе подходили приближенные и что-то шептали ему с деловым видом. Там и здесь собирались интимные кучки «благонадежных» элементов, «понимающих линию Совета», и при моем приближении оживленные разговоры замолкали. Под косыми взглядами я от-

ходил прочь... Промелькнул торжественно-деловой Гоц и скрылся... Один за другим стали исчезать депутаты, ушел и Чхеидзе, становилось все тише, пустыннее и тоскливее. Но по временам пробегали какие-то незнакомые лица — офицеры, вооруженные с ног до головы. Как будто бы это были люди из главного штаба. Зачем они здесь?..

— А мост развели? — вдруг долетел до меня чей-то вопрос.

— Дайте скорее телефонограмму, — услышал я распоряжение какого-то совершенно чужого, но видимо начальствующего лица. — Этот отряд надо направить от Александровского сада...

Расспрашивать было бесполезно. Я мрачно сидел один за столом в опустевшей зале Ц. И. К.... Ко мне подлетел кто-то из оппозиции:

— Скажите, наконец, — потребовал он от меня, — что же тут происходит?..

— Заговор крупной и мелкой буржуазии против пролетариата, — не задумываясь ответил я.

На самом деле все эти приготовления имели целью — разоружение мятежных полков. Во исполнение приказа военных властей, на Дворцовую площадь должны были быть выведены этой ночью июльские «повстанцы» во главе со знаменитым «первым пулеметным». Они не оказывали сопротивления. Ни вмешательства силы, ни каких-либо сложных военных операций не требовалось для их разоружения. Было бы достаточно приказа по казармам — сдать оружие и отправляться, куда прикажут. Но ведь требовалось не только разоружение: требовалось шельмование, которое и предполагалось произвести на Дворцовой площади, в более или менее импонирующей обстановке...

Впрочем, я совсем не хочу сказать, что тогдашние власти могли и должны были поступить иначе. Ведь во всякой иной обстановке тут были бы неизбежны массовые расстрелы, — хотя бы и по отношению к темным, слепым, малым ребятам, не ведающим, что они творят. Но в обстановке революции семнадцатого года и в атмосфере июльского перелома — даже эти школьные экзекуции над напроказившими ребятами производили гнетущее впечатление. Ведь вся власть была у «социалистов».

Я продолжал сидеть один за столом, переполненный самыми тягостными чувствами. Из соседней комнаты, из канцелярии, с шумом двигали кушетку, на которой тут же, в зале заседаний, готовилась улечься спать дежурная по секретариату Ц. И. К. А на другом конце стола примостилась небольшая кучка, человек в 5—6, из вражьего лагеря: помню Либера, Войтинского, Анисимова. Эти победители, покончив с трудами, просто зубоскалили — перебирая одного за другим большевиков и членов оппозиции. Особенно нестерпим был Войтинский, пытавшийся «представлять в лицах» и не стеснявшийся в терминах... Кучка заметила меня. Начались подмигивания и замечания не то вслух, не то про себя. Но что-то мешало мне встать и уйти подальше от этого зрелища.

Во дворце было уже совсем пусто. Из сада тянуло свежестью, ветер качал темные деревья... Наконец, под насмешливыми взглядами победителей, я встал и побрел куда-то на ночлег.

* * *

А в это время происходило еще вот что. Часов в 9 вечера приехал из армии Керенский. Он отправился прямо в заседание Вр. Правительства. К этому времени уже состоялось формальное постановление о предании суду всех зачинщиков и участников восстания 3—4 июля. Соответствующий приказ был опубликован за подписью кн. Львова. Но, несмотря на аресты многих сотен людей, большевистские лидеры еще были на свободе... Керенский, немедленно по приезде, проявил большую аггрессивность. Исходя из интересов фронта, он потребовал решительных мер против большевистской партии вообще и против ее вожаков, в частности.

Тут же был отдан приказ о немедленном аресте Ленина, Зиновьева, Каменева и прочих. А кроме того, тут было составлено и подписано кн. Львовым постановление о расформировании всех воинских частей, участвовавших в мятеже, и о распределении их личного состава по усмотрению военного министра.

Еще с вечера, в порядке давно начатых арестов, был арестован Козловский. В это время у него на квартире было какое-то собрание. Власти, арестовав всех присутствующих, были очень довольны такой удачей: можно ли было сомневаться в том, что это на месте преступления застигнутая шайка немецких шпионов!.. Но дело-то сейчас было не в каких-нибудь Козловских. Сейчас надо было на законном основании захватить самого Ленина. На его квартиру милиция явилась часа в два ночи. Но квартира была пуста. Ленин, как и Зиновьев, скрылся.

Исчезновение Ленина под угрозой ареста и суда есть факт, сам по себе, заслуживающий внимания.

В Ц. И. К. никто не ожидал, что Ленин «выйдет из положения» именно таким способом. Его бегство вызвало в наших кругах огромную сенсацию и обсуждалось горячо и долго на все лады. Среди большевиков находились тогда единицы, которые высказывали одобрение поступку Ленина. Но большинство советских людей отнеслось к нему с резким порицанием. Мамелюки и советские лидеры громко кричали о своем благородном негодовании. Оппозиция хранила свое мнение про себя. Но это мнение сводилось к решительному осуждению Ленина — с точки зрения политической и моральной. И я лично к этому вполне присоединялся.

Я уже говорил (по поводу Луначарского), что — прежде всего — бегство пастыря в данной обстановке не могло не явиться тяжелым ударом по овцам. Ведь массы, мобилизованные Лениным, несли на себе все бремя ответственности за июльские дни. От этого бремени они не могли освободиться никаким способом. Часть их осталась на своих заводах, в своих районах — изолированная, затравленная, со страшным Katzenjammer'ом и невыразимой путаницей в головах. Часть была арестована и находилась в ожидании возмездия за выполнение своего политического долга сообразно своему слабому разумению. А «действительный виновник» бросает свою армию, своих товарищей и ищет личного спасения в бегстве!..

Зачем это было нужно? Угрожало ли что-нибудь жизни или здоровью большевистского вождя? Смешно было говорить об этом летом 17-го года! Ни о самосуде, ни о смертной казни, ни о каторге не могло быть речи. Как бы ни был несправедлив суд, как бы ни были минимальны гарантии пра-

восудия — все же Ленину не могло угрожать ровно ничего, кроме тюремного заключения.

Конечно, Ленин мог дорожить не жизнью и не здоровьем, а свободой политической деятельности. Но разве в тогдашней тюрьме он был бы стеснен в ней больше, чем в своем подполье? Свои фельетоны в «Правде», раз в две недели, Ленин, конечно, мог бы писать и из тюрьмы. Между тем, с точки зрения политического эффекта самый факт тюремного заключения Ленина имел бы колоссальное положительное значение, — тогда как факт бегства имел значение только отрицательное.

Все это в полной мере может быть подтверждено примером товарищей Ленина. Многие из них были арестованы и отданы под суд за те же преступления. Они благополучно просидели по полтора-два месяца в тюрьме. Они продолжали там свое писательство в газетах. Они, с ореолом мучеников, служили неисчерпаемым источником агитации против правительства Керенского и Церетели. А затем, без малейших вредных для кого бы то ни было последствий, вернулись на свои посты.

Бегство Ленина и Зиновьева, не имея практического смысла, было предосудительно с политической и моральной стороны. И я не удивляюсь, что примеру их — только двоих! — не последовали их собственные товарищи по партии и по июльским дням.

Но, как известно, было еще одно обстоятельство, которое усиливало одиум бегства Ленина в тысячи раз. Ведь помимо обвинения в восстании — на Ленина была возведена чудовищная клевета, которой верили сотни тысяч и миллионы людей. Ленина обвиняли в преступлении, позорнейшем и гнусней-

шем со всех точек зрения: в работе за деньги на германский генеральный штаб... Просто игнорировать это было нельзя. И Ленин вовсе не игнорировал. Он прислал Зиновьева в Ц. И. К. с требованием защищать его честь и его партию. Это было совсем не трудно сделать. Прошло немного времени, и вздорное обвинение рассеялось, как дым. Никто ничем не подтвердил его, и ему перестали верить. Обвинение по этой статье Ленину уж ровно ничем не угрожало. Но Ленин скрылся с таким обвинением на своем челе.

Это было нечто совсем особенное, беспримерное, непонятное. Любой смертный потребовал бы суда и следствия над собой в самых неблагоприятных условиях. Любой сделал бы лично, с максимальной активностью, у всех на глазах все возможное для своей реабилитации. Но Ленин предложил это сделать другим, своим противникам. А сам искал спасения в бегстве и скрылся.

Это было совершенно нестерпимо. У людей, принимавших «новое дело Дрейфуса» так близко к сердцу, как будто оно касалось их самих, — опускались руки. Никаких слов осуждения тут не хватало. Но ведь честным людям сейчас нельзя было их и произносить...

Как бы то ни было, этот факт исчезновения Ленина, я считаю бьющим в самый центр характеристики личности большевистского вождя и будущего правителя России. Так поступить мог только один Ленин на свете. Наполеону-Маккиавелли показалось, что для его дела, для дела его партии будет выгоднее, если он убежит от своих обвинителей, не дав им перед лицом всей страны никакого ответа. И он пошел напролом, осуще-

ствляя свое намерение — пошел прямолинейно и цинично...

* * *

В ту же ночь, на 7-е, заседание Вр. Правительства, с участием министров-капиталистов, сменилось заседанием советской звездной палаты. Часам к двум ночи Керенский приехал в квартиру Скобелева, где жил Церетели. Там же были Дан, Гоц, Чхеидзе... В присутствии вновь прибывшего и весьма активно настроенного Керенского, звездная палата имела новое суждение о положении дел.

Правую, видимо, представлял Керенский (вероятно, с Гоцом), — левую Дан и Чхеидзе. Правая продолжала линию реакции и репрессий. Левая продолжала линию рассасывания реакции и сдерживания репрессий. Правая отстаивала «государственность и порядок» quand même. Левая, с своей стороны, начинала чувствовать Katzenjammer и опасаться, что дело заходит слишком далеко — на потребу клики из главного штаба. Керенский отстаивал ликвидацию большевиков, как партии. Дан настаивал на свободе партий и ответственности личностей. Церетели был в центре. В результате, Дан одержал верх формально, но Керенский был удовлетворен фактически.

Вдруг из тишины глубокой ночи раздался оглушительный звонок. Звонил тот самый телефон, по которому издавна вел интимные разговоры Церетели с кн. Львовым, и который Ларин предлагал в виду этого снять. Но звонил на этот раз не Львов, ищущий спасения в Церетели. Звонила не больше, не меньше, как супруга доблестного Стеклова. Среди массовых обысков, самочинных и законных,

теперь дошел черед и до него. Не то самочинные, не то законные власти ворвались, в большом числе, в квартиру Стеклова и, по словам его жены, угрожали его безопасности и его имуществу. Именем своего мужа, именем справедливости, именем долга власть имущих — жена Стеклова требовала экстренного вмешательства в самых чрезвычайных формах. Она немедленно требовала Керенского к себе. И Керенский поехал. Не входя в квартиру, он в под'езде дома дал нужные распоряжения, и обыск был прекращен. Керенский вернулся в звездную палату. Однако, не тут то было. Через некоторое время жена Стеклова звонила снова. Она выражала претензии, что Керенский не зашел к ней в квартиру, а в результате ей снова кто-то чем-то угрожает. Керенский поехал вторично и окончательно водворил порядок в доме счастливого обладателя столь энергичной супруги.

Пятница, 7-е июля.

В пятницу 7-го рано утром собрался меньшевистский Центр. Комитет. Вероятно, Дан и Церетели отправились туда прямо с заседания звездной палаты... Меньшевистские лидеры положительно стали проявлять понимание кон'юнктуры: они продолжали линию приостановки контр-революции. И к 7 часам утра в меньшевистском Ц. К. уже была принята резолюция, заостренная н а п р а в о.

Могу сказать с уверенностью, что инициатором и автором этой резолюции был Дан. Резолюция, конечно, обвиняла в событиях большевиков; но она указывала, что на почве этих событий, под лозун-

гами «установления революционного порядка», растет контр-революция, пролагающая дорогу к военной диктатуре. В пункте втором подчеркивалось требование применять исключительные меры лишь к отдельным лицам, но не к партиям — при соблюдении достаточных судебных гарантий. Пункт же третий и последний был даже посвящен не «беспорядкам», а высокой политике; он показывал, что меньшевистские лидеры уразумели ныне причину кризиса и желают смотреть в корень; пункт третий требовал, чтобы были безотлагательно осуществлены все мероприятия, указанные революционной демократией в лице Всерос. Советского С'езда... Все это, как мне кажется, было очень существенно: дальнейшее находилось в непосредственной связи с такой позицией официального меньшевизма.

В пятницу 7-го, вслед за верховодами правящего советского блока, спозаранку собралось и Вр. Правительство. Оно начало заседать уже около половины девятого. Не знаю, было ли это заседание бурно, но оно во всяком случае было «драматично». Ибо дело шло об изнасиловании премьера революции, мечтательного интеллигента и гуманного помещика, кн. Львова.

Кампания, несомненно, была подготовлена ночью, на квартире Скобелева. На платформе только-что изложенной резолюции «марксистская» часть правящей группы, в ночном заседании, видимо, успела об'единить всю звездную палату. В этом заседании звездная палата постановила провозгласить решительное и неуклонное выполнение демократической программы, предписанной С'ездом. И было решено пред'явить соответствующую декларацию буржуазной части кабинета.

Почему на это пошла эсеровская часть звездной палаты? Каким способом склонили Керенского думать о чем-нибудь, кроме репрессий, подавлений, разоружений, ликвидаций? Ведь он прискакал с фронта, видимо, преисполненный только духа сокрушения, но не политического разума. И вдруг его заставляют заниматься высокой политикой, и вместо «твердой власти» делать уступки демократии...

Об'яснять это надо, на мой взгляд, только одним способом: Керенский в это время был убежден, что ему пора стать главой государства. И для него — уступки демократии, нежелательные и «несвоевременные» сами по себе, были средством оказать такое давление на Львова, какого он, Бог даст, не выдержит. Благодаря давлению слева, должны начаться новые пертурбации в министерстве, и тут Керенскому не миновать поста премьер-министра...

Я полагаю даже, что именно эсер Керенский был прямым или косвенным инициатором «левой» кампании против Львова. Керенскому, при данном его настроении, не было никакого дела до контрреволюции и до борьбы с ней. Ему было интересно только вызвать перемены в правительстве и сконструировать собственный кабинет. Напротив, «звездному» меньшевику Дану надо было остановить реакцию. Что же касается перемен в правительстве, то ведь только что, два дня назад, Дан вместе с Церетели распинался перед всей революционной демократией о неправомочии решать эти вопросы до пленума Ц. И. К.; и настаивал на сохранении status quo, как на последнем слове государственной мудрости. В этом смысле, по инициативе меньше-

вистских лидеров, состоялось постановление об'единенных Ц. И. К. А теперь, вдруг, кампания против Львова!

Конечно, тут мог «намутить» только Керенский. Ведь до сих пор звездная палата вела свою кунктаторскую линию в *его отсутствии*. Керенский приехал и толкнул звездную палату на путь немедленных перемен в структуре власти. Меньшевики, соблюдая равнение налево, соблазнились, согласились. И все хитроумные теории о неправомочии Ц. И. К., о невозможности создавать власть среди пальбы, под давлением улицы — в двадцать четыре минуты полетели к чорту...

Как бы то ни было, звездные эсеры и меньшевики с разных сторон пришли к одной «платформе». Одни хотели перемен в «кабинете», другие — закрепления советской «линии» против контр-революции. А в результате — совместная кампания изнасилования главы правительства.

В раннем заседании 7-го июля министры-социалисты предложили правительству программу Всеросс. Советского С'езда на предмет немедленного осуществления. В этой программе, конечно, не было ровно ничего ни нового, ни страшного. И даже внешнее выражение этой программы было крайне скромным, расплывчатым, дряблым, неопределенным. Принятие этой программы, как и декларация 6 мая, ровно ни к чему не обязывало правительство.

Но был неожиданным *самый факт* такого выступления министров-социалистов. Он не вязался со всей предыдущей линией звездной палаты, направленной исключительно к водворению государственности и порядка дружными усилиями Совета и правительства. Требования министров-социалистов,

лишенные всякого опасного содержания, были как бы нарочито рассчитаны на отпор премьера Львова. Практические дельцы, Терещенко или Некрасов, совсем не устрашились пред'явленных требований и проглотили их без всяких затруднений. Но «идеалист» Львов не замедлил взбунтоваться.

Препирательства шли долго. Заседание кончилось около часа дня. И оно кончилось выходом в отставку первого «премьера» революции... Что именно и как именно говорилось в заседании — мне неизвестно. Но свои мотивы Львов тут же изложил в открытом письме на имя Вр. Правительства Какие же обвинения он мог пред'явить новому «социалистическому» большинству кабинета? Он пред'явил совершенные пустяки. Ведь советские министры с Церетели во главе, не могли же в конце концов требовать от него ничего серьезного. Они просто изнасиловали его булавочными уколами и создали для него нестерпимое личное положение.

В своем письме Львов говорит об «явном уклонении» предложенной ему программы «от внепартийного характера в сторону осуществления чисто партийных социалистических целей». А именно? По словам Львова, это, во-первых, об'явление России республикой («узурпация прав Учред. Собрания»); во-вторых, требование роспуска Гос. Думы и Совета («нарушение присяги, данной перед народом»); в-третьих, «некоторые второстепенные пункты, имеющие меньшее значение, но носящие, однако, характер выбрасывания массам государственных моральных ценностей». Этих пунктов Львов в письме не назвал; но зато он подробно остановился на неприемлемости для него взятого курса аграрной политики.

«Земельные законы, внесенные министром земледелия на утверждение Вр. Правительства, неприемлемы не только по содержанию, но и по существу всей заключающейся в них политики» (?); «министерство земледелия, отступая от смысла декларации 6-го мая, проводит законы, подрывающие народное правосознание» (!); они «как бы оправдывают гибельные, происходящие по всей России самочинные захваты, и, в сущности, стремятся поставить Учр. Собрание перед фактом уже разрешенного вопроса»... Наконец, Львов сообщает о наличии «многочисленных разногласий» между ним и большинством кабинета — «разногласий, участившихся за последнее время». Но из них министр-президент упоминает только об одном, чисто формальном пункте: о принятии 4-го июля, при участии министров-социалистов, постановления Ц. И. К. насчет обязательности для всего правительства руководствоваться решениями советского С'езда... Прочие министры-капиталисты, по справедливости, заключили на основании опыта, что этот формальный пункт не имеет никакого материального значения... Но Львов не имел пред'явить ничего, кроме вышеизложенного.

Мы видим, что все это, вместе взятое, на самом деле такие пустяки, которые в данный момент совсем не должны были бы вызвать «новый кризис», если бы он не входил в расчеты самих министров.

Львов заявил о своем уходе. Оставалось его заместить. Это и было сделано без замедления и без труда. По всем данным, я не ошибусь, если скажу, что истекшей ночью звездная палата не только разработала кампанию, но и перераспределила портфели. Ведь не принимали же, в самом деле, всерьез

«звездные» вожди того факта, что «революционная демократия» строго воспретила, по их собственному настоянию, производить перемены в правительстве впредь до пленума Ц. И. К!...

Львов занимал два поста: министра-президента и министра внутренних дел. На первый был немедленно «назначен» Керенский, с оставлением военным министром, а на второй... Ираклий Церетели, с оставлением министром почт и телеграфа. Затем, Богом данные новые правители почему-то назначили Некрасова министром без портфеля: доселе он не то вышел, не то не вышел, не то из правительства, не то из кадетской партии, — но, так или иначе, был, видимо, очень полезным для России и очень приятным звездной палате человеком. В предыдущие дни он энергично ратовал против опубликования «данных» о Ленине, имевшихся у сверх-патриота Переверзева. Не потому однако, что он был против дела Дрейфуса, а потому что он боялся провалиться с таким материалом обвинения. Как бы то ни было сейчас была сделана попытка «назначить» инженера-путейца Некрасова на место адвоката Переверзева министром юстиции. Но попытка эта вызвала такое «недоумение», что от нее тут же отказались. Впрочем, смущаться было нечего: уж взялись впятером судить, рядить, кроить, кидать — так раззудись плечо, размахнись рука!...

Наконец, на место председателя Экономич. Совета решили пригласить известного московского «межклассовского» экономиста, бернштейнианца и поссибилиста, а попросту радикала Прокоповича. На пост министра финансов «назначили» либерального муниципала Авинова. И новая власть была, стало быть, составлена... Что мамелюки все при-

мут и одобрят, в этом, конечно, никто не сомневался. Керенский, не теряя времени, отправился в свои министерства, рекомендуясь всем новым министром-президентом. А Церетели рассудил, что теперь не мешает заехать и в Таврический дворец — оповестить обо всем вышеизложенном... Это было в час дня.

* * *

Заседание Вр. Правительства, о котором шла речь, повидимому, состоялось в помещении главного штаба, на Дворцовой площади. По крайней мере, Керенский, в течение этого заседания, успел с подоконника говорить речи войскам, все еще прибывавшим с фронта и стянутым на Дворцовую площадь, на предмет разоружения бунтовщиков. Зрелище из окон штаба на площадь было, повидимому, довольно эффектно: там гарцовала «верная» кавалерия, с музыкой и знаменами. И с подоконника не прочь были выступить и другие «популярные личности». Очень хотелось взобраться на подоконник Виктору Чернову. Но отколь и как он ни заходил, ему это никак не удавалось: подоконник был переполнен любопытными...

Тут же, в штабе, как мне известно, в это время находился и Дан — лицо не состоящее ни в каких формальных отношениях с министерством. Из этого я заключаю, что в прощальном заседании с кн. Львовым вся звездная палата, как таковая, принимала более или менее близкое и непосредственное участие.

В Таврическом дворце во втором часу дня начало понемногу собираться бюро. Но лидеров еще не

видно. Депутаты тоскливо бродят, лениво спорят, сидят в креслах, закрывшись газетными листами. Бог весть, когда явится президиум.

Но в это время передают: одна из частей, прибывших с фронта, неподалеку от Николаевского вокзала была обстреляна из пулеметов. Стрельба продолжается, ее можно слышать из окон Таврического дворца.

Эге! Это дело было серьезно и могло кончиться плохо. Эту чудовищную провокацию могли учинить только германские агенты — ради дезорганизации власти в Петербурге, в интересах наступления на фронте; могли сделать это и черносотенцы, царские слуги, которые уже убедились в выгодах уличной склоки и не могли не соблазняться возможными результатами провокации фронтовых войск. Я уже говорил о настроении «сводного отряда»: оно заставило почесать затылок даже мамелюков. Прямое же нападение на усмирителей могло быть поистине спичкой, брошенной в пороховой погреб. Усмирители могли разнести вдребезги рабочий Петербург — раньше, чем вручить пятиминутную власть над ним какому-нибудь выскочке. А тут был не случайный выстрел: тут было хорошо организованное нападение — до пулеметов включительно.

По слухам, дело началось выстрелом с балкона в проходящую часть 177-го Изборского полка, на Старом Невском. Солдаты немедленно развернули строй, расставили пулеметы и стали обстреливать целый ряд домов. Затем то же самое началось на прилегающих улицах. Перестрелка шла у Александро-Невской Лавры, на Лиговке, на Миргородской у Калашниковской биржи; там был об-

стрелян близко мне знакомый дом, где жил Никитский...

На место сражения с неизвестным неприятелем были вызваны новые воинские части. Начались повальные обыски во всем районе. Солдаты рассвирепели. В них, проливавших кровь на фронте, стреляют петербургские бунтовщики! Надо показать им, тыловым лодырям и трусам!.. Картина была скверная, положение угрожающее.

Слухи о нападении на «сводный отряд» мгновенно облетели весь город. И перестрелка какими-то путями перекинулась чуть ли не во все его районы. Видимо, стихия «регулировалась» предприимчивой рукой. И, видимо, это была серьезная ставка на анархию или на переворот, так как «беспорядки» поддерживались с большим упорством... Стрельба стала затихать только к вечеру. А ночью возобновилась опять. Передо мной лежит рапорт милиции, где названо 11 различных районов Петербурга, в которых ночью была зарегистрирована стрельба. Но кто и в кого стрелял — неизвестно.

Однако, провокаторская кучка явно не имела ни малейшего подобия массовой организации. Ни черносотенное ядро, ни какие-либо выскочки и проходимцы из штаба не имели организованной поддержки в массах, необходимой для переворота. К своим целям они могли идти только через анархию, путем разжигания «усмирителей» до белого каления.

Но до полной анархии и всеобщей свалки им дела довести не удалось. Меры, принятые Ц. И. К., уже дали знать себя. Большая часть прибывших войск уже побраталась с гарнизоном и рассосалась в нем за истекшие сутки. Прием, оказанный им советскими элементами, ввел их в сферу влияния

Совета, где они были безопасны. И, несмотря на энергию и упорство провокаторов, они не встретили массовой поддержки. «Беспорядки» были локализированы и мало-по-малу затихли...

Несомненно, в этот день, в пятницу 7-го, мы пережили снова критический момент. Ведь обывательская масса, мещане, «интеллигенция», отхлынувшая от Совета солдатчина — обвиняли в новом кровопролитии опять-таки большевиков. И делу основательной, глубокой реакции отлично послужили «беспорядки» этого дня. Но все же острота кризиса, опасность контр-революционной катастрофы исчезла довольно быстро.

Около полудня в Таврическом дворце состоялось важное собрание представителей гарнизона, назначенное накануне. Туда явились и делегаты вновь прибывших частей. Собрание должно было показать физиономию столичного гарнизона после июльских дней. Действительно ли полученный удар отбросил его в руки неприкрытой буржуазии? Действительно ли эсерствующий кадет Виленкин стал слишком лев для вчерашней повстанческой армии?..

Я не знаю, что именно было на собрании, кто и с чем выступал там. Но результаты его оказались достаточно благоприятны. И речи, и резолюция показали, что гарнизон все-таки, кроме Совета, ничего не имеет, и обещание верности ему посильно выполнит. В резолюции значилось, что гарнизон «безусловно подчиняется Ц. И. К. и будет беспрекословно исполнять все его приказания»... Даже мамелюки вздохнули с облегчением.

* * *

Заседание бюро началось, вероятно, около трех часов. Не помню, ходили ли среди депутатов до того слухи о сюрпризе, который имела преподнести звездная палата Ц. И. К...

Доклад, конечно, сделал Церетели. Как именно он мотивировал перемену фронта, сказать не берусь. Надо думать, констатируя благополучную ликвидацию мятежа, он указывал на опасность реакции, слишком далеко заходящей. В результате — необходимость решительного проведения программы Всеросс. С'езда, отставка Львова и образование нового кабинета. Разумеется, временно — впредь до решения пленума Ц. И. К.!.. Церетели назвал и новых министров. Я помню, как он не мог сдержать конфузливой улыбки отличившегося гимназиста, когда говорил:

— Министр внутренних дел — Церетели...

Никаких прений не осталось у меня в памяти. Но из бестолковых газетных заметок (ведь заседания были тайны, и сведения получались газетчиками из третьих, ненадежных рук) я вижу, что прения были длинны и, пожалуй, не лишены интереса. Газеты приписывают Мартову фразу, что — «ни разу с момента революции он не был так удручен, как сегодня».

Собственно говоря, по существу ничего особенно дурного не случилось. Но как случилось все это! Тут действительно можно было впасть в полное уныние. Революцией вертела по своему безудержному произволу крошечная кучка людей, бросавшаяся то в одну, то в другую сторону. В их махинациях не участвовали не только массы, сколько-нибудь широкие группы демократии, рабочих, солдат и крестьян, но даже «полномочные представи-

тели» их, передоверив звездной палате все свои права и обязанности, были пассивными зрителями экспериментов над их собственной волей, были покорными, молчаливыми слугами своих господ. В этом был признак глубокого упадка сил революции. В этом был источник глубокой реакции. Это была удручающая картина.

Но любопытно было присмотреться и к существу дела. Ведь новый кабинет Керенского был **советским** правительством. Его глава был членом Ц. И. К. Его основное ядро были министры-социалисты. Они не только **могли** формировать, но и фактически формировали все правительство по своему усмотрению и произволу. Они об'явили, что правительство должно действовать согласно указаниям советского С'езда. Они фактически и формально признавали С'езд и Ц. И. К. единственными источниками власти. Ведь других ныне и не было решительно никаких... Если прибавить к этому, что реальная власть и сила была, как и раньше, в их и **только** в их руках, — то как будто положение было ясно: как ни отказывались советские лидеры от власти, ныне они формально получили ее; как ни отвергали они идею власти советов, ныне они расписались в том, что эта идея восторжествовала.

Так казалось. Но вместе с тем была очевидна и другая сторона дела. Новый глава государства, член Ц. И. К., советский ставленник Керенский — не хочет знать никакого Совета. Он стал главой государства не в качестве представителя организованной демократии, а сам по себе, воображая себя надклассовым существом, призванным и способным спасти Россию. И свои формальные, вновь при-

обретенные права, вместе с прочими «советскими» коллегами, Керенский, конечно, использует прежде всего на то, чтобы формально и фактически вернуть к власти буржуазию. «Советское» правительство, конечно, главной заботой своей поставит создать новую коалицию против революции. Это была удручающая картина.

Судя по бестолковым газетным заметкам, вокруг всего этого вращались прения в бюро. Оппозиция изливала иронию и негодование. А мамелюки, разумеется, воспевали мудрость звездной палаты, которая так же мудро требовала сегодня одного, как мудро требовала вчера противоположного. Но все это были предварительные разговоры. Для окончательного поднятия рук к вечеру должен был собраться об'единенный Ц. И. К.

* * *

В разгар прений произошло вдруг какое-то смятение, переполох, дезорганизация. Как молния, облетело какое-то ошеломляющее известие. Это было известие о поражении на фронте русской наступающей армии. Накануне, 6-го, наш фронт, в месте расположения 11-й армии, близ Тарнополя, был прорван на 12 верст в ширину и на 10 в глубину. Противник продолжает наступление...

Я уже цитировал выше мнение самого Керенского об его авантюре 18-го июня. Ни у кого из сведующих людей не было сомнений, что наше наступление не только должно быть сорвано и ликвидировано в близком будущем, но может кончиться огромным крахом. Среди советских правых

депутатов было много военных людей, которые с самого начала чуяли правду. Но всем им полагалось проявлять один только патриотический восторг, а отнюдь не скепсис. И сейчас весть о поражении поразила, как громом, весь Таврический дворец.

Мамелюки были потрясены в качестве «патриотов». Оппозиция же хорошо понимала, что поражение на фронте еще больше развязывает руки внутренней реакции. Ведь как бы хорошо Керенский ни отдавал себе отчет в неизбежности печального исхода его затеи, — он про себя и вслух обвинял в нем **большевиков** и июльское восстание. О мамелюках, о бульварной прессе, о мещанской массе — нечего и говорить. Для них поражение у Тарнополя и срыв всего вожделенного наступления — с начала до конца было делом рук большевиков. Еще бы! В официальных сообщениях «ставки» упоминалось, прямо и непосредственно, об агитации большевиков, как о причине поражения.

В Ц. И. К. было смятение. Даже наиболее добросовестные правые депутаты, при известии о прорыве фронта, обращают свои мысли и взоры, в первую голову, на тех же большевиков. Менее добросовестные, сильно преувеличивая опасность положения, определенно намекают на то, что теперь уж нечего пенять на справедливую расправу с изменниками...

Известие о Тарнополе, однако, не прервало прений о власти. Новость передавалась из уст в уста, произвела дезорганизацию собрания, но не нарушила порядка дня. Да и что тут было обсуждать в бюро! Ведь новое правительство Керенского-

Церетели-Терещенко должно было спасти ото всех бед, внутренних и внешних...

Я остановил Войтинского и спросил, как обстоит дело с митингами, театрами, кинематографом и прочими предохранительными мерами для гарнизона и сводного отряда. Организуются ли для них развлечения?

— Что-о? изумленно и гневно раскрыл на меня глаза Войтинский. — Разве вы не знаете, что случилось? Вы не слыхали о фронте? Разве теперь до развлечений!

Спорить тут было не о чем. Я скромно отошел.

* * *

К вечеру стал собираться об'единенный, с мужичками, Ц. И. К. Предстояло снова слушать те же речи о власти. Но сначала пришлось заняться другим. Когда я подошел к «белому залу», там была уже новая сенсация. Около дверей толпились какие-то моряки. Около моряков толпились депутаты и публика. Дело шло о событиях в **балтийском флоте** в июльские дни.

Эти события, в двух словах, были таковы. Балтийский флот имел свой штаб, то-есть свой Центр. Комитет в Гельсингфорсе. Где-то там около стояли и суда. Настроение матросов было большевистское, хотя Центр. Комитет, кажется, еще не был в руках большевиков... Когда в Петербурге разразились события 3-го—4-го июля, Вр. Правительство, т. е. Львов, Керенский и Церетели, в экстренном порядке вызвали некоторые суда «для быстрого и решительного воздействия на участвовавших в этих пре-

дательских беспорядках кронштадтцев». Так сообщал сам Керенский в приказе по армии и флоту от 7-го июля. Но — «враги народа и революции, действуя при посредстве Центр. Ком. Балтийского флота, ложными раз'яснениями этих мероприятий внесли смуту в ряды судовых команд»... Ложные раз'яснения левых партийных организаций, конечно, могли сводиться только к тому, что суда вызываются для усмирения бунта и для экзекуции. «Изменники, — продолжает Керенский, — воспрепятствовали посылке в Петроград верных революции кораблей и принятию мер для скорейшего прекращения организованных врагом беспорядков, и побудили команды к самочинным действиям — к смене генерального комиссара Онипко, к постановлению об аресте помощника морского министра капитана 1-го ранга Дудерова» и т. д. «Изменническая и предательская деятельность ряда лиц вынудила Вр. Правительство сделать распоряжение о немедленном аресте их вожаков. В том числе Вр. Правительство постановило арестовать прибывшую в Петроград делегацию Балтийского флота для расследования ее деятельности» (!!!). Далее Керенский приказывает: 1) Ц. К. Балт. флота немедленно распустить, переизбрав его вновь. 2) Об'явить всем судам его, Керенского, призыв немедленно из'ять из своей среды подозрительных лиц, представив их для следствия и суда в Петроград. 3) Командам Кронштадта и линейным кораблям «Петропавловск», «Республика» и «Слава» в 24 часа арестовать зачинщиков, прислать их в Петроград и принести заверения в полном подчинении Вр. Правительству. За неисполнение изложенного Керенский обещает «самые решительные меры».

Самый приказ появился в печати только на следующий день. Но сейчас, перед заседанием Ц. И. К., существо дела представлялось именно в том виде, как его (в неприличных выражениях) описывает Керенский. Делегация балтийских моряков действительно была арестована, лишь только вступила на почву Петербурга. В Таврический дворец, для жалобы и протеста, явились либо ее обрывки, случайно сохранившиеся, либо местные, петербургские представители флота.

Я не помню, было ли об'явлено закрытым это заседание Ц. И. К. или же начальство решило бросить эту недостойную и неприличную игру в несуществующую государственную тайну. Во всяком случае «белый зал», хотя и был не полон, но не имел благообразного вида. На председательской кафедре, в проходах, на хорах стояли и двигались люди, частью посторонние, главным образом, моряки. На ораторской трибуне стоял помощник Керенского, правый эсер (на деле либерал) Лебедев. Он долго и велеречиво рассказывал, как он ездил в Ревель и в другие пункты расположения моряков — улаживать инциденты, устранять недоразумения. Конечно, «в общем и цѐлом» это ему удалось. Он без труда нашел общий язык с матросами. Еще бы! Ведь он же слит с ними едиными чувствами любви к революции. Но находятся всюду злонамеренные личности, подстрекаемые темными элементами и врагами отечества. Под влиянием их некоторые команды нарушили свой долг. И Вр. Правительство совершило бы преступление перед родиной и революцией, если бы не приняло против них исключительных мер.

В заседании Ц. И. К. вопрос собственно за-

острился на аресте балтийской делегации. Как бы то ни было она явилась в Петербург для информации, для переговоров и ликвидации конфликта. А бурно настроенный Керенский приказал арестовать ее «для расследования ее деятельности». Вопрос стоял об освобождении делегации по жалобе моряков.

В прениях обнаружилось, что не только члены «кабинета», но и вся звездная палата, с ее приближенными, была вполне осведомлена о положении дел. Броненосцы были вызваны с ее соизволения. Если моряки не послушались, а вместо того взбунтовались, то они естественно заслуживали репрессий — во имя революции. И правые ораторы пытались было защищать образ действий морских властей. Но тут обычное течение дел в Ц. И. К. было нарушено такою неожиданностью.

Слово для об'яснений было дано представителю самих жалобщиков. На трибуну вышел матрос, который немедленно привлек к себе симпатии и импонировал своей корректностью, деловитостью, добросовестностью. Он сообщил следующее. Усмирять товарищей моряки не стали бы, но выполнить приказ о посылке судов в Петербург они были готовы. Однако, с этим приказом дело обстоит не так просто. Дело в том, что одновременно с ним была получена телеграмма (по юзу) от помощника морского министра Дудерова на имя командующего флотом, адм. Вердеревского. В телеграмме содержался приказ: буде суда, направляемые в Петербург, сами окажутся во власти ненадежных элементов, — то оные суда потопить.

Телеграмма эта стала известна Ц. К—ту Балтийского флота. Сообщить ее счел необходимым сам

адм. Вердеревский. И вот тогда флот «взбунтовался»... Теперь дело раз'ясняется. Теперь становится понятным и неясный пункт приказа Керенского, где он ссылается на постановление Балтийского Ц. К. об аресте Дудерова и об устранении «генерального комиссара».

Эти доблестные граждане замыслили действо, пожалуй, слишком сильное для лета 17-го года. Даже об'единенный Ц. И. К. ахнул, услышав простой рассказ матроса, который оправдывался за весь флот, обвиняемый в измене революции. Этот план Керенского и Дудерова был, кажется, неизвестным и звездной палате. Она растерялась от неожиданности. Ряды мамелюков заколебались. Контр-революция опять слишком близко придвинула к ним свое лицо. В результате, оппозиция почувствовала себя укрепленной.

Уже к ночи была принята резолюция. В ней Ц. И. К. выражал «свое глубокое сожаление по поводу ареста моряков Балтийского флота, делегированных для переговоров с Ц. И. К.». Затем «обращалось внимание» на то, что при аресте не были соблюдены условия, установленные соглашением: приказ не был подписан советскими делегатами (мы знаем, что таковыми были Гоц и Авксентьев). Наконец, Ц. И. К. обращался к правительству со срочным запросом о причинах ареста; и если причиной является действительно постановление Балтийского Ц. К. в связи с юзограммой Дудерова, то Ц. И. К. «признает необходимым» немедленное освобождение делегации.

Резолюция говорит обычным, либеральным, дряблым, никчемным языком и никого и ни к чему не обязывает. Но как ни как, по существу, она

обвиняет правительство в безобразном поступке. По законам парламентаризма, это явное недоверие правительству. Что же касается товарища министра Лебедева, то в заседании Ц. И. К. даже «умеренные» люди громогласно требовали его отставки... Однако, никаких последствий все это не имело. После жалкой резолюции собрание, как ни в чем не бывало, перешло к очередным делам.

А на следующий день министр Скобелев вручил тому же самому Лебедеву обращение к флоту. В нем правительство, языком Керенского, заявляет, что Балтийский Ц. К., «введенный в заблуждение безответственными агитаторами», «совершил роковые ошибки». Тем, кто сознал их, Вр. Правительство готово «простить их вину, под условием полного повиновения в дальнейшем». Сейчас министры требуют, чтобы моряки «загладили свои прошлые ошибки и вину героической борьбой против внешнего врага»... Ни о провокации Дудерова, ни об «ошибках» Керенского нет и помину.

Вся эта мерзость не нуждается в комментариях. Можно только еще прибавить, что это милое обращение к флоту от имени «кабинета» подписал и Чернов. Впрочем балтийская делегация была тут же освобождена. И этим инцидент был исчерпан. Не знаю, какова была судьба доблестного Дудерова. Не знаю, требовал ли кто-нибудь потом об'яснений от доблестного Керенского. Но адм. Вердеревский был смещен, отдан под суд и заключен под стражу. Вся эта история была во всяком случае высоко знаменательной. Керенский-премьер начинал с нее свою карьеру.

Сейчас, когда принималась резолюция, Керенского, кажется, уже не было в Петербурге. При

известии о поражении у Тарнополя новоиспеченный «премьер», в тот же день, 7-го июля, снова ускакал на фронт.

* * *

В это время в городе попрежнему продолжались аресты, и наполнялись, и переполнялись тюрьмы. В рабочих кварталах разоружались пролетарские отряды и отдельные рабочие. Не только стихийная, но и правительственная, полицейская реакция разгуливалась во всю.

Меньшевики-интернационалисты посильно продолжали свою линию борьбы с нею. Раньше, чем Ц. И. К. приступил к основному пункту, о власти, Мартов потребовал слова для внеочередного заявления. Он произнес небольшую речь и огласил наш протест по поводу арестов. Декларация за нашими подписями была потом опубликована в газетах. Сейчас, на «внеочередное заявление» можно было бы и не отвечать. Но все же храбрый Церетели вышел с ответом. Он заявил то же, что говорил много раз. Зачем существуют на свете эти (выступающие с протестами) большевики второго сорта, когда имеется первый сорт? Он, Церетели, предпочитает иметь дело с Лениным, но не с Мартовым. С первым он знает, как надо обращаться, а второй связывает ему руки... Что же касается репрессий и арестов, то они вызваны государственной необходимостью и интересами революции. «Безответственным группам» надлежит помалкивать.

— Я беру на себя ответственность за эти аресты, — внятно и отчетливо, среди тишины, заявил новый министр внутренних дел.

Да? Вы берете на себя эту ответетственность, гражданин Церетели? — Ну, что ж! Вы смелы. Вы сеете отличные семена. Что-то вы пожнете?...

Вероятно, около полуночи, когда в городе там и сям возобновилась перестрелка, Ц. И. К. начал вновь обсуждать вопрос о власти. Кажется, говорить было уже нечего. Все уже было сказано в бюро. Но все же Церетели снова выступил с докладом. Не помню, кто, как и зачем возражал ему. Но заседание длилось до утра. Оно кончилось в пятом часу, уже при свете солнца.

Кончилось оно принятием резолюции, списанной почти слово в слово с утренней резолюции меньшевистского Ц. К. Я уже цитировал ее выше. Она держала словесный курс налево, против контр-революции и требовала решительного проведения советской программы. А в заключение Ц. И. К. постановлял: «уполномочить министров социалистов, в согласии с другими министрами, предпринять пополнение правительства и его реорганизацию в направлении, указанном в докладе Церетели».

Ц. И. К. отменял свое торжественное постановление, сделанное ровно трое суток тому назад. Все принципиальнейшие принципы, за которые распинались тогда советские лидеры, ныне превратились в собственную противоположность. Прихоть зарвавшихся политиканов — вот что стало принципом для этих опустившихся, усталых, несмышленных и злых «полномочных представителей всей революционной демократии», поднимавших руки 7-го июля.

* * *

Звездная палата устроилась, как ей заблагорассудилось. Не весь кабинет, правда, был сформирован. Но торопиться некуда. Во всяком случае новое правительство сочло за благо выступить с торжественной декларацией — взамен той, с которой выступила первая коалиция 6-го мая. Новая декларация — второй коалиции — датирована 8-м июля. Ц. И. К. ее не утверждал и до опубликования не видел.

Декларация эта достаточно любопытна. Она отлично отражает то, что происходило внутри преобразованного кабинета... Начинается она пышной прокламацией, где выражается надежда, что пережитый острый кризис поведет к оздоровлению (!); но правительство, с своей стороны, «будет действовать со всею решительностью, какой требуют чрезвычайные обстоятельства».

Что же оно намерено сделать?.. В общем, как и следовало предположить, декларация 8-го июля целиком повторяет майскую. Но детали, нюансы — заслуживают внимания. Разве не смешно, в самом деле, звучит в обстановке великой революции новое обещание изготовить декреты о свободе коалиций, о биржах труда и примирительных камерах. Но еще смешнее, когда «решительное правительство», «в чрезвычайных обстоятельствах», после «острого кризиса» сулит снова... уничтожить сословия и упразднить чины и ордена.

Разумеется, ни цитировать, ни излагать подробно всю декларацию не стоит. Но два важнейших программных пункта, формулированных иначе, чем в майской декларации, я все же отмечу. Это о земле и мире. Ныне 9-го июля правительство («советское «правительство), наконец, об'явило, что «в

основу земельной реформы должна быть положена мысль о переходе земли к трудящимся». Но какие же конкретные формы имеет эта «мысль» в головах министров? — «Очередными мероприятиями будут: 1) Полная ликвидация прежней разрушительной и дезорганизующей землеустроительной политики. 2) Меры, обеспечивающие полную свободу Учр. Собрания в деле распоряжения земельным фондом. 3) Расширение и укрепление зем. комитетов, для решения текущих вопросов, не предрешающих основного вопроса о праве собственности на землю, как входящего лишь в компетенцию Учр. Собрания». 4) Борьба с захватами и прочими самочинными действиями...

Перечитайте еще раз и скажите, чего тут не мог перенести Львов. Ведь тут же одна старая лживая болтовня, рассчитанная только на то, чтобы не испугать Терещенко. Ведь тут опять — да, опять! — нет даже обещания издать пустяковый декрет о земельных сделках. Невероятно, но — факт!

А второй пункт, о мире? — «Вр. Правительство, осуществляя начала внешней политики, возвещенные в декларации 6-го мая, имеет в виду предложить союзникам собраться на союзную конференцию, для определения общего направления внешней политики союзников и согласования их действий при проведении принципов, провозглашенных русской революцией. В конференции этой Россия будет представлена, наряду с лицами дипломатического ведомства, также представителями русской демократии»... Опять-таки, вчитайтесь еще раз, чтобы оценить всю глубину этой лжи и лицемерия «решительного» правительства, в «чрезвы-

чайных обстоятельствах». А ведь это правительство было — звездная палата.

Но позвольте, где же те ужасные архиреволюционные пункты программы, которых не вынес Львов. Где же республика? Где же роспуск Гос. Совета?.. Ведь об этом изнасилованный и ликвидированный премьер пишет в прощальном письме черным по белому... Что же это значит? Ведь в декларации никаких намеков на эти страшные меры — нет. Это значит, повидимому, то, что в последней беседе ими пугали Львова, которого надо было запугать до панического бегства. А потом, оставшись господами, министры социалисты сказали Некрасову и Терещенке: это мы только так, не всерьез, вы не беспокойтесь, все будет по вашему, уж будете довольны, потрафим...

Противно, нестерпимо дольше останавливаться на этой гнусной бумаженке Керенского, Церетели, Скобелева, Чернова и прочих героев великой трагедии... Если им было нужно доказать всенародно, что «чрезвычайные события» вполне развязали им руки для любого самодурства, то зачем же «дань добродетели», зачем все это лицемерие? Если необходима «дипломатия», экивоки, лицемерие, — то зачем же так грубо и плоско? Если нужна была заведомая, полная, позорная капитуляция до дна, до корня, до конца, — то зачем так громогласно кричать о ней, как крикнули июльские победители в бумаженке 8-го июля?..

* * *

Опять в солнечное утро, около 6 часов, я вышел из Таврического дворца и отправился «ночевать»

к Манухину. Меня, по обыкновению, ждали с вечера. В кабинете, на диване, мне была приготовлена постель. А рядом, на связанных креслах, невинным сном младенца спал Луначарский. Он в этот день (а, может быть, и в предыдущий) не появлялся в Таврическом дворце, и я как будто давно его не видел.

Я разбудил его своим приходом, и он стал спрашивать, откуда я. Переполненный отчаянием и злобой, я поздравил его с новой коалицией и рассказал о событиях последнего дня... Мы разговорились, перебирая весь период июльских дней. Сознание краха, ненависть к победителям об'единили нас. Мы забыли оба о «виновниках» поражения, обращая взоры к общей беде. И тут Луначарский рассказал мне неизвестные детали об июльском восстании. Они были неожиданны и странны.

По словам Луначарского, Ленин в ночь на 4-ое июля, посылая в «Правду» плакат с призывом к «мирной манифестации», имел определенный план государственного переворота. Власть, фактически передаваемая в руки большевистского Ц. К., официально должна быть воплощена в «советском» министерстве из выдающихся и популярных большевиков. Пока что было намечено три министра: Ленин, Троцкий и Луначарский. Это правительство должно было немедленно издать декреты о мире и о земле, привлечь этим все симпатии миллионных масс столицы и провинции, и закрепить этим свою власть. Такого рода соглашение было учинено между Лениным, Троцким и Луначарским. Оно состоялось тогда, когда кронштадтцы направлялись от дома Кшесинской к Таврическому дворцу... Самый акт переворота должен был про-

изойти так. 176-й полк, пришедший из Красного Села, тот самый, который Дан расставлял в Таврическом дворце на караулы, должен был арестовать Ц. И. К. К тому времени, Ленин должен был приехать на место действия и провозгласить новую власть. Но Ленин опоздал. 176-й полк был перехвачен и «разложился». Переворот не удался.

Таков был рассказ Луначарского. Т. е. — я помню его именно в таком виде, и эти мои воспоминания совершенно отчетливы: в таком виде я и передаю их всем тем, кому когда-либо попадет в руки эта книга. Может быть, содержание этого рассказа не есть точно установленный исторический факт. Я мог забыть, перепутать, исказить рассказ. Луначарский мог «опоэтизировать», перепутать, исказить действительность. Но установить точно и непреложно исторический факт — это дело историков, а я пишу мои личные мемуары. И я передаю дело так, как я его помню...

Как обстоит дело в действительности, я не берусь сказать. Я не исследовал этого дела. Только однажды, много спустя, я спросил об этом у другого кандидата в триумвиры, у Троцкого. Он решительно протестовал, когда я изложил ему версию Луначарского. И между прочим отмахивался от личности будущего «Наркомпроса», как совершенно непригодной для такого рода дел и конспираций.

«Беллетристический элемент заговора», — сказал потом Мартов, которому я впоследствии рассказывал мою беседу с Луначарским. Пусть так. Но если большевистский ц. к., организуя переворот, предусматривал создание правящего ядра для боевых действий и для первых шагов, — то таковым

ядром мог быть действительно только триумвират — Ленин, Троцкий и Луначарский.

Но все это еще совсем не доказывает, что Ленин 4-го июля определенно и прямо шел на переворот, что он уже распределил портфели, и только запоздал приехать, чтобы стать во главе 176-го полка! Некоторые элементарные факты говорят против версии Луначарского. Например, кроме 176-го полка были налицо кронштадтцы. Они являлись, надо думать, главной — не только технической, но — можно сказать — политической силой. И вот 5 часов вечера, 4-го июля, с ними лицом к лицу становится «триумвир» Троцкий. Что делает он? Он, с риском утратить свою популярность, если не свою голову, освобождает Чернова. Тогда как, осуществляя конспирацию, он мог бы стать во главе кронштадтцев и в пять минут, при их полном восторге, ликвидировать Ц. И. К....

Кроме того Троцкий, впоследствии, после моего рассказа, устроил, так сказать, очную ставку с Луначарским, обратившись к нему с недоумевающим запросом. Луначарский об'яснил, что я перепутал, исказил нашу с ним беседу. Я склонен утверждать, что беседу я помню твердо, а Луначарский перепутал события. Но пусть во всем этом разбираются трудолюбивые историки[1]). Если

---

[1]) В результате запроса Троцкого, Луначарский обратился ко мне с письмом, где утверждает, что я исказил его рассказ и дает его иную версию. Однако, я лишен возможности дать его вторую версию вместо первой. Принцип, которого я придерживаюсь на всем протяжении «записок», это — писать все, что я помню и как я помню. Для историка это никуда не годится. В этом Луначарский прав. Но я пишу не историю. Пусть в этом не заблуждается читатель вместе с Луначарским. Все, что

на предыдущей странице я не дал ничего для характеристики исторических событий, то может быть эта страница пригодится для характеристики исторических личностей...

Тогда, ранним утром 8-го июля, лежа на своем диване, я в полном угнетении слушал рассказ Луначарского. Дьявольская гримаса июльских дней, надвинувшись и навалившись на меня, как кошмар, пробежала у меня перед самыми глазами. Стало быть, тут не только стихийный ход вещей, — тут злостная политическая ошибка...

«Мирная манифестация» и — распределение портфелей. «Долой министров-капиталистов» и — нападения на министров-социалистов. «Вся власть советам» и — арест высшего советского органа. А в результате кровь, грязь и торжество реакции...

я могу сделать для «восстановления истины», это напечатать его письмо ко мне от 30/III-20 г. Это я охотно и делаю — полностью и в точности.

Николай Николаевич!

Вчера на с'езде я получил от т. Троцкого следующую записку: «Н. Н. Суханов сказал мне, что в третьем томе его книги о революции содержится рассказ об июльских днях, причем он с Ваших слов и ссылаясь на Вас рассказывает, будто в июле мы трое (Ленин, вы и я) хотели захватить власть, поставив себе такую задачу?!?!?!»

Очевидно, Николай Николаевич, Вы впали в глубокое заблуждение, которое может иметь для Вас, как для историка, неприятный результат. Вообще ссылка на личные беседы плохая документация. В данном случае, если Вы действительно только написали что-нибудь подобное, память Ваша совершенно извратила соответственную нашу беседу. Конечно, ни т. Ленину, ни т. Троцкому, ни тем более мне не приходило в голову сговариваться о захвате власти, никакого даже намека отдельного на что-то вроде триумвирата не было.

Сейчас, когда мы беседовали с Луначарским о минувших днях, на Дворцовой площади шло разоружение и шельмование большевистской «повстанческой» армии — в панике разбегавшейся от шального выстрела в воздух.

Уже было часов восемь. Луначарский стал одеваться и оставил меня одного.

* * *

Да, реакция торжествовала. Все, нажитое революцией за последние месяцы, пошло прахом... «Коалиция» с буржуазией до июльских дней была изжита, потеряла всякую почву и развалилась сама собой. Стихийный ход вещей вел непреложно к

Июльские дни имели только тот смысл в сознании всех руководителей этого движения, который мы совершенно откровенно выставляли вперед: вся власть Советам Р. С. и К. Д.

Конечно, мы не скрывали от себя, что если бы меньшевистский с.-р. совет захватил власть, она скоро соскользнула бы к более левым и решительным революционным группам.

Поводом к Вашему заблуждению явился, вероятно, мой рассказ Вам о том, что в решительную минуту июльских событий я, разговаривая с т. Троцким, сказал ему, что считал бы бедствием и вступлением в неизбежное поражение, если бы власть оказалась тотчас же в наших руках, на что т. Троцкий, который всегда был гораздо более меня решителен и уверен в победе, отвечал мне, что по его мнению это вовсе не было бы так плохо, что массы конечно поддержали бы нас.

Все это говорилось только в виде взвешивания ситуации в частной беседе в горячий исторический момент.

Очень прошу Вас принять во внимание это мое письмо при окончательном редактировании Вашей истории, дабы Вы сами не впали и других не ввели в заблуждение.

Нарком (подпись) А. ЛУНАЧАРСКИЙ

30/III. 20 года.

ликвидации правящего буржуазного блока и к диктатуре подлинной рабоче-крестьянской демократии. Завоевание советов этой подлинной демократией было делом завтрашнего дня. И конец господству буржуазии должен был наступить — в условиях, благоприятных для дальнейшего течения революции, с сохранением ее огромных и еще свежих сил.

Но вмешалась «политическая ошибка» — конечно «закономерная». Нажитое за последние месяцы пошло прахом. «Коалиция» снова стала на твердую почву и укрепилась надолго. Огромные силы революции были понапрасну растрачены, брошены на ветер. Революция была глубоко надорвана и далеко отброшена назад.

Март-декабрь 1920 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

10972